

ШЕДЕВРЫ В ОДНОМ ТОМЕ

АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ
КВАРТЕТ



ЛОРЕНС
ДАРРЕЛЛ

Шедевры в одном томе

Лоренс Даррелл

Александрйский квартет

«Издательство АСТ»

1957

УДК 821.111-31
ББК 84(4Вел)-44

Даррелл Л.

Александрийский квартет / Л. Даррелл — «Издательство АСТ»,
1957 — (Шедевры в одном томе)

ISBN 978-5-17-146244-4

Четыре части романа-тетралогии «Александрийский квартет» не зря носят имена своих главных героев. Читатель может посмотреть на одни и те же события – жизнь египетской Александрии до и во время Второй мировой войны – глазами совершенно разных людей. Закат колониализма, антибританский бунт, политическая и частная жизнь – явления и люди становятся намного понятнее, когда можно увидеть их под разными углами. Сам автор называл тетралогию экспериментом по исследованию континуума и субъектно-объектных связей на материале современной любви. Текст данного издания был переработан переводчиком В. Михайлиным и дополнен вступительной статьей и комментариями. В формате a4.pdf сохранен издательский макет книги.

УДК 821.111-31

ББК 84(4Вел)-44

ISBN 978-5-17-146244-4

© Даррелл Л., 1957
© Издательство АСТ, 1957

Содержание

Вадим Михайлин	6
Жюстин	26
Уведомление	26
Часть 1	27
Часть 2	70
Часть 3	100
Часть 4	139
Рабочие заметки	150
Бальтазар	156
Уведомление	156
Часть 1	158
I	158
II	164
Конец ознакомительного фрагмента.	175

Лоренс Даррелл

Александрийский квартет

Lawrence Durrell
Justine. Balthazar. Mountolive. Clea

© Lawrence Durrell, 1957, 1958, 1960
Copyright renewed. Lawrence Durrell, 1985, 1986, 1988
© Перевод. В. Михайлин, 2018
© Издание на русском языке AST Publishers, 2022

* * *

Вадим Михайлин Портрет эксцентрика на фоне средиземноморских пейзажей ¹

В конце августа 1935 года Хенри Миллер, сорокачетырехлетний, никем не принятый и не понятый – по крайней мере, в англоязычном мире – писатель, получает письмо от такого же, как и он, безвестного англичанина по имени Лоренс Даррелл. Дарреллу двадцать три года, он тоже литератор, хотя и не спешит в этом признаться, но самое главное – он в восторге от недавно изданного в Париже «Тропика Рака» и считает этот первый по-настоящему сильный роман Миллера лучшей книгой, вышедшей по-английски со времен окончания Первой мировой войны. Лучшей, несмотря на то, что уже увидели свет «Улисс» Джеймса Джойса, «Любовник леди Чаттерли» Ди Эйч Лоренса и «Тарр» Уиндема Льюиса, несмотря на то, что в полную силу работает все послевоенное поколение английских и американских «модернистов»: Хаксли, Вирджиния Вулф, Олдингтон, Гертруда Стайн, Шервуд Андерсон, Хемингуэй, Фолкнер, Стайнбек...

Миллер пишет в ответ:

Дорогой мистер Даррелл,

Ваше письмо также не оставило меня равнодушным. Вы – первый британец, который написал мне умное письмо о моей книге. И, если уж на то пошло, – вообще первый человек, которому удалось ударить по гвоздю и действительно попасть по шляпке. И в особенности Ваше письмо нравится мне по той причине, что я бы и сам написал себе точно такое же, не будь я автором книги. Поверьте, я это говорю не из тщеславия и не из заикленности на самом себе. Удивительно, как мало людей понимает, чем нужно восхищаться в книге.

Прежде прочих меня поразила в Вашем письме одна фраза – «Мне кажется, я угадал в Вашей книге то, к чему мы все давно были готовы». В самую точку. Мир и в самом деле давно готов к чему-то новому, совершенно непохожему на все, что было раньше, но складывается такое впечатление, что нужна еще одна война или какая-нибудь другая колоссальная катастрофа, чтобы люди это осознали.

Ваше письмо было настолько живым, настолько искренним, что мне невольно пришло в голову – а Вы сами, часом, не писатель? Как к вам попала книга – (...)?

Я не совсем уверен, что правильно прочел Вашу фамилию – вы Даррелл или Даввелл?

*Искренне Ваш,
Хенри Миллер ²*

Так было положено начало долгой дружбе и такой же долгой – до самой смерти Миллера в 1980 году – переписке. Дружбе уникальной, поскольку здесь все было по большому, по «гамбургскому» счету. В конце сороковых, дочитав до середины присланную Миллером по почте рукопись «Сексуса», Даррелл пишет, что страшно разочарован, что книга плохая и безвкусная,

¹ Данный текст являет собой переработанный и дополненный вариант статьи: Михайлин В. Портрет на фоне изменяющегося пейзажа // Иностранная литература. 2000. № 11. С. 148–168.

² Здесь и далее перевод иноязычных текстов В. Михайлина. Переписка между Дарреллом и Миллером цитируется по изданию: Lawrence Durrell and Henry Miller: A Private Correspondence. Ed. by George Wickes. L.: Faber, 1963.

что в ней есть очень хорошие куски, в которых узнается прежний Миллер, но даже и они теряются в бесформенном и надсадно непристойном – пошлость ради пошлости, совсем не то, что было в обоих «Тропиках» и в «Черной весне» – общем целом. Более того, дочитав рукопись до конца, он шлет Миллеру срочную телеграмму и просит, если это еще возможно, отозвать книгу из печати, потому что иначе репутация большого писателя может быть безвозвратно разрушена. И в этом нет ни тени рисовки, как нет и желания «уесть» бывшего (впрочем, весьма недолго остававшегося в этой роли) мэтра и наставника. Есть только искреннее беспокойство за друга, сделавшего, с точки зрения Даррелла, откровенно ложный шаг. И Миллер отвечает – спокойный, уверенный в собственной правоте, как и в праве друга на собственное, пусть даже откровенно нелестное мнение о его новом детище. И ему удается, хотя и не сразу, убедить Даррелла в том, что книга написана именно так, как она должна быть написана, что никакой ошибки нет и что он, Миллер, остался верен себе. Ни обид, ни нареканий. И ни малейшего желания сглаживать углы.

В конце семидесятых адресаты меняются местами. Даррелл, которого во всем мире считают теперь одним из самых сильных современных писателей, живым классиком, стоящим едва ли не вровень с Джойсом, Прустом и Кафкой, посылает Миллеру, чья слава уже давно пошла на убыль, рукопись «Мсье», первого романа из нового, еще более амбициозного, чем «Александрийский квартет», прозаического гиганта. И Миллер устраивает Дарреллу точно такой же дружеский разнос, какой и сам получил от него четверть века назад: книга скучная, бесформенная, отдельные хорошо написанные сцены не вытягивают общего целого... Даррелл, как то и должно, уверен в собственной правоте. Миллер, прочитав «Ливию», второй роман «Авиньонского квинтета», немного сбавляет тон – спор при этом не прекращается, однако так и остается чисто творческим, ни капли не мешая дружбе оставаться дружбой.

Завязавшаяся в тридцать пятом году переписка между Парижем, где жил в то время Миллер, и Корфу, первым средиземноморским прибежищем Даррелла, значима не только в силу того, что она сама по себе – уникальный литературный факт, позволяющий следить за творческой кухней двух равновеликих писателей, а также и за фигурами, в той или иной степени входившими в их круг общения: за Анаис Нин, Альфредом Перле, Т. С. Элиотом, Георгиосом Сеферисом, Ричардом Олдингтоном и многими другими. Значима она еще и в силу элементарного, но весьма показательного факта: в середине тридцатых годов, как будто бы совершенно случайно, сошлись два литератора, разные по национальности, по возрасту, по жизненному опыту и всякого разного рода пристрастиям и похожие только в одном. В том, что они оба уже не принадлежали к поколению «modern» и не хотели писать так, как писали в десятилетия и в двадцатые годы. В том, что у них обоих учились потом литераторы следующей, постмодернистской литературной революции. Причем у Даррелла – даже в большей степени, чем у Миллера.

Впрочем, об этом позже. А пока начнем с начала.

* * *

Лоренс Джордж Даррелл родился 27 февраля 1912 года в индийском городе Джалландхаре, в семье инженера, потомственного колониального «столпа Империи». Джалландхар расположен едва ли не у самого подножия Гималаев, и образ застывших горизонт священных гор станет в дальнейшем одним из ключевых «внутренних» образов Даррелла. Впоследствии александрийский период 1941–1945 годов будет мучителен для него также и в силу «плоского аллювиального пейзажа», в который вписана эта «столица памяти», – мучителен вполне в духе теорий любимого Дарреллом Карла Гроддека, склонного привязывать человеческое бессознательное к гео- и к топографии. И оттого, в 1945 году, с такой радостью Даррелл уедет из Александрии на Родос, где, кроме собственных гор, есть в восемнадцати километрах гористый турецкий берег, задающий постоянный фон пейзажу. Англия также не будет вызывать у него

никаких родственных чувств. Климат, скука, разговоры о погоде и всеобщая «непропеченность» – вот основной список претензий. Но в гористой Шотландии, где климат тоже отнюдь не средиземноморский, а скуки ничуть не меньше, чем в культурных южных графствах, Дарреллу, против ожидания, понравится.

Когда Лоренсу минуло одиннадцать лет, родители отправили своего первенца в метрополию, получать приличествующее будущему колониальному государственному служащему образование. Но мальчик не хотел быть колониальным госслужащим. И получать приличествующее образование он тоже не хотел. Список частных школ, из которых Лоренса Джорджа Даррелла исключили за нежелание заниматься теми предметами, которые, как он считал, ему совершенно ни к чему, воистину впечатляет. К восемнадцати годам, когда настало время поступать в университет (родители слали из Индии соответствующие по тону и содержанию письма), Даррелл окончательно уверился в том, что он писатель и что университеты ему ни к чему.

Начало тридцатых годов проходит в неустроенности и постоянном безденежье. Даррелл пробует зарабатывать на жизнь журналистикой, потом устраивается тапером в ночном клубе, пишет джазовые песенки, но сводить концы с концами ему удается далеко не всегда. Впрочем, такая жизнь до поры до времени его вполне устраивает. Он уверен, что знает, зачем ему все это нужно: богемный образ жизни, случайные заработки, беспорядочное самообразование, жилищные проблемы и бесконечный поток новых знакомых. Он вынашивает планы.

Впрочем, близких друзей у него в этот период времени – раз-два и обчелся. Актер Питер Булл. Букинист и торговец раритетными изданиями Алан Джи Томас, у которого Даррелл, чуть только заводятся деньги, скупает по дружбе своих любимых елизаветинцев. И, главное, поэт и библиофил Джон Госуорт, чей образ жизни, собственно, и служит юному другу муз образцом для подражания. Нэнси, будущая первая жена непризнанного гения, также появляется на его горизонте именно в этот период. «С деньгами не умели обращаться ни она, ни я, и все же вместе мы обходились немного лучше, чем порознь». Это – из «Жюстин», первого романа «Александрийского квартета», о самом начале взаимоотношений протагониста по имени Л. Дж. Дарли и его бледной (на общем ярком экзотическом фоне!) возлюбленной.

Будущий писатель пишет. И даже издается. Сперва появляется «Причудливый фрагмент», сборник стихов, которые больше говорят о начитанности, о творческих амбициях и о разнообразных литературных пристрастиях автора, нежели об истинном уровне его мастерства. Впрочем, первые, изданные за свой счет сборники начинающих поэтов редко бывают другими. Затем «Бромо Бомбаст» – злая, вполне в духе молодого Байрона пародия на современного литературного мастодонта, властителя дум всей прогрессивно мыслящей английской интеллигенции. Адресат пародии – Джордж Бернارد Шоу, великий Джи Би Эс, фабианец и пророк, чьи мессианские замашки вкупе с откровенно слабой (если помешанный на елизаветинцах юный Даррелл принимается сравнивать техники) драматургией вызывают в авторе разлитие творческой желчи. Чего стоит один только псевдоним, под коим сей опус выходит в свет, – Гэффер Пислейк. Где Гэффер – просторечное «папаша», а Пислейк – не слишком пристойная парафраза Пислайк, «миролюбца», основанная на *pee* («моча») и *lake* («озеро»). То бишь «Папаша Зассанец», с параллельным и более чем внятным намеком на «Озерную школу», извечного адресата байроновских инвектив.

К концу 1934 года появляется, наконец, перспектива более или менее серьезного литературного заработка. Или, вернее, околотитулярного. Потому что Даррелл, понимая, что «легкую» прозу он может писать ничуть не хуже, чем десятки преуспевающих коммерческих авторов, вроде Майкла Арлена или Алека Во, усаживает себя за стол и производит на свет «Гамельнскую дудочку любви», которую вскоре принимает к печати довольно известное издательство «Кэсселл». И не только принимает, но и выплачивает автору аванс. А элиотовский

«Фейбер энд Фейбер», вдохновленный примером «Кэсселла», подписывает с Дарреллом контракт на три его следующих романа. И тоже готов заплатить аванс.

«Фейбера» с Т. С. Элиотом заодно Даррелл после этого надолго перестанет уважать. До тех пор, пока не познакомится с Элиотом лично, не отдаст должного разнице между издательскими и творческими интересами крупнейшего поэта, который одновременно главный редактор крупнейшего издательства, – и не поймет, насколько плодотворным и мощным может оказаться влияние элиотовской поэтики на его собственную – уже серьезную – прозу.

Однако авансы оказываются весьма кстати. Даррелл, никогда раньше не державший в руках такой суммы денег (а тогдашние английские издательские авансы, если исходить из дальнейших событий, были весьма и весьма солидными), не теряет, однако, головы и не пускается во все тяжкие – несмотря на демонстративно богемный образ жизни. Он решает убить сразу всех возможных зайцев. Во-первых, для того, чтобы писать подолгу и всерьез, необходимо где-нибудь себя запереть от многочисленных знакомых и продолжать общаться с ними разве что по переписке. Во-вторых, место, в котором ему предстоит творить свою нетленку, должно быть по возможности дешевым – чтобы авансов хватило на возможно больший срок. В-третьих, если уж он собрался торговать бессмертной душой ради бранных материальных интересов, то делать это нужно с удовольствием: то есть место само по себе должно служить наградой за неизбежные душевные издержки.

По всем вышеперечисленным причинам Англия, и без того уже изрядно поднадоевшая, исключалась однозначно. Даррелл перебирает варианты и останавливается в конце концов на Греции, которая жила в те благословенные годы на правах самых что ни на есть дальних задворок Европы и ничем не напоминала нынешнюю туристическую сверхдержаву. На греческих островах жизнь была еще дешевле, чем в материковой части страны, хотя и в Афинах Даррелл смог бы, пожалуй, растянуть аванс как минимум на год.

Он едет в Грецию, останавливает свой выбор на Корфу и постепенно вывозит туда все свое многочисленное семейство – жену, маму, младших братьев и сестру. Этот период жизни Даррелла – пожалуй, единственный более или менее знакомый отечественному читателю. По той причине, что Джеральд Даррелл, младший из братьев, которому в ту пору было лет десять-одиннадцать, повзрослев и став профессиональным звероловом, унаследовал от старшего брата склонность зарабатывать деньги где и чем только можно – и тоже стал писать книги. И одной из написанных им книг была «Моя семья и другие звери», неоднократно издававшаяся в бывшем СССР и в свое время весьма у нас популярная. Юмор у Дарреллов – также чувство семейное, как, впрочем, и склонность к крайне субъективной оценке происходящего: старший брат Ларри в книге Джеральда Даррелла есть персонаж сугубо комедийный и не слишком приятный. Хотя, возможно, это всего лишь попытка отплатить старшему брату, неоднократно «проезжавшемуся» по «братьям нашим меньшим». Младший Даррелл конструирует свой Корфу ничуть не в меньшей степени, чем старший – свою Александрию, откровенно «забывая» о ряде значимых обстоятельств³ и на ходу выдумывая другие, еще более значимые.

Итак, Даррелл поселяется на Корфу и принимается честно отрабатывать авансы. 17 октября 1935 года «Кэсселл» выпускает из печати «Гамельнскую дудочку любви», а Даррелл уже трудится над первым из трех обещанных «Фейберу» романов, название которого, “Papic

³ Так, из «Моей семьи» напрочь исчезают почти все женские фигуры, ключевые для тогдашней даррелловской жизни на острове – за исключением разве что Мамы и сестры Марго, без которых, видимо, обойтись было совершенно невозможно, и Лугареции, греческой домработницы, доведенной до полного гротеска. В книге нет ни единого упоминания о Нэнси, жене старшего брата, – как и о том, что Лоренс и Нэнси уехали на Корфу раньше и только после того, как они обустроились на острове, все прочее семейство присоединилось к ним (и о том, что жили они там в основном на деньги Ларри). Теодор Стефанидес, поэт и натуралист, друг дома и наставник маленького Джерри, превращается в холостяка, из жизни которого как-то сами собой исчезают не только жена, но и дочь, Алексия, которая была основным компаньоном Джерри по детским играм и исследовательским экспедициям в окрестностях каждого очередного дома. Не говоря уже о дочери Лугареции, которая позже уедет с Лесли, средним братом, в Англию. Ну и так далее.

Spring», содержит неперебиваемую на русский игру смыслов: здесь разом и «паническая», то есть находящаяся под покровительством греческого бога Пана, весна – и пружина катапульты, выбрасывающей в случае опасности летчика из кабины. Впрочем, заряда и запала хватает ненадолго. Творческие амбиции, подогретые знакомством – сперва по переписке, а затем и личным – с Миллером, берут верх. И Даррелл параллельно с «Панической пружиной» начинает писать свой первый по-настоящему серьезный роман, «Черную весну», книгу очень молодую и неровную, книгу, в которой всякий сколь-нибудь искушенный читатель сразу же заметит следы наиболее значимых для молодого Даррелла влияний (Ди Эйч Лоренс, Миллер, Т. С. Элиот времен «Пруфрока» и «Бесплодной земли»). Но при этом, несомненно, книгу сильную и свежую, книга, которая дала всем «имеющим уши» понять, что легкая проза никоим образом не есть потолок и призвание этого молодого, амбициозного и уже привыкшего раздавать коллегам по ремеслу направо и налево самые уничижительные характеристики автора.

Миллер, получив в Париже сперва (в ноябре 1936-го) короткое эссе о «Гамлете», а потом (в начале 1937-го) рукопись «Черной книги», окончательно уверяется в том, что перед ним настоящий по большому счету писатель, и принимается рекомендовать его всем своим многочисленным парижским и американским знакомым. И ему не мешают увериться в этом даже откровенно манерные выходки молодого Даррелла. Вроде демонстративного пренебрежения к собственному творчеству: Даррелл принципиально не желает печатать свои тексты под копирку, а потом отправляет единственный экземпляр Миллеру (эссе о «Гамлете» было написано красными чернилами на огромном, разлинованном от руки листе бумаги) обычной почтой с просьбой прочесть, а если не понравится, то выбросить в мусорную корзину, наплевать и забыть – или, как в случае с «Черной книгой», переслать, если выдастся время, «Фейберу». Миллер не только ничего не выбрасывает, он лично садится за машинку, усаживает за машинку Анаис Нин и еще нескольких друзей, чтобы перепечатывать тексты, – и пытается при этом заинтересовать Дарреллом знакомых издателей.

Восьмого марта 1937 года он пишет Дарреллу:

Дорогой Даррелл,

*я получил **Черную книгу**, открыл ее и стал читать: вытаращив глаза, с восторгом, изумлением и ужасом. Я до сих пор ее читаю – не торопясь, потому что не хочу упустить ни единого сочного кусочка, ни единой строки, ни единого слова. В английском языке Вы – **мастер**; в Вас – колоссальное богатство, и я с трудом могу представить книгу, которая была бы в состоянии Вас исчерпать. Ваш язык взламывает все положенные книгам пределы, перетекает через край и порождает потоп, который не есть больше книга, но – река языка, Глагол, рассеившийся на составные части и ввалившийся в амок. В этой книге Вы написали такое, чего до Вас не осмеливался написать ни один человек. Книга зверская, всепоглощающая, жестокая, опустошительная, страшная. Я до сих пор не могу прийти в себя. Так что это не критика – да и нужна ли Вам критика? Нет, это – салют мастеру. Когда дочитаю до конца, напишу Вам письмо поспокойней; когда перечитаю ее еще раз и как следует все в себя впитаю. А пока – так, наскоком.*

*Я, естественно, не жду от «Фейбер и Фейбер», чтобы они Вашу книгу опубликовали. А Вы что, всерьез на это рассчитывали? Ни один английский и ни один американский издатель не осмелится ее напечатать. Мы обязаны найти для этой цели **человека!** Я уже думаю над этим. И вот тут-то начинаются проблемы. Вы пишете, что это единственный экземпляр. Разве можно так пугать людей. Я, конечно, могу отправить рукопись «Фейберу» заказным письмом, но даже и в этом случае – я не смогу спать спокойно, доверив ее почте. Прежде чем я ею хоть как-то распоряжусь, напишите мне,*

как Вам кажется, не лучше ли будет, если я Вашу рукопись перепечатаю, а еще лучше, перепечатаю под копирку? Если Вы не против, я мог бы это устроить, люди надежные, я их знаю и доверяю им. Работа, конечно, предстоит большая – я даже не знаю, сколько здесь страниц, поскольку вы не нумеруете страницы. Но если Вам это дело покажется стоящим, я за него возьмусь и сам оплачу все расходы. Можете зачесть это – если Вам угодно – в счет моего Вам долга. С другой стороны, может, Вы хотите, чтобы она дошла до «Фейбера» как можно скорее? Так что, не откладывая, сообщите мне, что мне делать.

Мой дорогой Даррелл, Вы уже никогда не сможете написать ничего, что пришлось бы им по вкусу – как Вы изволили выразиться в сопроводительной записке. Вы пересекли Экватор. На Вашей карьере в качестве коммерческого литератора можно ставить крест. Отныне вы вне закона, и я Вас от всей души с этим обстоятельством поздравляю. (...)

Вся эта вещь – поэма, колоссальная поэма. Я не понимаю, как Вам до сих пор приходит в голову писать отдельные стихи. Любой Ваш стишок после этого – так, на две затяжки. **Это поэма.** Господи Иисусе, да это как черная смерть. У меня просто нет слов. Единственный, с позволения сказать, минус – это слишком колоссально колоссальный текст. И нужно быть Гаргантюа, чтобы все это в себя вобрать.

(...)

И, бога ради, скажите мне, сколько времени у Вас ушло на то, чтобы все это написать? Могу себе представить, сколько Вы отдали сил. Это настоящий *tour de force*⁴.

Ну, напишу еще, как только дочитаю. И – ура!

XBM⁵

Через пять дней, дочитав книгу до конца и ничуть не изменив своего – восторженного – о ней мнения, Миллер пишет еще одно письмо и заканчивает его на самой жизнеутверждающей ноте. Гений состоялся. К черту деньги и договоры с «Фейберами». «Если в природе не существует подходящего для Вас издателя, значит, нам самим придется его сотворить!» Ответа ему приходится ждать аж до конца июля, и ответ приходит весьма неожиданный. Сквозь неровный – и довольно нервический – тон письма сквозит весьма четко выстроенная и обдуманная позиция (у Даррелла было время подумать): он не собирается делать резких движений. Более того, он твердо уверен в том, что постоянно работать на уровне «Черной книги» он не сможет и что помимо высокой прозы, помимо уже вырисовывающихся на горизонте «Книги мертвых» (из которой получится впоследствии «Александрийский квартет») и «Книги чудес» (через несколько лет этот «проект» станет называться «Книгой времен», а в конце концов выльется в «Авиньонский квинтет»), он намерен и дальше производить на свет всяческую «литературу» – хотя бы для того, чтобы не потерять контакта с действительностью и с потенциальным широким читателем.

Восемью годами позже, 5 мая 1945 года, в письме, отправленном из Александрии в адрес Элиота, Даррелл еще раз объяснит, для чего в перерывах между серьезными прозаическими шедеврами он писал и далее писать намерен вещи более или менее «легкие»: «...для упражнения для забавы для денег для моих подружек – или нет?»⁶

⁴ Проявление силы (*фр.*).

⁵ Хенри Винсент Миллер.

⁶ Цит. по: Twentieth Century Literature. Vol. 33, № 3 (Fall, 1987), P. 354.

Здесь – начало той загадки, которую Даррелл представлял и до сих пор представляет и для критиков, и для широкой читающей публики. Кто же он, на самом-то деле, такой? Ловкий литературный шарлатан, действительный уровень которого никак не выше какого-нибудь Колина Уилсона – но который сумел в конце пятидесятых предугадать резкий поворот во вкусах читающей публики и выплыть к самым олимпийским высям на волне нарождающегося «мягкого» постмодернизма? Но тогда – зачем была «Черная книга», которая в плане «промоушн» не принесла автору ничего, кроме проблем? Почему не продолжить начавшую уже в конце тридцатых вполне успешно складываться карьеру коммерческого литератора? Зачем двадцать лет ждать наступившего лишь в 1957 году звездного часа? И зачем еще через двадцать лет, уже имея за плечами «почти состоявшуюся» Нобелевскую премию, гигантские тиражи и прочие атрибуты успеха, упрямо выпускать под старость том за томом «Авиньонского квинтета», книги, которую вряд ли кто-нибудь (за исключением специалистов и особо упертых фанатов) заставил себя прочесть до конца?

Или – все-таки гений, каким его увидел в 1937 году Миллер, а потом и не он один? Писатель, которого всерьез прочили четвертым в великую троицу Джойс – Кафка – Пруст? У которого учились и продолжают учиться ведущие фигуры современной английской, американской, французской, немецкой и прочих литературных традиций. Но тогда – зачем обильный поток пусть крепкой, пусть отмеченной отсветом великолепной стилистики «Квартета», но все же ординарной – как хорошие ординарные вина – путевой прозы? Зачем юмористические рассказы из дипломатической жизни? Пусть тоже весьма неплохо сбитые – но такое может писать каждый третий литератор из крепкого третьего разряда. Зачем дилогия «Восстание Афродиты», сделавшая бы честь тому же Колину Уилсону? Зачем, как выразился Миллер, «стишки», и драмы в стихах, и киносценарии, и эссе, и интервью для светских журналов, и... По меткому замечанию одного не слишком расположенного к Дарреллу критика, единственный жанр, в котором автор «Александрийского квартета» себя не попробовал, – это жанр оперного либретто. «Для упражнения для забавы для денег для моих подружек»?

Однако вернемся к биографической канве. Летом тридцать седьмого года Даррелл едет в Лондон – естественно, через Париж. В Париже, добавив к литературным впечатлениям неотразимое личное обаяние, великолепный талант рассказчика и воистину гениальное чувство юмора, он окончательно влюбляет в себя Миллера, Анаис Нин и всю прочую компанию из дома номер восемнадцать по рю Вилла Сёра. Миллер с готовностью расстается с ролью *cher maître* (какое словосочетание останется в ходу лишь в качестве шутливой инвективы); два реформатора англоязычной словесности уравниваются в правах и – пользуясь не применимой к английскому говорению русской реалией – переходят на «ты». Даррелл обещает вернуться и едет в Лондон выяснять отношения с «Фейбером», лично знакомиться с Элиотом, с Диланом Томасом и Хавелоком Эллисом, литератором, сексологом и издателем репринтов «подцензурной» елизаветинской драматургии.

«Фейбер», как и следовало ожидать, «Черную книгу» печатать отказывается, хотя и не препятствует ее публикации любой третьей стороной, поскольку «право первой ночи» соблюдено. Как объясняет Дарреллу Элиот – публикация не состоялась исключительно из нежелания издательства вступать в конфликт со строгой английской цензурой. Свое нелестное мнение об Элиоте как о человеке и редакторе Даррелл меняет на прямо противоположное; Элиот же и раньше был к Дарреллу равнодушен, а о не принятой к печати «Черной книге» отзывался как-то раз в письме к ее автору следующим образом: «единственная книга молодого английского писателя, которая помешала мне окончательно разувериться в будущем отечественной прозы». Впрочем, будучи лицом официальным и материально ответственным, позволения цитировать этот свой отзыв публично он Дарреллу все-таки не дает.

Обратная дорога лежит опять-таки через Париж, где Миллер, Перле и Нин затеяли разом издание журнала *The Booster* («Толкач») и книжной «Серии Вилла Сёра». Даррелл, вкусив для

разнообразия парижской богемной жизни, уезжает к себе на Корфу, а в «Серии Вилла Сёра» наряду с «Зимой в Африке» Анаис Нин и «Максом и белыми фагоцитами» Миллера выходит в 1938 году «Черная книга». Чуть позже Миллер и Нин уламывают-таки Джека Кэheyна, владельца скандально известного издательства «Обелиск Пресс», опубликовать книгу еще раз. Широкого резонанса, однако, несмотря на все их старания, роман не получает. И денег не приносит тоже. Чего, впрочем, от него никто и не ждал. От фейберовских авансов кое-что остается, и Даррелл зовет всю честную компанию к себе в Грецию, обещая райскую жизнь и отдых от столичной суеты. В июне 1939-го на Корфу приезжает Миллер – засим следует путешествие по Греции, начиная с Афин, где Даррелл знакомит Миллера с Йоргосом Кацимбалисом и Йоргосом Сеферисом – гениальным рассказчиком, прообразом миллеровского «Колосса» и гениальным поэтом, будущим нобелевским лауреатом.

Расстанутся они только 26 декабря 1939 года в Триполисе, на Пелопоннесе, чтобы увидеться в следующий раз почти через тридцать лет. Начинается – или, по крайней мере, официально объявлена – война. Деньги тоже как-то сами собой подходят к концу. Даррелл предлагает свои услуги греческому представительству Британского совета. Он неплохо знает новогреческий, он, несмотря на неподобающий род занятий и образ жизни, обладает определенными организаторскими способностями, он умен, наблюдателен и хорошо разбирается в местной политической и культурной ситуации. Британский совет поручает ему несколько неожиданную работу: возглавить находящуюся под патронажем сей культуртрегерской организации школу в Каламате, на юге Пелопоннеса, в самой что ни на есть греческой глуши – и родине едва ли не лучших во всей Греции маслин (позже, в «Жюстин», тамошний протагонист Л. Г. Дарли выплеснет свою тоску по «правильному берегу Средиземного моря» именно через «святую плоть» настоящих, правильных маслин). Однако в делах международных культура и разного рода гуманитарные акции всегда были наилучшим возможным прикрытием для совсем другой деятельности. Складывается впечатление, что именно в это время и именно в силу перечисленных выше качеств на Даррелла обращает внимание английская разведка: очень скоро обстоятельство это отразится на его дальнейшей судьбе, а некоторое время спустя – и на его книгах.

Все греческие друзья Даррелла (Сеферис, Кацимбалис, Теодорос Стефанидес) идут добровольцами в армию и принимают активное участие в боевых действиях – сперва в разгроме итальянцев в ходе Албанской кампании, а с апреля 1941 года в отчаянном сопротивлении неудержимому немецкому наступлению. Даррелл учит детишек в Каламате английскому языку и литературе, нянчит только что родившуюся дочь, следит за пролетающими время от времени немецкими бомбардировщиками и наведывается, как только выпадает такая возможность, в опустевшие Афины.

За три дня до прихода немцев в Каламату, 25 апреля 1941 года, Дарреллам удается уехать из Греции на случайной кайке, экипаж которой состоит по преимуществу из не подчиняющихся ничьим приказам солдат разгромленной греческой армии. Кайка идет на Крит, исключительно по ночам, чтобы избежать встречи с немецкими «штуками», которые в то время бомбили любое замеченное судно – поскольку немецких и итальянских судов в этом районе Средиземного моря по определению не было. Однако и по ночам идти не многим безопаснее, поскольку судно допотопное и из трубы вместе с дымом сыплется целый сноп искр, очень хорошо заметных хоть с воды, хоть с неба.

С Крита, опять-таки едва ли не в последний момент перед тем, как немцы осуществили одну из своих лихих десантных операций, Дарреллы уезжают в Египет, в Каир. Где-то по дороге происходит разрыв («просто война» – как позже лаконично объяснил его причины в письме к Миллеру Даррелл), и Нэнси с годовалой Пенелопой уезжает в Иерусалим. Даррелл пытается – уже во второй раз – вступить в английскую армию, однако у правительства свои планы на этого, уже успевшего себя зарекомендовать в «культурной» деятельности, молодого литера-

тора. И буквально через месяц он оказывается в Александрии, в должности пресс-офицера, и вступает в один из самых, наверное, сложных периодов своей жизни.

Он ненавидит Александрию. Здешний пейзаж, здешние нравы, та работа, которую ему приходится выполнять, – и ни единого просвета на затянутом тоской и неприкаянностью горизонте. Из Иерусалима – ни весточки. Разрыв окончательный и обжалованию не подлежит. Следующая встреча с дочерью состоится только через шестнадцать лет – но и об этом Даррелл пока, естественно, ничего не знает. Он пускается во все тяжкие, и богемная лондонская юность повторяется почти зеркально, с той разницей, что сам он стал на десять лет старше и что Александрия – никак не Лондон.

Старая и не раз успевшая себя скомпрометировать теория насчет того, что художник должен быть несчастлив для того, чтобы творить, к Дарреллу имеет самое непосредственное отношение. Только Даррелл – тугодум. И на то, чтобы острый эмоциональный опыт отлежался и обрел внутреннюю художественную структуру, у него уходит не год и не два. Для непосредственного самовыражения существуют «стишки», в которых он готов выплескиваться снова и снова. Но колоссальное внутреннее напряжение александрийской поры должно пройти очистку и закалку памятью, должно освободиться от всего ситуативного, случайного, обрасти – на совершенно «александрийский», если иметь в виду эллинистическую традицию, манер – каскадом значимых культурных отсылок, чтобы дозреть в итоге (через пятнадцать лет!) до точки кипения. Когда, в 1957 году, Даррелл сядет и, согласно столь же банальной романтической формуле (а как он любил банальные романтические формулы!), «не отрывая пера от бумаги» перепишет набело уже сложившийся, уже готовый «Александрийский квартет». Пока же – несчастливость, рутина и «стишки».

Впрочем, быть несчастным по Дарреллу отнюдь не означает глубинной немецко-романтической *Weltschmerz*. Радости жизни, как то: вино, литература, море, женщины, далее по умолчанию – составляют непрменный контрастный фон для личной неустроенности (вот, кстати, один из секретов потрясающей психологической притягательности «Квартета»). А поскольку состояние влюбленности – главный ключ к упомянутым радостям жизни, то многочисленные быстротекущие романы удивительно скоро приводят Даррелла к главной его александрийской любви, к Эве Коэн, по прозвищу Цыганка, что, впрочем, лишь отчасти сокращает число быстротекущих романов.

«Жюстин», первый роман «Александрийского квартета», Даррелл посвятит именно Эве Коэн, к тому времени уже успевшей не только стать Эвой Даррелл и произвести на свет Сапфо Даррелл, но и оказаться на правах бывшей жены входящего в моду писателя. Эва Коэн – действительно ключевая фигура и в этом романе, и в «Квартете» вообще. Центральный и весьма противоречивый женский персонаж, Жюстин, александрийская еврейка с отягощенной наследственностью, трудным детством и бурной юностью, с достаточно тяжелым психическим расстройством и неутолимой тягой к поискам истины, – этот персонаж сознательно и старательно списан именно с нее. Но не только он один. Мелисса, вторая, «параллельная» любовь протагониста Л. Г. Дарли – гречанка, проститутка, наркоманка, танцовщица в ночном клубе и воплощение греческой «агапе» – тоже Эва Коэн. Только другая, греческая ее половина (мать Эвы была гречанка из Смирны – родного города Мелиссы). А у старого меховщика и двойного агента, на содержании у которого жила Мелисса до роковой встречи с Дарли и с которым связана в романе одна из самых пронзительных сцен, весьма знакомая фамилия: Коэн. Да и Лейла Хознани, если вдуматься, да и сама Александрия в ее женской и взыскующей, «софийной» ипостаси...

Но до всего этого прихотливого обилия сюжетов, персонажей, образов и сцен пока еще очень и очень далеко. Пока Даррелл, азартно распутывающий в рабочее время хитросплетения ближневосточной политики, того самого змеино-гнездышного заговора и контрзаговора, которому будет почти целиком посвящен «Маунтолив», третий роман тетралогии, только и мечтает

о том, как бы вырваться из ненавистного города, этой, говоря словами из «Квартета», «суки среди городов». И как только ему представляется возможность перебраться «на правильный берег Средиземного моря», он незамедлительно эту возможность использует.

Осенью 1945 года он добивается поста офицера по связям с общественностью на Родосе – что предполагает собственный штат сотрудников, собственную типографию и возможность выпускать любую печатную продукцию на любых возможных языках. В письме к Миллеру он пишет, что он «not exactly the Governor of these twelve islands, but damn near», «не то, чтобы губернатор этих двенадцати островов, но чертовски к тому близок». Он во многом определяет если не стратегию, то тактику британской политики на Додеканесских островах⁷, постепенно набирая вес и амбиции и наживая себе врагов в британском посольстве в Афинах.

«Коэн с ее семью языками» следует за ним в качестве личного секретаря, причем для этого приходится в буквальном смысле слова похищать ее из дома, поскольку отец и слышать ничего не хочет ни о каком отъезде дочери из Александрии с англичанином, за которым она не замужем и который, между прочим, формально еще не в разводе с Нэнси (сюжет Мелисса – меховщик Коэн в «Квартете»).

Даррелл и Эва Коэн поселяются на Вилле Клеоболус – в маленьком аккуратном домике на четыре комнаты, окруженном зарослями бугенвиллеи, в стенах старого турецкого кладбища, украшенного несколькими раками местных исламских святых. Дом расположен совсем неподалеку от главной родосской бухты, где у входа в гавань, на месте ступней рухнувшего Колосса стоят две изящные колонны с «оленьими» навершиями. Греческое море, греческий воздух, греческая речь и греческое вино, и к тому же – ничуть не менее богатые, чем в Александрии, напластования вер и культур: Даррелл отдыхает душой и телом, несмотря на довольно напряженную работу. Наброски к «Книге мертвых» становятся все обширнее, и все явственнее в них начинает проглядывать будущий «Квартет» – да и место действия теперь окончательно и бесповоротно перемещается из Греции в довоенную и военных времен Александрию.

Даррелл теперь довольно значимая фигура в местном послевоенном раскладе сил, и это, помимо довольно солидного жалования и кучи обязанностей, имеет еще один немаловажный смысл. Он искренне надеется, что солидный пост на Родосе послужит мостиком для перевода в Афины, на должность не менее денежную и престижную, но поближе к Сеферису, Кацимбалису, приличным библиотекам и к прежней греческой жизни. Однако в британском посольстве в Греции у него недоброжелатель, развязывается настоящая канцелярская война, в которой менее искушенный Даррелл проигрывает по всем позициям: в итоге на успешной дипломатической карьере при британской миссии в Греции приходится поставить крест. Он вынужден сперва вернуться в Англию, а потом на год (с декабря 1947 по декабрь 1948-го) подписать унизительный – после родосских высот – контракт все с тем же Британским советом и уехать аж в Аргентину, преподавать в провинциальном по европейским меркам университете тамошней Кордовы английскую литературу.

Потом – возвращение в Англию и попытка получить новое назначение поближе к Средиземному морю, по линии все того же Британского совета, который вполне, с его точки зрения, мог бы послать его во Францию или в Грецию. В результате – с июня 1949 по конец 1952 года – пост пресс-секретаря в британском посольстве в Белграде.

Коммунистическая послевоенная Югославия произвела на Даррелла неизгладимое впечатление. Вплоть до резкой и окончательной смены политической ориентации. Если до конца сороковых он скорее склонен сочувствовать левым, как то и должно английскому интеллигенту

⁷ Додеканес, или Южные Спорады, – архипелаг в Эгейском море (острова Родос, Кос, Карпатос и др.), столица – Родос. До Первой мировой войны принадлежали Турции, затем были фактически оккупированы Италией. В ходе Второй мировой войны служили ареной почти непрерывных боевых действий между греками, англичанами, итальянцами и немцами. После войны мандат на управление ими получила Великобритания, которая затем – вопреки ожиданиям Турции и невзирая на претензии последней – передала острова Греции, своей неизменной союзнице в этом регионе.

поколения 20–30-х годов, если, приехав в 1947 году в Англию, он восхищается успешной политикой нового лейбористского правительства, то отныне он – консерватор и антикоммунист. Жизнь дипломатического корпуса в стране, надсадно строящей светлое будущее, полна, вдобавок к обычной замкнутости и сосредоточенности на довольно странных с обыденной точки зрения ритуалах, самых роскошных и неожиданных казусов. И не случайно именно в это время Даррелл создает Энтробаса, старого дипломата и рассказчика многочисленных юмористических историй – будущего любимца толстых еженедельников, готовых платить автору «Александрийского квартета» бешеные гонорары за эти в общем-то весьма неприятные рассказы.

Должность пресс-секретаря посольства позволяет совмещать достаточно высокий дипломатический статус и гораздо более свободный, чем у прочих коллег по цеху, «режим содержания». С одной стороны, Даррелл снова становится весьма заметной в местном дипломатическом мире фигурой (и уже не в пределах маленькой подмандатной территории, какой были во второй половине сороковых Додеканесские острова, а в столице – пусть югославской, но столице) – он удостоен личной аудиенции у маршала Тито, он принимает самое активное участие в организации исторического визита сэра Энтони Идена в Белград и вообще разворачивает в пределах британской миссии весьма активную и разнообразную деятельность. С другой стороны, он практически непрерывно колесит по всей стране с некими туманными культурно-дипломатическими целями, что лишний раз дает повод заподозрить в нем отнюдь не только пресс-секретаря. Напомню, что политическая ситуация на Балканах в это время крайне сложная. Тито поссорился со Сталиным, на границах Югославии сосредоточены советские войска, которые в любой момент могут получить приказ начать вторжение на территорию не пожелавшего идти в общем строю коммунистического собрата. Западная дипломатия, и в первую очередь британская, активно обрабатывает югославское руководство, стремясь углубить раскол во вражеском стане – и дипломатия с разведкой, как, впрочем, и всегда, работают плечом к плечу. Напряженность между буржуазным Западом и коммунистическим Востоком достигает весьма опасной стадии, и то обстоятельство, что конфликт вот-вот разразится именно на Балканах, навевает весьма невеселые исторические ассоциации.

На писательство, судя по количеству проделанной на благо родины работы, вовсе не должно оставаться времени. Однако за время работы в белградском дипкорпусе Даррелл пишет (на основе читанных в Аргентине лекций) весьма дельную даже по академическим меркам литературоведческую книгу «Ключ к современной поэзии» и стихотворную драму из греческой истории «Сапфо» – не считая всяческих мелочей, вроде откровенно антикоммунистического фарса на сюжет «Красной Шапочки», поставленного силами сотрудников британской миссии на радость коллегам и избранным гостям. В 1950 году в Оксфорде появляется на свет Сапфо Даррелл, и Даррелл, уже успевший поднакопить за истекший период весьма солидную, на его взгляд, сумму, начинает подумывать о том, чтобы свернуть затянувшийся роман с Форин офис и вернуться к счастливой жизни вольного литератора, с издателем в Лондоне и домом где-нибудь на берегу Ионийского моря. К 1952 году эти планы превращаются в навязчивую идею – он задыхается в Югославии, ему жмет воротничок дипломатической визитки, а эмбрион «Книга мертвых» все настойчивее заявляет о своем желании быть. Дарреллу как воздух нужна свобода, нужно свободное время, нужен свой дом, и теплое море, и стакан холодной горьковатой греческой реццины душистым вечером на террасе, рядом с печатной машинкой.

Контракт с Форин офис заканчивается пятьдесят вторым годом, и Даррелл любовно и тщательно строит планы на следующий, тысяча девятьсот пятьдесят третий. Он обещает себе «golden year», золотой год: уйти со службы, купить дом на Кипре и вплотную засесть за «Книгу мертвых». Однако перед самым отъездом из Югославии с Эвой случается нервный срыв, ее приходится отправить на лечение в Англию, и он, естественно, едет за ней следом. Месяц за месяцем проходят в полной неопределенности – психическое состояние Эвы не улучшается.

Потом врачам удастся убедить Даррелла в том, что от его присутствия пользы Эве равным счетом никакой, и в марте 1953 года он, взяв с собой дочь, отправляется-таки на Кипр.

На острове ему достаточно быстро и достаточно дешево удается купить подходящее жилище в горной деревушке Беллапэ, неподалеку от Никосии, и он с головой уходит в перестройку этого старого турецкого дома в будущую штаб-квартиру будущего великого писателя. Денег у него, как между тем выясняется, вовсе не так уж и много. Эва понемногу идет на поправку, но врачам приходится платить, и платить хорошо. Кипр переживает период строительного бума, и на камень, на трубы, на цемент и дерево, не говоря уже о каменщиках и водопроводчиках, тоже уходят более чем круглые суммы. За полгода от скопленных денег не остается и следа, и Даррелл вскоре вынужден взяться за привычную рутинную работу – за преподавание английского языка и литературы в никосийской гимназии для девочек (провинциальный школьный учитель, обремененный грузом ненаписанных книг и женщиной с долгой историей психических расстройств – Л. Г. Дарли уже почти готов появиться на свет). Тем временем ситуация на Кипре обостряется до предела, и его, вроде бы совершенно внезапно, приглашают на другую, столь же привычную, но куда более высокооплачиваемую работу – возглавить пресс-службу местной британской администрации.

Согласно «официальной», отраженной в письмах и в написанной по горячим следам кипрской эпопеи книге «Горькие лимоны», для Даррелла его личное активное участие в этом затяжном конфликте (начавшемся с акций гражданского неповиновения и террористическо-партизанской войны греков-киприотов, которые боролись за воссоединение Кипра с Грецией, против британской колониальной администрации и переросшем затем в гражданскую войну между греческой и турецкой общинами) действительно было полной неожиданностью. Он приехал на Кипр писать и радоваться жизни. Но сразу возникает ряд вопросов, ответы на которые грозят не оставить от этой версии камня на камне.

Во-первых, довольно странным представляется сам выбор места для «золотого года». Кипр – не Греция, и Даррелл сам неоднократно подчеркивал различия между ними, причем никак не в пользу Кипра. Он, по горло объевшийся Левантом в первой половине сороковых годов, вряд ли мог всерьез мечтать о том, чтобы навсегда пустить корни на этом, пусть на восемьдесят процентов грекоговорящем, но все же по сути совершенно ближневосточном острове – отколовшемся от континента куске Сирии, или Палестины, или Египта – но уж никак не Греции. Сами греки-киприоты – и об этом Даррелл также неоднократно писал – совсем не похожи на своих эгейских и ионических собратьев, и сквозь привычный даррелловский филэллизм то и дело проскальзывают нотки откровенного презрения. Так почему же не знакомый и любимый Корфу, не Родос, где осталась масса добрых друзей, не Пелопоннес, наконец, и не Афины, куда уже давно вернулись и давно зовут Даррелла в гости и Сеферис, и Кацимбалис, и вся столь желанная и близкая ему компания с Плаки? И – почему такая спешка, заставившая бросить в Англии больную и все еще любимую жену и ехать именно на Кипр? Обширнейший круг знакомств, которые сразу же завязываются на острове, удивлять вроде бы не должен: Даррелл всегда был человеком весьма общительным, очень быстро сходился с людьми и мог очаровать кого угодно и при любых, даже самых неблагоприятных условиях. Но уж очень это похоже на целенаправленную и упорную работу по созданию сети информаторов как в греческой, так и в турецкой общинах. Для человека, официально числящегося на британской государственной службе, подобное в тогдашней непростой обстановке было бы практически невозможным. А вот для писателя на вольных хлебах, для свободно говорящего по-гречески весельчака, балагура и просто рубахи-парня, который знает, как подойти к налаживанию долгих и прочных дружеских связей, – что ж, и греки, и турки всегда были людьми гостеприимными и всегда крайне высоко ценили дружбу. И еще одна деталь: Даррелла в его кипрском уединении навещает, естественно, нескончаемый поток старых знакомых. Но среди этих старых знакомых подозрительно часто мелькают разведчики-профессионалы, из тех, кто в период немецкой оккупации

Крита создавал там диверсионно-партизанские отряды, – Патрик Ли (*Падди; лорд Рейкхелл*) Фермор⁸, Ксен Филдинг⁹ и другие. То есть специалисты по партизанской войне в населенных греками горах – с той разницей, что на сей раз воевать приходится не вместе с греками, а против греков.

«Приглашение» Даррелла на высокий официальный пост при британской колониальной администрации – причем сразу на самый верх, минуя все промежуточные стадии, так что вчерашнее частное лицо в одночасье становилось одним из главных игроков на кипрской политической арене – в этом контексте, вероятно, имеет смысл воспринимать просто как легализацию резидента, выполнявшего до сей поры все ту же, привычную работу по «связям с общественностью», только на другом структурном уровне. Легализацию тем более своевременную, что для ЭОКА, партизанско-террористической организации националистического толка, его инкогнито, видимо, уже перестало быть таковым. «Близко знакомые» с ним греки погибают, если верить самому Дарреллу, без всяких видимых на то причин, а потом и с ним самим происходит какая-то темная история, которую можно интерпретировать в том числе и как попытку покушения. Жить в Беллапэ становится явно небезопасно, и Даррелл окончательно перебирается в столицу.

Родственников (а за прошедшие два года на Кипре успели побывать и маленькая Сапфо, и ее бабушка, спешно выписанная из Англии для ухода за ребенком, и даже брат Джеральд, тут же наводнивший дом в Беллапэ всякой живностью) постепенно переправляют обратно в метрополию, ситуация с Эвой, несмотря на периодические улучшения в ее психическом состоянии, становится все более и более сложной – особенно после ее приезда на Кипр, закончившегося очередным нервным срывом, – и Даррелл снова оказывается в ситуации вынужденного одиночества, которое скрашивают и даже делают желанным два «параллельных» обстоятельства. Во-первых, он, каким-то невероятным образом выкраивая по нескольку часов в день (а вернее, в ночь), пишет «Жюстин», первый роман своего главного прозаического гиганта, который называется уже не «Книга мертвых», а «Александрийский квартет». И к январю 1956 года заканчивает работу над рукописью (и тут же, в силу старой доброй традиции, отсылает ее в Калифорнию, Миллеру). А во-вторых, он знакомится с журналисткой и писательницей по имени Клод Вансендон, которая становится прообразом самой светлой героини «Квартета», Клеа Монтис, и с которой он наконец, впервые за много лет, по-настоящему счастлив.

Вот здесь и наступает настоящий перелом. Он знает, что написал гениальную книгу и что эта книга – только начало. Он больше ничем не хочет заниматься, кроме писательства, и – он находит женщину, которая понимает его так, как до сих пор не понимала ни одна женщина на свете. Ему становятся совершенно неинтересны давно уже ставшие повседневной рутинной политические игры. Греция – причем не Кипр, не Левант, а именно Греция – начинает его раздражать: греки очень любят дружить, то есть болтать ночами напролет, пить вино и петь песни, и совершенно не дают работать. Тем более что далеко не каждый грек согласится теперь подать Дарреллу руку – в Греции его и до сих пор не слишком любят, обвиняя, и, очевидно, не без оснований, в том, что приведшие к затяжному локальному конфликту ошибки британской администрации на Кипре во многом были результатом его «эллинофильской» деятельности.

⁸ Британский литератор, разведчик и диверсант (1915–2011). Во время немецкой оккупации Крита был организатором греческого Сопротивления на острове. Подготовил и осуществил уникальную операцию – похищение и переправка морем в Александрию генерала Хайнриха Крайпе, немецкого коменданта острова. После войны – успешный автор travelogов, реформировавший жанр британской путевой прозы. Один из ведущих на Би-би-си как-то назвал его «помесью Индианы Джонса, Джеймса Бонда и Грэма Грина».

⁹ Еще один британский писатель, переводчик, разведчик и диверсант (1918–1991). Под командованием Падди Фермора занимался на Крите созданием разветвленной сети греческих информаторов, вызволял и переправлял в Александрию оставшихся после разгрома британского гарнизона на острове английских и союзных солдат (спасены были несколько сот человек). Затем был заброшен в тыл к немцам в Южной Франции, попал в плен и едва не был расстрелян. После войны публиковал воспоминания, переводы и путевую прозу.

Так что, со всех точек зрения, пришла пора ставить крест на карьере под крылом у Форин офис и заняться наконец настоящим делом. С того дня, как Миллер признал в Даррелле гения, прошло уже двадцать лет. И за эти двадцать лет, по большому счету, он не опубликовал ровным счетом ничего, что можно было бы поставить рядом с «Черной книгой» – и оправдать заявленные этим типичным романом юного гения надежды и ожидания.

26 августа 1956 года Даррелл выбирается наконец-то из кипрской каши. Сперва он улаживает кое-какие дела в Англии, а потом – и на сей раз окончательно – выбирает «нужный берег Средиземного моря». Юг Франции, Прованс. Который отныне станет его домом – до самой его смерти. Он поселяется там с Клод, с которой отныне тоже будет неразлучен – до самой ее смерти.

В феврале 1957 года он поселяется на Villa Louis, на окраине маленького провансальского городка под названием Соммьер, в департаменте Гар (дома он будет менять еще не раз, пока, наконец, не купит свой собственный, но все они будут находиться в одном и том же районе, в окрестностях Авиньона и Нима). И – начинается давно обещанный им себе «золотой год». Вернее, не один год, а как минимум три. В течение первого из них Даррелл публикует аж четыре книги, причем в самых разных жанрах. «Горькие лимоны» – традиционная в английской литературе путевая проза, стильная, не лишенная сентиментального начала, уравновешенного, впрочем, началом ироническим; пригоршня пейзажей, типажей, забавных сюжетов, объединенных между собой не слишком лезущей на глаза, но и не дающей о себе забыть личностью автора. Книга настолько обаятельна, что за чтением невольно забываешь об одном немаловажном обстоятельстве: авторскую позицию, как и любую откровенно субъективную позицию непосредственного участника событий, следует воспринимать именно как позицию непосредственного участника событий, кровно заинтересованного именно в этой, и ни в какой другой трактовке происходящего. «Белые орлы над Сербией» – чисто коммерческая затея, приключенческая книга для подростков, впрочем, также по-своему весьма обаятельная. «Esprit de Corps» – первый из даррелловских юмористических сборников, легкие скетчи из дипломатической жизни: вынесенный в название книги французский фразеологизм «Чувство локтя», будучи произнесен на английский лад, совершенно меняет смысл – на «Запах труп». У Даррелла накопело на дипломатический корпус, и он дает себе волю. Впрочем – это еще цветочки. Всерьез он воздаст должное большой политике только в «Маунтоливе». Хотя и кусаться вот эдак, походя, тоже не перестанет.

Но главное, конечно, – «Жюстин». Роман совмещает в себе два до крайности неуживчивых качества. Это – действительно великолепная проза, книга, которая оставила далеко позади первый даррелловский замах на гениальность и заявила во всеуслышание: да, гений состоялся. И – это бестселлер, мигом побивший все рекорды продаж не только «высокой», но и чисто коммерческой прозы. Но, напоминая, для Даррелла это всего лишь начало настоящей работы. «Жюстин» – вполне законченный, самостоятельный текст, однако все его богатство будет явлено только тогда, когда он столкнется, сплетется, схлестнется с тремя другими романами тетралогии – ибо смысл целого не сводим к сумме смыслов составных частей. К июню все того же пятьдесят седьмого года он заканчивает «Бальтазара», второй роман «Квартета», ставший полной неожиданностью для публики, которая с нетерпением ожидала «продолжения» «Жюстин». Потому что «Бальтазар» – не продолжение. Потому что все истины, с таким трудом обретенные в «Жюстин», оказываются здесь обманкой, сюжеты и персонажи обнаруживают свою «истинную» подоплеку, и впору перечитывать «Жюстин» заново, удивляясь, как это ты сам не заметил настолько очевидных авторских «покупок».

К апрелю следующего, 1958 года готов и третий роман «Квартета», «Маунтолив». И публика, ожидавшая на сей раз резкого поворота в духе «Бальтазара», была обманута еще раз. То есть поворот, конечно, состоялся – поскольку большая часть с такой дотошностью, с таким сладострастным расковыриванием язв, с таким обилием сложнейших психологических, мистиче-

ских и прочих мотивировок выписанных в «Жюстин» и в «Бальтазаре» сюжетов оказывается, как то и должно, блефом. Все гораздо проще. Поскольку время предвоенное, поскольку политическая ситуация сложна невероятно, поскольку в Александрии действует такое количество всяких разведок и служб безопасности, не считая тайных обществ и отдельных заговорщиков, что героев на них на всех явно не хватает, и многим приходится работать на двоих, а то и на троих хозяев. Однако главная неожиданность текста заключалась вовсе не в этом. Читатель, уже успевший привыкнуть к густой, на барочный манер прихотливой прозе Даррелла, к затейливой мозаике фабулы, к принципиально эклектичной стилистике, где главные смыслы рождаются именно на стыке несовместимых стилей, столкнулся с добротным, совершенно «стенда-левским» по форме романом, написанным как будто специально для того, чтобы подтвердить правоту критика, который сказал как-то раз, что Даррелл «может писать замечательную простую прозу, но не слишком часто хочет»¹⁰.

«Клеа», четвертый роман «многопалубного гиганта», дописан к лету 1959 года. Оценки ему, как то и должно, были выставлены самые разные – от «полной творческой неудачи» и «доказательства того, что автор выдохся» до «невероятного по смелости разрешения всех заявленных тем». Однако как бы критики и читающая публика ни отнеслись к последнему роману тетралогии (он и в самом деле не лишен откровенных – и, возможно, преднамеренных – слабостей, но в нем есть сила, и яркость, и смелость замысла; а финальная «подводная» сцена – едва ли не самая сильная во всем «Квартете»), чудо, тем не менее, состоялось. Лоренс Даррелл, один из многочисленных английских «литераторов второго плана», становится фигурой мирового масштаба и принимается пожинать плоды.

Еще в конце 1957 года, по свежим следам «Жюстин», он получает свою первую литературную премию – английскую, Даффа Купера. Ни в сумме, ни в статусе премии ничего особенного нет. Но есть нечто особенное в обстоятельствах ее вручения: 9 декабря 1957 года на специально устроенном по этому случаю приеме Даррелл получает соответствующие документы и чек из рук британской королевы. Далее, с года на год, его популярность и степень обласканности самыми различными литературными, культурными, околотитулярными и околотульскими инстанциями растет как снежный ком. Пиком публичного признания «Квартета» едва не становится Нобелевская премия по литературе, на которую Даррелл был номинирован в 1961 году. По сведениям из «информированных источников», при голосовании Нобелевского комитета он недобрал какого-то *minimum minimumum*, и обошел его на повороте – по иронии судьбы – югослав Иво Андрич.

Впрочем, Даррелла данное обстоятельство, видимо, не слишком расстраивает. «Квартет» переведен на все основные европейские – и не только европейские – языки, за автором этого стильного интеллектуального бестселлера в буквальном смысле слова охотятся издатели и журналисты, и, к тому же, всемирная слава имеет весьма солидное денежное выражение. Он меняет дома и в 1966 году обретает, наконец, постоянную прописку – в довольно мрачном трехэтажном особняке в стиле модерн, на окраине Сомьера, в окружении каштанов и пальм, и с легендой «*Mme Tartes*»¹¹ над парадной дверью. Он тратит деньги на исполнение давних, почти мальчишеских желаний – вроде большого надувного катера «Зодиак» с мощным подвесным мотором, на котором совершает морской переход из Италии в Грецию, и микроавтобуса «фольксваген», чтобы можно было не только ездить вместе с Клод и друзьями по суше, но и возить с собой, на случай, «Зодиак». В число друзей, кстати, именно в конце пятидесятых, попадает Ричард Олдингтон, также натурализовавшийся на юге Франции.

Работа, между тем, идет своим чередом – и Даррелл, с присущим ему стремлением хвататься за все свежие, неопробованные и чреватые неожиданностями возможности, открывает

¹⁰ Fraser J. S. Lawrence Durrell. L., 1973. P. 13.

¹¹ Мадам Тарт, по-французски – разом, и Мадам Фруктовый Торт, и Мадам Оплеуха. А по-английски tart – еще и «шлюха».

для себя все новые и новые сферы творчества. Давняя и неразделенная до поры до времени любовь к театру находит, наконец, свое воплощение. 22 ноября 1959 года в престижном гамбургском театре «Дойче Шаушпильхаус» проходит триумфальная премьера написанной еще в 1950 году пьесы «Сапфо». Ставит ее именитый немецкий режиссер Густав Грюндигенс. В главной роли – бесподобная Элизабет Фликеншильдт. В 1961-м тот же Грюндигенс ставит «Акте». В 1963-м Даррелл специально для и «под» Грюндигенса пишет «Ирландского Фауста» (тот собирался не только поставить пьесу, но и сыграть в ней Мефистофеля), но Грюндигенс внезапно умирает. Пьесу ставит Оскар Фриц Шу, состав исполнителей достаточно сильный, однако публика принимает премьеру совсем не так тепло, как ожидалось, и на этом недолгий роман Лоренса Даррелла с театром подходит к концу.

Параллельно развивается не менее бурная интрига с кинематографом. Еще в 1960 году в Голливуде возникает замысел грандиозной исторической костюмной драмы «Клеопатра», фильма фильмов, который должен побить все возможные – в том числе и кассовые – рекорды. Режиссером в «проект» приглашают Рубена Мамуляна. Вопрос о том, кому доверить написание сценария, имеет, как представляется в 1960 году, только одно решение – и сценарий заказывают Дарреллу. Однако в 1961 году Мамулян принимает решение окончательно порвать с кино. Деньги в проект, между тем, вложены уже очень и очень немалые, скандал разрастается и приводит в конце концов к практически полной смене всего работающего над фильмом коллектива. Режиссером становится Джозеф Манкевич, из нескольких написанных Дарреллом вариантов сценария в окончательном тексте используются какие-то жалкие крохи, и даже в титрах вышедшего-таки в 1963 году блокбастера его имени, кажется, нет.

Но Даррелл не спешит ставить крест на карьере в шоу-бизнесе. В середине шестидесятых он пишет сценарий для еще одного фильма, «Юдифь», – и переписывает его полностью, проведя несколько недель в Израиле с исполнительницей главной роли, Софи Лорен.

В 1969 году на экраны выходит снятый на киностудии «XX век Фокс» фильм Джорджа Кьюкора и Джозефа Штрика «Жюстин» с откровенно «звездным» составом исполнителей (Майкл Йорк – Дарли, Дерк Богард – Персуорден, Анук Эме – Жюстин, Анна Карина – Мелисса). Автор, однако, не в восторге от кинематографической версии своего прозаического шедевра и, кажется, немного обижен тем, что сценарий по его собственной книге заказали не ему. Впрочем, фильм и в самом деле получился совершенно неудачным – сама попытка втиснуть четыре романа в полтора часа экранного времени, да еще и убрать все лишнее в пользу шпионско-любовной линии, говорит сама за себя. И даже великолепные актеры, судя по всему, не слишком понимают, что именно каждый из них должен играть – пожалуй, за исключением Филиппа Нуаре, у которого с ролью Помбаля не возникло ровным счетом никаких проблем.

В 1970-м лондонская «Таррет рекордс» выпускает пластинку с мюзиклом Даррелла «Улисс возвращается», где сам Даррелл еще и читает текст.

Кинематограф, сцена, музыка – однако и этим интересы Даррелла не ограничиваются. В 1964 году в парижской «Галери де коннэтр» проходит выставка гуашей никому до сей поры не известного художника по имени Оскар Эпфс. Под этим не слишком благозвучным псевдонимом скрывается все тот же неугомный и вездесущий гений. В устройстве и оформлении выставки ему помогают хорошая парижская знакомая, художница Надя Блох и старая боевая подруга – с родосских еще времен – фотохудожница Мэри Молло. Выставка проходит достаточно успешно, публика со знанием дела кивает головами, что не может не восхищать Даррелла, чьи творческие рецепты, позаимствованные по случаю все из того же вечного источника, от Хенри Миллера (Миллер в эту пору большую часть денег зарабатывает поставленным на поток производством акварелей), особой сложностью не отличаются. Даррелл рисует еще с начала тридцатых, но ключ к успеху и общественному признанию подсказал ему именно Миллер. Позже в одном из интервью он ничтоже сумняшеся раскрывает тайны своей творческой лаборатории: «Писать шедевры меня научил Миллер. Техника у него была такая: рисуешь

лошадь, или женщину, или еще какую-нибудь лабуду; потом бежишь в ванную, подставляешь рисунок под струю воды, и – шедевр готов!»¹² Отношение к собственному художественному наследию у него, между тем, двойственное. Он никоим образом не метит в гении, однако определенные амбиции у него как у живописца все же имеются. В 1968 году, когда он впервые едет к Миллеру в США и проводит там сногсшибательные калифорнийские каникулы (ему очень понравился Диснейленд), из Европы приходит печальное известие: в соммерский дом в отсутствие хозяина забрались воры. Вломщики оказались профессионалами высокого класса, и Даррелл по этому поводу с грустью замечает: они забрали его лучшие книги Елизаветинской эпохи и картины действительно крупных современных художников – но из его собственных творений не взяли ничего. Он делает выводы: хранить архив и рукописи дома небезопасно – и начинает подыскивать надежное место (в конце концов он продаст свой архив в Америку, в Карюондейл, университету Южного Иллинойса). Но занятый живописью не оставляет до самой смерти. Кроме того, он еще и читает лекции в университетах, занимается йогой (причем использует йогические навыки в том числе и в чисто сценических целях – скажем, садится в позу лотоса во время этих самых лекций), и так далее, и так далее...

Несостоявшийся нобелевский лауреат не намерен забывать и о том, что в первую очередь он все-таки – писатель. Однако с писательством после выхода «Квартета» все как-то не клеится. То есть пишет Даррелл много, пусть гораздо меньше, чем в конце пятидесятых, но все-таки пишет. Путевые заметки, рассказы для периодических изданий и тому подобные мелочи – плюс, опять-таки, сценарии... Складывается такое впечатление, что ни для чего серьезного у него просто не остается времени. Он всегда умел и хотел жить со вкусом, а поскольку теперь вдобавок к желанию и умению появились еще и возможности, грешно этими возможностями не пользоваться. Клод прекрасно готовит, и Даррелл окончательно становится гурманом, что, кстати говоря, тут же сказывается и на его фигуре. Но он не против сменить имидж. К тому же Лоренс Даррелл знает свой ритм. Сразу после «Квартета» шедевров ждать не приходится. За шедевры, по-хорошему, браться нужно не раньше, чем лет через десять-пятнадцать.

Это, впрочем, не означает, что «машина» работает совсем уже вхолостую. Кое-какие предварительные замыслы у Даррелла есть. Он поговаривает о большом «комическом» романе под названием «Плацебо» и начиная еще с 1961 года делает к нему наброски. Большая их часть, видимо, так и осталась невостребованной, но кое-что всплывет потом в следующем его амбициозном прозаическом «проекте», дилогии «Восстание Афродиты», написанной в самом конце шестидесятых и состоящей из романов «Tunc» и «Nunquam».

Даррелл никуда не торопится, он дает себе волю отвлечься, а новым замыслам – отлежаться и созреть. Может быть, так бы оно все и вышло, и следующий даррелловский гигант появился бы на свет в начале восьмидесятых, и выглядел бы он совершенно иначе, но вмешалась судьба. Первого января 1967 года в цюрихской больнице внезапно умирает Клод. Даррелл сам ее отвозит – под Новый год – именно в эту больницу, поскольку доверяет тамошним врачам. Врачи уверены, что у Клод какая-то инфекция, и проводят соответствующий курс лечения, но умирает она от рака. Для Даррелла ее смерть – страшный удар, и он находит единственный адекватный способ забвения: он очертя голову бросается в писательство. Результатом этого кризиса и становится «Восстание Афродиты» – откровенная творческая неудача, попытка написать второй «Квартет», но только с заменой «пути писателя» на «путь ученого». В науке Даррелл, в отличие от литературы, был и остается полным дилетантом, и оттого выходит у него в результате некая полунаучная полуфантастика, «Секретные материалы», где трагически задумчивый протагонист вступает в противоборство с таинственной и всемогущей «корпорацией». В романах полным-полно знакомой восточной (и не только) экзотики, гротескных

¹² Цит. по: Jan S. McNiven (Ed.) *The Durrell – Miller Letters 1935–80*. L., Boston, Faber and Faber, 1988. P. 399.

персонажей, умствований и афоризмов в духе Персуордена, масок, «зеркальности» и прочего двойничества – короче говоря, всего обильно «отработанного» в «Квартете» арсенала. Чего здесь не хватает, так это жизни, художественной (а не бытовой, ее от Даррелла требовать бессмысленно!) достоверности и цельности, благодаря которым «Квартет» и стал десять лет назад захватывающим дух шедевром. А на одних архитектурных излишествах далеко не уедешь.

Самое печальное, однако, не это. Печально, что сам Даррелл этого уже не понимает. Он, зоркий и въедливый критик, всегда умевший замечать малейшие творческие слабости – как в чужих, так и в собственных книгах, – как-то разом, вдруг, теряет бдительность. «Восстание Афродиты» ему нравится. Он, естественно, далек от того, чтобы считать эту свою работу безупречной, он замечает недостаток структурности и обещает, что следующий, смутно вырисовывающийся на горизонте текст станет достойным завершением титанического, начатого «Черной книгой» и продолженного «Квартетом» и «Восстанием» прозаического гиганта – единого макротекста, согласно возникшему еще на рубеже сороковых и тридцатых годов амбициозному замыслу.

С начала семидесятых он с головой уходит в изучение двух основных, структурообразующих для будущей большой книги тем: египетского гностицизма, а также истории и идеологии ордена тамплиеров. И в 1974 году публикует первую книгу из задуманного «Авиньонского квинтета», само название которого служит достаточно внятным намеком как на масштабность текста, так и на его преемственность по отношению к «Квартету». «Мсье, или Князя Тьмы» и публика, и критика встречают недоуменным молчанием – а Миллер пишет автору то самое, уже упоминавшееся дружески-зубодробительное письмо. Даррелл, между тем, уверен, что все идет так, как и должно идти. Структура задана, и отдельные недостатки отдельных текстов пропадут из вида, а то и вовсе превратятся в достоинства, когда конструкция примет окончательный вид, – в конце концов, разве свободен от частных неудач его великолепный «Квартет»? Через четыре года он публикует вторую книгу «пятипалубного» гиганта, «Ливия, или Погребенная Заживо», в 1982-м выходит третий роман, «Констанс, или Уединенные Обыкновения», в 1983-м – четвертый, «Себастьян, или Всепоглощающие Страсти», и, наконец, в 1985-м – последний, пятый, «Квинкс, или Сказка Совершенства». Структура «Авиньонского квинтета» действительно стройна и внешне незамысловата, и в основе ее лежит один из основных магических и оккультных символов – пентаграмма. Однако смысловые контексты, в которых может быть прочитана пентаграмма, достаточно многочисленны, а потому и обилие символических отсылок каждого смоделированного сюжета, каждого вписанного в этот сюжет персонажа, предмета, события и т. д. начинает тяготеть к бесконечности.

Замысел действительно грандиозен. История Ордена Храма полна загадок, необъяснимых совпадений и темных мест. Гностические и близкие к гностическим идеи звучат порой на удивление созвучно исканиям современных философов, богословов и мистиков. Проблема в другом – в том, какое отношение все это имеет к художественному тексту. Роман, конечно, жанр всеядный: у него луженый желудок, и он в состоянии переварить и лирику, и драму, и эссеистику, и научный-философский-оккультный трактат – при условии, что его собственное, романное тело будет в достаточной степени обихожено и взлелеяно автором. Ди Эйч Лоренс говаривал в свое время о манере прибавать роман гвоздями идей, и о том, что из этого может выйти. Вы либо убьете роман, говорил Ди Эйч (а ему ли не знать!), либо он встанет и уйдет прочь вместе с гвоздями. Оккультные идеи в этом отношении ничуть не лучше марксистских или, скажем, фрейдистских, юнгианских, фрейзеровских и так далее. И лучший тому пример – Густав Майринк, талантливый писатель и не менее талантливый оккультист, сумевший устроить «мистический брак» литературы и тайнознания в «Големе», а потом все более и более тяготевший к тому, чтобы каждый его роман стал формой выражения определенной оккультной системы, и тем все более и более верно убивавший свои романы один за другим. Даррелл, как это ни печально, добивается сходного эффекта. Мало того, всякая попытка

воспринимать литературу как форму популяризации оккультных (и не только оккультных) идей чревата переходом тонкой грани между популяризацией и китчем, когда за туманной многозначительностью образов начинает угадываться до боли знакомая интонация салонных и телевизионных «магов». Так, если Даррелл всерьез занимался историей европейских тайных обществ, он не мог не знать, что так называемое «Завещание Петра Великого», целиком приведенное в Приложении к роману «Констанс», есть фальшивка, сработанная польским эмигрантом генералом Сокольниковым на потребу наполеоновским спецслужбам и опубликованная во французской прессе – по удивительному стечению обстоятельств – как раз накануне 1812 года.

Впрочем, откровенно «китчевые» ходы популярности даррелловскому «пятикнижию» все равно не прибавили. В качестве легкого чтения этот текст, тяжеловесный, громоздкий и заумный, попросту непредставим. А в элитарных читательских кругах, где в первой половине шестидесятых на человека, не читавшего «Александрийского квартета», смотрели как на марсианина, если и упоминают теперь об «Авиньонском квинтете», то чаще всего не в самых приятных для автора контекстах.

Работал Даррелл и после 1985 года – несмотря на то, что чувствовал себя все хуже и хуже. Он писал эссе, делал наброски к какой-то так и не состоявшейся прозе, даже брал интервью. В 1990 году его не стало. В его соммерском доме 19 сентября 1992 года провели посмертную выставку работ Оскара Эпфа. И в том же 1992 году «Фейбер энд Фейбер», так и оставшийся основным издателем даррелловских текстов, переиздал «Квартет» и «Квинтет», два больших тома. «Квартет» разошелся довольно быстро.

Творческая судьба Лоренса Даррелла совсем не похожа на привычную, основанную на романтических и постромантических штампах модель писательской судьбы. Да, он успел пожить в шкуре непризнанного гения. Но непризнанный гений, в ожидании звездного часа трезво распоряжающийся собственными писательскими навыками, – это уже из какой-то другой оперы. Да и сам избранный Дарреллом образ жизни скорее подobaет гению состоявшемуся. Взять, к примеру, Хемингуэя. Став кумиром целого поколения издателей и журналистов, можно позволить себе скорректировать на пару десятков градусов широту природной зоны обитания; можно позволить себе стать сибаритом настолько, что даже мировая война воспринимается как повод к личной аванюре; можно писать абы что и абы как, веря, что Нобелевская премия все равно рано или поздно найдет своего героя. Хемингуэя, кстати, Даррелл всю жизнь просто в упор не видел и не считал сколь-нибудь серьезным литератором, не говоря уже о гениях. И дело не только в колоссальной – полярной – разнице стилистик.

Юношеское увлечение елизаветинцами многое может в этом смысле сделать яснее. С точки зрения Т. С. Элиота, который, собственно, во многом и открыл елизаветинскую поэзию и драматургию для более или менее широкого английского читателя (и писателя), XVII век был последней в истории европейского человечества эпохой, когда человек был целен и самостоятелен. Когда поэт и ученый, солдат и богослов вполне мирно уживались в пределах одной и той же личности, именно и делая ее «многолюдным дарованием», как позже Шлегель, кстати основатель немецкого романтизма, на совершенно барочный манер обозначил гения: в отличие от человека просто талантливого, который талантлив в одной какой-то области. А с высоты «многолюдного дарования» всякое призвание, будь то даже писательская или вообще какая угодно артистическая «призванность», священная в романтической (и модернистской!) системе ценностей, есть всего-навсего один из частных аспектов человеческого бытия. И если человек – писатель, он должен в первую очередь быть просто мастером, профессионалом. Ремесленником, в самом лучшем, ныне практически полностью выветрившемся смысле этого слова.

Здоровое барочное отношение к писательству как к ремеслу с самой ранней молодости выгодно отличало Даррелла от большинства его тогдашних современников. Повторю еще раз – к ремеслу в исходном, магическом и сакрализованном смысле слова. И ко всякому стремлению писателя встать под какое бы то ни было знамя и заняться глобальным переустройством

мира Даррелл относился в то время как к элементарному свидетельству небрежения профессиональными обязанностями. Так, на предложение Миллера, подпавшего на время под обаяние парижских сюрреалистов, подписать какой-то очередной манифест Даррелл однажды ответил: если речь идет об – измах, то он законченный дарреалист¹³. Писатель должен писать. Переустройство мира – это другая профессия. В ней, в самой по себе, нет ничего дурного, собственно, писатель и так этим постоянно занят – но только сам, на собственный страх и риск. Так не станем сбиваться в кучу – и пусть каждый идет своим путем.

Две эти свободы – свобода от диктата «гениальности» и обычная, внутренняя человеческая свобода – всегда шли для Даррелла рука об руку. Да, я гений, и я об этом знаю. Ну и что с того? Почему я не имею права зарабатывать на жизнь писательским ремеслом в его не самых роскошных творческих аспектах – или, скажем, дипломатией, если так повернулась судьба и если мне пришла охота поиграть в шпионов? Или писать джазовые песенки. Или картины гуашью. Или делать кино. Или керамику – если меня заинтересовали профессиональные навыки прикладных ремесел. Весь мир – система знаковых отсылок, и, потянув за ниточку в одном его конце, рискуешь вытянуть рыбу на противоположном краю ойкумены. Эта постмодернистская по видимости мысль – плоть от плоти барочной эстетики. И – Даррелл не придумывал постмодернизма (хотя многие киты постмодернистской литературы, вроде того же Джона Фаулза, откровенно у него учились и не делали из этого ученичества тайны¹⁴). Просто на излете романтической по сути эпохи авангарда он «вспомнил» об иной культурной доминанте: противопоставив динамике структуру, генезису – многообразие, времени – пространство.

«Авиньонский квинтет» в этом контексте можно воспринимать как еще одно проявление все той же личной и творческой свободы. Одним из способов отказа от уникального личностного субъекта как основы повествовательной техники является гиперобильное нагнетание субъективного начала. Еще в «Квартете» Даррелл мастерски проиллюстрировал это нехитрое положение. Одним из способов отказа от «идейности» художественного текста может стать обнаженность «идейного» слоя, откровенное превращение его в поле всеобъемлющей игры по предложенным автором правилам. А удачным или неудачным получился этот текст – что ж, а разве право на неудачу не есть естественное право профессионала?

¹³ Непереводимая игра смыслов: вместо приставки *sur-* (над-) Даррелл прибавляет к реализму другую, *dur-* (сквозь-), созвучную его собственной фамилии.

¹⁴ Ср. у Фаулза, «Башня из слоновой кости» и «Волхв».

Жюстин

ЭВЕ

посвящает автор эту летопись ее родного города

Я постепенно привыкаю к мысли о том, что каждый сексуальный акт следует рассматривать как процесс, в который вовлечены четыре человека. Нам будет о чем поговорить в этой связи.

З. Фрейд. Письма

Есть две позиции, позвоительные нам: либо преступление – оно делает нас счастливыми, либо же привычка – она мешает нам быть несчастными. Я задаюсь вопросом, возможно ли здесь хоть какое-то колебание, очаровательная Тереза – ну и где же Ваша маленькая головка сможет отыскать аргумент, способный выстоять против сказанного мною?

Д. А. Ф. де Сад. Жюстин

Уведомление

Персонажи этой книги, первой из четырех, являются полностью вымышленными, как и личность рассказчика, и прототипов не имеют. Реален лишь город.

Часть 1

Сегодня снова штормит, и море пронизано вспышками ветра. В середине зимы замечаешь первые вздохи весны. Небо до полудня как раскаленная вскрытая раковина, сверчки на подветренных склонах, и снова ветер раз за разом обшаривает огромные платаны, тасует их листья...

Я сбежал на этот остров с несколькими книгами и ребенком – ребенком Мелиссы. Не знаю, почему у меня вырвалось это слово – «сбежал». Те, кто живет в деревне, шутят, говорят, что только больной человек мог выбрать такое Богом забытое место, чтобы заново отстроить дом. Ну что ж, я и приехал сюда затем, чтобы вылечиться, если на то пошло...

Ночью, когда ревет ветер и ребенок тихо спит в деревянной колыбели у камина, эхом вторящего ветру, я зажигаю лампу и хожу по комнате, думая о тех, к кому привязан, – о Жюстин и Нессиме, о Мелиссе и Бальтазаре. Я возвращаюсь, звено за звеном, вдоль железных цепей памяти в город, где мы так недолго прожили вместе: она видела в нас свою флору – возвращала конфликты, которые были ее конфликтами и которые мы принимали за свои, – любимая моя Александрия!

Как далеко мне пришлось уехать, чтобы понять это! Здесь, на голом каменистом мысе, где каждую ночь Арктур выхватывает меня из тьмы, далеко от известковой пыли тех летних полдней, я вижу наконец, что никого из нас нельзя, собственно, судить за то, что случилось в прошлом. Если кто и должен держать ответ – только Город, хотя нам, его детям, так или иначе придется платить по счету.

* * * * *

Как рассказать о нем – о нашем городе? Что скрыто в слове – Александрия? Вспышка – и крохотный киноглаз там, внутри, высвечивает тысячу мучимых пылью улиц. Мухи и нищие царствуют там сегодня – и те, кто в состоянии с ними ужиться.

Пять рас, пять языков, дюжина помесей, военные корабли под пятью разноцветными флагами пересекают свои маслянистые отражения у входа в гавань. Но здесь более пяти полов, и, кажется, только греки-демоты умеют между ними различать. Обилие и разнообразие питательных соков для секса, возможностей, которые всегда под рукой, ошеломляет. Счастливыми здешние места назвать трудно. Символические любовники свободного эллинского мира канули в Лету, теперь здесь цветут иные травы, с подспудным ароматом андрогинности, обращенные на самих себя, на самих себя обреченные. Восток не способен радоваться сладостной анархии тела – ибо он обнажил тело. Я помню, Нессим однажды сказал – мне кажется, он кого-то цитировал, что Александрия – это гигантский винный пресс человеческой плоти; те, кто прошел через него – больные люди, одиночки, пророки, – я говорю об искалеченных здесь душах, мужских и женских.

* * * * *

Горсть красок для пейзажа... Долгие темперные гаммы. Свет, процеженный сквозь лимонную цедру. Воздух полон кирпичной пыли – сладко пахнущей кирпичной пыли и запаха горячих тротуаров, сбрызнутых водой. Легкие влажные облака липнут к земле, но редко приносят дождь. Поверх – брызги пыльно-красного, пыльно-зеленого, лилового с мелом; сильно разбавленный малиновый – вода озера. Летом воздух лакирован влагой моря. Город залит камедью.

А позже, осенью, сухой дрожащий воздух, шероховатый от статического электричества, разбегается язычками пламени по коже под легкой одеждой. Плоть оживает, пробует запоры тюрьмы на прочность. Пьяная шлюха бредет по улице ночью, роняя обрывки песни, как лепестки. Не эта ли мелодия бросила в холод Антония – цепенящие струны великой музыки, настойчиво звеневшие о расставании с городом, с его любимым городом?

Молодые тела угрюмо ищут отзвука в чужих телах, и в маленьких кафе, в тех самых, куда часто забредал Бальтазар вместе со старым поэтом Города¹⁵, парни нервно суетятся над триктраком под керосиновыми лампами, взбаламученные сухим пустынным ветром – заряженным подозрительностью и прозой, – суетятся и оборачиваются навстречу каждому входящему. Они ведут войну за то, чтобы дышать, и в каждом летнем поцелуе отслеживают привкус негашеной извести.

* * * * *

Я приехал сюда, чтобы заново отстроить в памяти Город – меланхолический пейзаж, который старик¹⁶ видел полным «черных руин» его жизни. Лязг и дребезжание трамваев по металлическим венам, прорезавшим окрашенный йодом *мейдан* Мазариты. Золото, фосфор, магний, бумага. Здесь мы обычно встречались. Летом появлялся маленький раскрашенный ларек, где продавали ломтики арбуза и яркие шарики фруктового мороженого – ей нравилось именно такое. Она, конечно же, приходила на несколько минут позже – может быть, сразу после свидания в какой-нибудь комнате с зашторенными окнами, об этом я стараюсь не думать; но такая свежая, такая молодая, раскрытые лепестки рта касаются моих губ – непогашенное лето. Мужчина, от которого она пришла, мог все еще возвращаться мыслями к ней, опять и опять; она была словно припорошена пылью его поцелуев. Мелисса! Как мало все это значило, когда рука подавалась под гибкой тяжестью ее тела и она, опершись о мой локоть, улыбалась с безличной невинностью тех, кто навсегда развязался со всякими тайнами. Это было чудесно – стоять вот так, неловко и слегка смущенно, и дышать часто – мы ведь знали, чего хотели друг от друга. Понимание, проходящее мимо сознания, прямо сквозь плоть губ, сквозь глаза, шарики мороженого, сквозь раскрашенный ларек. Стоять легко, держась мизинцами, вдыхая глубоко пропахший камфарой полдень, часть города...

* * * * *

Просматривал сегодня вечером бумаги. Что-то, видимо, пошло на кухонные нужды, что-то испортил ребенок. Эта форма цензуры мне импонирует, ибо напоминает о безразличии мира ко всему, что воздвигает искусство, – о безразличии, которое я начинаю разделять. В конце концов, что толку Мелиссе от изящных метафор, если она лежит глубоко под землей, подобная бесчисленным здешним мумиям, – в мелком теплом песке черной египетской дельты.

Некоторые бумаги, тем не менее, я тщательно оберегаю от разного рода случайностей – три тетради, в которых Жюстин вела дневник, и фолиант, хранящий память о безумии Нессима. Нессим заметил их, когда я уезжал, кивнул мне и сказал:

«Правильно, забери это все, прочитай. Там многое сказано о нас обо всех, в этих книгах. Они помогут тебе понять, что такое Жюстин, и не рыскать вокруг и около правды, как я». Это было в летнем дворце, уже после того, как умерла Мелисса, – тогда он еще верил, что Жюстин к нему вернется. Я часто думаю, и всегда с каким-то привкусом страха, о том, как Нессим

¹⁵ «Старый поэт Города» – К.-П. Кавафис.

¹⁶ «Старик» – К.-П. Кавафис.

любил ее. Возможно ли чувство более всеобъемлющее, более самоценное? Эта любовь придавала его несчастью оттенок некой экзотичности, радости быть раненым, подобного ждешь от святого, не от влюбленного. И все же – одна-единственная капля юмора спасла бы его от ужаса вечных мук. Я знаю, легко критиковать. Я знаю.

* * * * *

В великом молчании здешних зимних вечеров есть только одни часы: море. Его неясный ритм выстраивает фугу, и я нанизываю на нее слова. Гулкие кадансы морской воды, она зализывает собственные раны, облизывает губы дельты, кипит на опустевших пляжах – пустынных, навсегда пустынных под крыльями чаек: белые росчерки на сером, тучи жуют их заживо. Если здесь появляется парус, то умирает прежде, чем мыс успеет его заслонить. Обломок кораблекрушения, вымытый к подножию острова, безмолвная шелуха, окатанная непогодой, прилипшая к голубому небу воды... исчез!

* * * * *

Если не считать морщинистой старой крестьянки, которая каждый день приезжает на муле из деревни, чтобы прибраться в доме, мы совсем одни – девочка и я. Ребенок подвижен и счастлив в столь необычном месте. Имени я ей еще не дал. Конечно, она будет Жюстин – как иначе?

Что до меня, я ни счастлив, ни несчастлив: парю, подобно волоску или перышку, в туманных потоках памяти. Я говорил о бесполезности искусства, но ничего не сказал о том облегчении, которое оно способно принести. Утешение, находимое мною в подобного рода работе ума и сердца, состоит в следующем – только *здесь*, в молчании художника или писателя, реальность можно перестроить, переработать и заставить повернуться значимой стороной. Обычные наши поступки суть не что иное, как дерюга, под которой сокрыто златотканое покрывало – источник значений. Нас, художников, здесь ожидает счастливая возможность помириться посредством искусства со всем, что ранило и унижало нас в обыденной жизни, и – не бежать от судьбы, как то пытаются делать обычные люди, но заставить ее пролиться истинным живым дождем – воображением. Иначе – зачем бы мы мучили друг друга? Нет: благое отпущение, коего я ищущу и которое, возможно, и будет мне даровано, я найду не в ясных по-дружески глазах Мелиссы и не в тяжеловатом, исподлобья взгляде Жюстин. Каждый из нас выбрал свой путь; но именно здесь, в первом взрыве распада и хаоса, встреченном мной уже в качестве зрелого мужчины, я вижу, насколько память об этих людях расширила границы моей жизни и моего творчества, – безмерно. В мыслях я снова с ними, как будто только здесь – деревянный стол над морем под оливами, – как будто только здесь я наконец могу воздать им сполна. Слова, что возникают на бумаге, напоминают – вкусом? запахом? – тех, о ком они, – их дыхание, кожу, голоса – и обращивают их в податливый целлофан человеческой памяти. Я хочу, чтоб они снова жили, хочу до той самой степени, где боль становится искусством... Может, даже попробовать бессмысленно, не мне судить. Но попробовать я должен.

Сегодня мы с девочкой вместе заложили первый камень в фундамент будущего дома, тихо переговариваясь за работой. Я говорю с ней, как говорил бы с самим собой, будь я один; и она отвечает мне на героическом наречии собственного изобретения. Мы закопали кольца, которые Коэн купил для Мелиссы, в земле под камнем, как велит местный обычай. Это приносит счастье обитателям дома.

* * * * *

В то время, когда я встретил Жюстин, я был едва ли не счастлив. Внезапно отворилась дверь – и за ней была близость с Мелиссой, близость, не терявшая привкуса чуда оттого, что была она неожиданной и совершенно незаслуженной. Как и все эгоисты, я не могу жить один, и весь тот последний год меня уже просто тошнило от холостяцкой жизни – я не способен вести хозяйство, я безнадежен во всем, что касается одежды, и еды, и денег; было от чего впасть в отчаяние. Тошнило меня и от кишасей тараканами квартиры, в которой я тогда жил и за которой присматривал одноглазый Хамид, слуга-бербер.

Мелисса проникла сквозь мои обветшалые оборонительные сооружения не потому, что в ней было что-то из обычного арсенала любовниц – шарм, какая-то особенная красота, ум, – нет, но в силу того, что я могу назвать только милосердием, в том смысле, что вкладывают в это слово греки. Я часто видел ее, я это прекрасно помню, бледную, тонкую в кости, одетую в поношенную котиковую шубу – зима, она выгуливает по улицам собачку. Прозрачные руки с голубыми жилками – руки чахоточной – и т. д. Брови, искусно подведенные кверху, чтобы глаза, ее изумительные, без страха искренние глаза, казались больше. Я видел ее каждый день, сотни раз подряд, но ее туманная анилиновая красота не вызывала во мне отклика. День за днем я встречал ее по пути к кафе «Аль Актар», где ждал меня Бальтазар в неизменной черной шляпе, ждал, чтобы «наставить» меня. Мне и не снилось, что когда-нибудь я стану ее любовником.

Я знал: одно время она была моделью в ателье – работенка незавидная, – а теперь стала танцовщицей; больше того, она была на содержании у пожилого меховщика, одного из жирных и вульгарных городских коммерсантов. Я набросал эскиз рисунка только для того, чтобы обозначить часть моей жизни, рухнувшую в море. Мелисса! Мелисса!

* * * * *

Память плавно падает вниз, туда, где мы вчетвером жили вне привычного мира; не было дней, были паузы между снами, зазор, отделявший – одну от другой – раздвижные панели времени, действий, жизни вне пространства... Поток бессмысленных движений, срезающих тонкую суть вещей, вне климата и места, они никуда не ведут нас, не требуют от нас ничего, кроме разве что невозможного – чтобы мы были. Жюстин говорила: мы попали в поле действия воли слишком злонамеренной и сильной, чтобы то была воля людская, – в поле тяготения, коим Александрия окутывает избранных ею – подопытных кроликов.

* * * * *

Шесть часов. Суета фигур, одетых в белое, у выходов вокзала. Магазины на Рю де Сёр наполняются и пустеют, как легкие. Косые бледные лучи послеполуденного солнца скрадывают длинные изгибы Эспланады, и ослепленные голуби, как взметенные ветром смерчки резаной бумаги, карабкаются выше минаретов, чтобы зачерпнуть, поймать крыльями последние лучи убывающего света. Звон серебра на конторках менял. Железные решетки банка, все еще горячие. Копыта по брусчатке – чиновники в красных фесках разъезжаются в экипажах по кафе. Нет часа тяжелее в Александрии – и вот с балкона я внезапно выхватил взглядом ее, не торопясь бредущую в белых сандалиях в центр, все еще полусонную. Жюстин! Город на секунду разглаживает морщины, как старая черепаха, и заглядывает ей в лицо. На минуту он оставляет заскорузлые лохмотья плоти, пока из безымянного переулочка за скотобойней ползет гнусавая

синусоида дамасской любовной песни – резкая микрохроматика; словно небо разламывают в порошок.

Усталые мужчины откидывают щеколды балконных дверей и, шурясь, ступают в тускнеющий горячий свет – бледные соцветия полдней, изнуренные бессонной сиестой на уродливых кроватях, где сны свисают с кареток в изголовье, как заскорузлые бинты. Я и сам был одним из этих худосочных клерков ума и воли, гражданин Александрии. Она проходит под моим окном, тихо улыбаясь про себя, чуть покачивая у щеки маленьким тростниковым веером. Очень может быть, мне и не доведется больше увидеть твоей улыбки – на людях ты только смеешься, показывая великолепные белые зубы. Печальная эта улыбка рождается быстро, и быстро гаснет, и светится изнутри оттенком, как будто совершенно чуждым твоей палитре, – злой волей. Кажется, тебе уготованы были роли в спектаклях скорее трагедийных по тону, к тому же ты была лишена чувства юмора в обычном смысле слова. Вот только назойливое воспоминание об этой твоей улыбке порою заставляло меня в том усомниться.

* * * * *

В моей памяти – целый архив подобных моментальных снимков Жюстин, и, конечно же, я прекрасно знал ее в лицо еще до того, как мы встретились: наш город не позволяет анонимности людям, чей доход превышает две сотни фунтов в год. Я помню ее одиноко сидящей у моря, она читает газету и ест яблоко; или в вестибюле отеля «Сесиль», между пыльных пальм, одетую в узкое платье, словно сшитое из серебряных капель, – свои великолепные меха она закинула за спину, как крестьянин куртку, – ее длинный указательный палец продет в петлю. Нессим остановился в дверях залы, затопленной музыкой и светом. Он ее потерял. Под пальмами в глубокой нише сидят два старика и играют в шахматы. Жюстин остановилась посмотреть на игру. В шахматах она ничего не смыслит, но аура тишины и сосредоточенности, переполняющая нишу, зачаровала ее. Она долго стоит между лишившимися слуха игроками и миром музыки, словно выбирая – куда нырнуть. Сзади неслышно подходит Нессим, берет ее под руку, и некоторое время они стоят вместе – она следит за игрой, он следит за ней. Наконец с легким вздохом она возвращается в освещенный мир – понемногу, неохотно, настороженно.

Ну, а в иных ситуациях, куда как сложных и для нее самой, и для нас, прочих: насколько трогательной, насколько женственной и мягкой умела быть эта обладательница изощренного мужского ума. Она из раза в раз напоминала мне кошмарную породу цариц, которая оставила после себя, подобно облаку, затмившему подкорку Александрии, аммиачный запах кровосмесительных романов. Гигантские кошки-людоеды вроде Арсинои¹⁷ – вот ее истинные сестры. Но за поступками Жюстин стояло что-то еще, рожденное более поздней трагической философией, где мораль была призвана выступить противовесом разбою воли. Она была жертва сомнений, по сути совершенно героических. Но я все еще способен увидеть прямую связь между Жюстин, склонившейся над раковиной, в которой лежит выкидыш, и бедной Софией Валентина, умершей от любви столь же чистой, сколь и ошибочной.

¹⁷ Вторая жена и единокровная сестра Птолемея II Филадельфа («Сестролюбивого») (царств. 283–246 гг. до н. э.), авантюристка и интриганка, ставшая в итоге фактической основательницей целой идеологической системы, на которой впоследствии основывалась официальная придворная доктрина египетских Птолемеев, – связанной с мифологией иерогамии (священного, т. е. кровнородственного, брака) и с культом Сераписа. (Здесь и далее примечания переводчика даны постранично и обозначены арабскими цифрами. Авторские примечания обозначены звездочками и вынесены в конец книги.)

* * * * *

В означенную эпоху Жорж Гастон Помбаль, мелкий чиновник французского консульства, снимает со мной на паях небольшую квартиру на Рю Неби Даниэль. Он являет собой фигуру редкую меж дипломатов, ибо, по крайней мере на первый взгляд, умудрился сохранить позвоночник. Для него утомительная рутина официальных приемов и протокола, живо напоминающая сюрреалистический кошмар, полна очарования и экзотики. Он смотрит на дипломатию глазами таможенника Руссо. Она его забавляет, но он никогда не позволит ей покуситься на остатки собственного интеллекта. Мне кажется, секрет его успеха – в потрясающей праздности, порою почти сверхъестественной.

Он сидит в Консульат-Женераль за столом, усыпанным, как конфетти, игральными картами, на коих начертаны имена его коллег. Этаким гигантский водонепроницаемый ленивец – огромный медлительный человек, поклонник бесконечных послеполуденных сиест и Кребийона-fils¹⁸. Его носовые платки благоухают Eau de Portugal. Излюбленная тема – женщины, и весьма похоже на то, что все, о чем бы он ни говорил, почерпнуто из собственного опыта, ибо череда посетительниц его половины нашей скромной квартиры бесконечна; и в ней лишь изредка мелькает знакомое лицо. «Француза не может не заинтересовать процесс, именуемый здесь любовью. Они сначала действуют, потом думают. Когда же наступает время для раскаяния и угрызений совести, уже слишком жарко, и ни у кого просто не хватает на это сил. Здешнему анимализму, пожалуй, недостает finesse¹⁹, что, впрочем, лично меня вполне устраивает. Эта ваша любовь иссушила мне мозг и душу, я хочу, чтобы меня просто оставили в покое; и больше всего, топ cher, мне надоела коптско-иудейская мания *расчленять*, анализировать. Я хочу вернуться на свою ферму в Нормандии нормальным человеком».

Зимой он надолго уезжает в отпуск, и маленькая сырая квартира полностью переходит в мои руки – я засиживаюсь допоздна, проверяя тетрадки на пару с храпящим Хамидом. В тот год я окончательно дошел до ручки. Силы мои иссякли, и я понял – я абсолютно ни на что не годен. Я не мог работать, не мог писать; даже заниматься любовью. Не знаю, что на меня нашло. В первый раз я по-настоящему почувствовал: воля жить во мне угасла. Под руку попадается то пачка исписанных листов, то корректура какого-то романа, то книжка стихов – я листаю их неприязненно и невнимательно; и с грустью – будто разглядываешь старый паспорт.

Время от времени одна из многочисленных подружек Жоржа залетает в мою паутину, зайдя к нему в его отсутствие, – подобные инциденты на время усугубляют мою *taedium vitae*²⁰. В этих делах Жорж предусмотрителен и щедр – перед отъездом (зная о моем безденежье) он часто платит вперед какой-нибудь сирийке из ресторанчика Гольфо и оставляет ей указание провести ночь-другую в нашей квартире *en disponibilité*²¹, как он выражается. В ее задачу входит вдохнуть в меня радость жизни – задача не из легких, тем более что на первый взгляд меня в отсутствии таковой никак не упрекнешь, а до второго дело обычно и не доходит. Поболтать

¹⁸ Клод Проспер Жольо де Кребийон (Кребийон-сын) (1707–1777), один из виднейших представителей литературы французского рококо, автор рассчитанных на взыскательные вкусы парижской аристократии романов, повестей, новелл, сказок и т. д. В его творчестве галантная, замаскированная под нравоучение игра чувственностью часто ведется на условно-экзотическом, «восточном» фоне («Танзай и Неадарнэ», 1733; «Аталзаид», 1736; «Диван», 1742; «Афинские письма», 1771). В то же время Кребийон-сын – автор одной из самых известных «психологических» повестей середины XVIII века – «Заблуждения сердца и ума» (1756). Д.А.Ф. де Сад, к которому отсылает один из даррелловских эпиграфов, во многом был наследником тех самых «игровых» тенденций французской рокайльной литературы, которые разрабатывал Кребийон-сын и которые сам «безумный маркиз» просто довел до логического предела – в частности, в пародийно-рокайльном романе «Жюстин, или Несчастья добродетели» (1787).

¹⁹ Здесь – тонкости (*фр.*).

²⁰ Скуку жизни, отвращение к жизни (*лат.*).

²¹ Про запас, на черный день (*фр.*).

о том о сем – давно вошедшая в привычку и весьма полезная форма автоматизма, она продолжает действовать и тогда, когда пропало всякое желание разговаривать; я могу даже заниматься любовью при необходимости, и даже с чувством некоторого облегчения – по ночам здесь душно, выспаться все равно не получится, – но без страсти, но без радости.

Эти randevу с несчастными созданиями, доведенными нуждой до последней крайности, бывают занятыми, даже трогательными, пожалуй. Однако собственные чувства мне более не интересны, и дамы от Гольфо приходят ко мне, как тени на экране, лишённые объема и веса. «С женщиной можно делать только три вещи, – сказала как-то Клеа. – Ты можешь любить ее, страдать из-за нее и делать из нее литературу». Я потерпел фиаско на трех фронтах одновременно.

Я пишу все это только для того, чтобы дать понять – какой безнадежный человеческий материал выбрала Мелисса, дабы оживить, дабы вдохнуть в мои ноздри немного жизни. Ей и самой было нелегко нести двойное бремя неустроенности и нездоровья. И подставить плечо под мою ношу – немалая смелость с ее стороны. Может быть, она была смела с отчаяния, она ведь тоже добралась, подобно мне, до царства смерти. Мы были – товарищи по банкротству.

Неделю за неделей ее любовник, старый меховщик, ходил за мной следом, и карман его пальто был отчетливо оттянут пистолетом. Я немного успокоился, узнав от одного из друзей Мелиссы, что пистолет не заряжен, но этот старик постоянно висел у меня на пятках, и это меня раздражало. Не осталось, наверно, ни единого угла во всем городе, на котором мысленно мы не застрелили бы друг друга. Я просто видеть не мог этой изрытой оспой рожи, этой скотской гримасы мучимого ревностью сатира, просто не мог перенести мысли о том, что эта жирная свинья с ней делала: у него были маленькие потные ручки, поросшие черным волосом густо, словно дикобразы. Это продолжалось достаточно долго, и несколько месяцев спустя между нами, кажется, возникло даже некое странное чувство близости. Мы улыбались друг другу и раскланивались при встрече. Однажды, встретив его в баре, я битый час простоял с ним бок о бок; мы были на грани того, чтобы заговорить, но ни у кого из нас не хватило на это смелости. Единственной общей темой разговора была бы Мелисса. Уходя, я случайно поймал глазами его отражение в одном из длинных зеркал на стене – он ссутулился и уставился в стакан. Сама его поза – нелепый вид дрессированного тюленя, пытающегося жонглировать человеческими чувствами, – поразила меня, и я впервые понял: он, может быть, любил Мелиссу не меньше, чем я. Мне стало жаль его за то, что он уродлив, за то, с какой болью и с каким детским непониманием он встретил столь непривычные ему чувства, как ревность, как ощущение измены бережно лелеемой любовницы.

Позже, когда принялись вытряхивать содержимое его карманов, я углядел среди всякой всячины маленький пустой пузырек из-под дешевых духов того сорта, которым пользовалась Мелисса; я унес его домой, где он простоял несколько месяцев на каминной полке, пока Хамид не выбросил его во время весенней уборки, Мелиссе я никогда об этом не говорил; но часто, когда я оставался один по ночам, пока она танцевала или спала с кем-нибудь из поклонников, – я вертел эту маленькую бутылочку в руках, размышляя с грустью и горечью о жуткой стариковской любви, примерял ее на себя; и пробовал на вкус, его губами, отчаяние, заставляющее цепляться за какую-нибудь выброшенную за ненадобностью безделушку, все еще чреватую памятью о том, кто тебя предал.

Я нашел Мелиссу, как полузахлебнувшуюся птицу, вымытую морем на печальные литорали Александрии, покалеченную женскую душу...

* * * * *

Улицы разбегаются от доков под бдительным присмотром облезлых гнилых домов, которые дышат рот в рот и в любой момент готовы рухнуть навзничь. Закрытые балконы, киша-

щие крысами, старухи, чьи волосы слиплись от крови раздавленных вшей. Облупленные стены пьяно клонятся на запад и восток от физических центров тяжести. Черные ленты мух липнут к глазам и губам детей, мясные мухи – как рассыпанные всюду влажные бусинки; под мертвым их весом обрываются заскорузлые полосы липкой бумаги в фиолетовых дверных проемах киосков и кафе. Запах взмыленных, истекающих потом берберок, как от сгнившей ковровой дорожки. И уличный гам в придачу: крики водоноса – копта-саидянина, звякающего металлической чашкой о чашку вместо рекламы, крики, прорезающие время от времени уличный гвалт, крики, на которые никто не обращает внимания – словно потрошат какое-то маленькое изящное животное. Язвы как проруби – это вселенское средоточие человеческих горестей ошеломляет, и все твои чувства преосуществляются в отвращение и страх.

Хотел бы я воспроизвести ту спокойную логику, с которой Жюстин находила в лабиринте переулков дорогу к кафе, где ждал ее я: «Эль Баб». Дверь возле закрытой воротами арки, там мы сидели и говорили, не виноватые ни в чем: но беседы наши были уже чреватые проблесками близости – они казались нам просто счастливыми знаками дружбы. Там, ощущая ступнями быстро стынущий, отдающий тьме тепло цилиндр земли под серо-коричневой глиной пола, мы были одержимы единой страстью – сверять идеи и переживания, превосходящие уровень знаний, доступный обычным разговорам обычных людей. Она говорила как мужчина, и я говорил с ней как с женщиной. Я могу вспомнить только фактуру и вес тех разговоров, не их содержание. И, забыв про онемевший локоть, прихлебывая дешевый арак и улыбаясь ей, я вдыхал теплый летний запах ее платья и кожи – запах, который назывался – не знаю почему – *Jamais de la vie*²².

* * * * *

Есть мгновения, значимые для писателя, не для любовника, – они-то и делятся вечно. Ты можешь возвращаться к ним в памяти раз за разом или использовать их как фундамент и возвести на нем часть жизни – свое письмо. Ты можешь исказить их словами, но тебе не дано их испортить. Я вспоминаю один из таких моментов – он имеет отношение и ко всему сказанному тоже: я лежу рядом со спящей женщиной в дешевой комнате неподалеку от мечети. Раннее весеннее утро, влажное от обильной росы, – и, тенью брошенный на поглотившую город тишину, еще не разбуженную птицами, ловлю я хрустальный голос слепого муэдзина, он читает Эбед с минарета; голос, повисший волоском в пальмово-прохладном воздухе Александрии. «Я славлю совершенство Бога, Вечно сущего» (трижды звучит эта фраза, каждый раз все медленней, в высоком нежном регистре). «Совершенство Бога, Вожденного, Сущего, Единого, Всевышнего; совершенство Бога, Одного, Единственного; Его, что не взыскует ни мужского, ни женского себе, и ни подобного Ему, ни неподвластного Ему, ни говорящего от Его имени, равного или наследующего Ему. Да славится величие Его».

Великие слова молитвы ленивой серебряной змеей текут в мою сонную душу, кольцо за сверкающим кольцом – голос муэдзина падает от регистра к регистру волею земного тяготения, – покуда все утро не становится единой плотью, и волшебная сила голоса несет ей исцеление, знак благодати, незаслуженной и нежданной, заливающей убогую комнату, где лежит Мелисса и дышит легко, словно чайка, качаясь на волнах океанского великолепия языка, так навсегда и оставшегося ей непонятным.

²² Никогда в жизни (фр.).

* * * * *

А в Жюстин, как ни крути, была своя толика глупости. Культ наслаждения, мелкое тщеславие, забота о том, чтоб недостойные ее были о ней хорошего мнения, и при этом – надменность. Она умела быть утомительно назойливой. Да. Да. Но весь этот бурьян взрастает на деньгах. Скажу только, что мыслила она зачастую так, словно была мужчиной и действовала с раскованной вертикальной независимостью, присущей мужскому взгляду на жизнь. Да и у нашей близости был странный привкус умственной конструкции. Я достаточно рано обнаружил, что она умеет читать мысли – с обескураживающей точностью. Идеи посещали нас одновременно. Я помню себя, полностью уверенного в том, что она именно сейчас формулирует мысль, только что осенившую меня, я даже помню саму эту мысль: «Нам *нельзя заходить дальше*, в ее и в моем воображении наша близость себя уже исчерпала, и я знаю, на что в конце концов мы наткнемся за темноцветным плетением чувственности – на дружбу, столь глубокую, что мы навечно будем проданы друг другу в рабство». Если хотите, влюблены были наши умы и души, и флирт их изжил себя раньше времени в опыте, который казался нам куда более опасным, чем взаимная тяга плоти.

Я знал, как она любит Нессима; мне он тоже был дорог – и сама эта мысль меня напугала. Жюстин лежала рядом со мной, неподвижно глядя в густонаселенный выводком херувимов потолок, – господи, какие у нее были глаза! Я сказал: «Это же просто бессмысленно – роман между нищим учителем и александрийской светской женщиной. Ты только представь, как будет мерзко, если все кончится стандартным скандалом, ты останешься вдвоем со мной, в безвоздушном пространстве, и тебе придется думать о том, как от меня отделаться». Жюстин терпеть не может, когда ей в глаза говорят правду. Она повернулась, приподнялась на локте и, зааркавив мой взгляд чудными своими печальными глазами, долго на меня смотрела. «У нас нет выбора», – этот ее хрипловатый голос: мне еще предстояло безнадежно в него влюбиться. «Ты говоришь так, словно мы вольны выбирать. Мы не настолько сильны и не настолько злы, чтоб мы могли выбирать. Все, что происходит с нами, – только часть эксперимента, не нашего, а чьего-то еще, может быть – это город, а может – какая-то другая часть нас же самих. Откуда мне знать?»

Я помню ее сидящей перед створчатым зеркалом, у портного, на примерке шагреновой кожи костюма. Она говорит: «Смотри! пять разных изображений одного и того же лица. Знаешь, если бы я писала, я бы попробовала добиться в персонаже эффекта многомерности – представь нечто вроде призматического зрения. Кто сказал, что человек не может повернуться к тебе несколькими профилями одновременно?»

Она зевнула и прикурила сигарету; и, сев на кровати, обхватила руками точеные свои лодыжки; и стала читать, медленно, то и дело сбиваясь, великолепные строки старого греческого поэта о давно минувшей любви – они не звучат по-английски. И, слушая, как она проговаривает его стихи, нежно касаясь каждого полного мудрой иронии греческого слога, я снова ощутил чужеродную, уклончиво-неуловимую власть города – здешнего плоского аллювиального пейзажа и разреженного воздуха – и признал в ней истинное дитя Александрии: не гречанку, не сирийку, не египтянку, но гибрид, сплетение.

И – как верно взяла она тон того отрывка, где старик отбрасывает прочь забытое любовное письмо, снова всколыхнувшее размеренный ход угасающей жизни, и восклицает: «Потом, тоскуя, вышел на балкон, чтоб мысль отвлечь, увидев сверху малую часть города, который я люблю, и суету на улицах, и магазины»²³, – и вот она сама откидывает щеколду, чтобы посто-

²³ Перевод с новогреческого С. Ошерова.

ять на темном балконе над цветными огнями города, отдавшись вечернему ветру, рожденному в азиатских пределах, забыв на минуту о собственном теле.

* * * * *

«Князь» Нессим – это, конечно же, шутка; по крайней мере для лавочников и для *commerçants* в черных костюмах, провожающих взглядом бесшумное скольжение его серебряного «роллса» с бледно-желтыми дверными ручками вдоль по Канопскому шоссе. Начать хотя бы с того, что он не мусульманин, а копт. Однако же прозвище било в точку, ибо в Нессиме и в самом деле было что-то от владетельного князя – слишком чужд он был той врожденной алчности, в которой вязнут лучшие качества александрийцев – даже самых богатых. При этом ни одна из черт, благодаря которым он завоевал репутацию личности эксцентрической, не показалась бы примечательной тем, кто живет вне Леванта. Деньги интересовали его тогда, когда нужно было их истратить, – это во-первых; во-вторых, за ним не водилось *garçonnière*²⁴, и он, казалось, был вполне верен Жюстин – это уже было просто неслыханно. Что же касается денег, то, будучи необычайно богат, он был положительно одержим физической к ним неприязнью и никогда не имел при себе. Он тратил на арабский манер, просто оставляя владельцам магазинов от руки написанные «векселя»; рестораны и ночные клубы довольствовались автографом на чеках. Долги его покрывались пунктуальнейшим образом – каждое утро Селим, его секретарь, садился в машину и, взяв вчерашний след хозяина, платил везде, где тот задолжал.

Обитатели города, склонные пусть к примитивным, но устоявшимся оценкам, а из-за убогого образования и лакейских пристрастий не подозревающие о том, что такое стиль в европейском смысле слова, сочли подобный образ жизни странным и в высшей степени вызывающим. Но Нессима привычкам этим никто не обучал – он с ними родился; в маленькой городской ойкумене, где каждый делал деньги – заученно и жадно, – он вряд ли мог сыскать подходящую ниву для духа, наделенного с рождения даром благородства и созерцательности. Меньше всего он стремился быть на виду, но самые безобидные его поступки давали почву толкам уже потому, что несли в себе явственный отпечаток его личности. Люди были склонны приписывать его манеры образованию, полученному за границей, однако Германия и Англия по большей части всего лишь привели его в замешательство и сделали негодным к жизни в Городе. Первая взрастила на гумусе природного средиземноморского ума вкус к метафизическим спекуляциям, Оксфорд же попытался сделать из него зануду, но преуспел лишь в том, что развил его склонность к философствованию до той грани, за которой он уже не мог по-настоящему заниматься своим любимым искусством – живописью. Он много думал и много выстрадал, но чего ему недоставало, так это решимости пробовать – первейшего свойства художника.

В городе Нессима своим не считали, но, поскольку огромное состояние само по себе просто не могло не привести к постоянным контактам с местными деловыми людьми, им все же приходилось преодолевать окружающую его зону отчужденности – они обращались с ним с полушутливой снисходительностью, со сдержанным дружелюбием, каким даруют тех, кто несколько не в себе. Никто бы и не подумал удивиться, застав его в офисе – этаким саркофаге из полый стали и подсвеченного стекла – сиротливо сидящим за огромным столом (захлавленным кнопками звонков, чертежами и затейливыми лампами) – он жует кусок черного хлеба с маслом и читает Вазари, пока рука его рассеянно ставит подписи на деловых письмах и платежных поручениях. Он поднимает голову – бледное продолговатое лицо с выражением замкнутым, отчужденным, почти умоляющим. И все же где-то за всей этой мягкостью скрывались стальные тросы, ибо те, кто на него работал, пребывали в постоянном удивлении – не было, казалось, ни единой мелочи, ему незнакомой – при всей его внешней невнимательности; каждая заклю-

²⁴ Здесь – «мальчишников» на стороне (*фр.*).

ченная им сделка, как выяснялось несколько позже, была основана на тончайшем расчете. Для собственных служащих он был чем-то вроде оракула – и при этом (они вздыхали и пожимали плечами) складывалось полное ощущение, что ему ни до чего нет дела! Никакого дела до прибыли – именно это в Александрии и считают первым симптомом безумия.

Я знал их в лицо задолго до того, как мы встретились по-настоящему, – как и любого другого человека в городе. В лицо, да еще по слухам: они многое себе позволяли, совершенно не считались с условностями и того не скрывали – как тут ускользнешь от внимания провинциальных кумушек обоего пола. О ней говорили, что у нее была куча любовников. Нессима же считали *marî complaisant*²⁵. Несколько раз я видел, как они танцуют: он – почти по-женски стройный, с низкой талией, красивые длинные руки изящно изогнуты; изумительная головка Жюстин – по-арабски изысканная линия носа, сияющие глаза, зрачки расширены от белладонны. И взгляды, которые она бросала вокруг, – полуприрученная пантера.

А потом: как-то раз меня уговорили прочитать лекцию о поэте, единственной родиной которого был Город, – в *Atelier des Beaux Arts* (нечто вроде клуба, где не лишённые способностей дилетанты могли встречаться, снимать студии и так далее). Я согласился, ибо это означало возможность добыть немного денег на новое пальто для Мелиссы, а осень была уже на носу. Но и согласиться было трудно, слишком отчетливо я ощущал его присутствие, и сам воздух сумеречных улиц вокруг лекционного зала был словно заряжен ароматом его стихов, по капле отцеженных из пережитых им неуклюжих, но дарующих радость романов, – эта любовь, быть может, и куплена была за деньги, и длилась лишь несколько минут, но его стихи обрекли ее на вечность – так свободно и нежно присваивал он каждый миг, заставлял его сиять каждой гранью. Что за нелепость, что за дерзость – почитать лекции о мастере иронии, который столь естественно и с таким безупречным чутьем подбирает свои сюжеты на улицах и в борделях Александрии! И обращаться при этом не к залу, забитому мелкими клерками и приказчиками из галантерейных магазинов – его Бессмертными, – но к знающему себе цену полукругу светских дам, для которых та культура, что за ним стояла, была чем-то вроде банка крови: они и приходили сюда за новым вливанием. Многие из них ради этого оторвались от вечернего бриджа, хотя знали, что вместо возвышенной болтовни могут получить щелчок по носу.

Я помню только, что говорил им о том, как меня преследовало его лицо – пугающе печальное и умное лицо с последней фотографии; и когда супруги уважаемых граждан города просочились – капля за каплей – вниз по каменной лестнице на вечерние влажные улицы, где их ждали освещенные изнутри автомобили, и в длинной мрачноватой комнате догорело эхо запахов их духов, я заметил, что одна взыскующая искусства и страстей душа все-таки осталась. В самом конце зала задумчиво сидела женщина, по-мужски закинув ногу за ногу, и курила, уставясь в пол, словно бы и не замечая моего присутствия. Мысль, что, по всей вероятности, хоть один человек понял, как мне было трудно, мне польстила. Я сгрэб в охапку ветхий плащ и волглый портфель и направился туда, где вылизывала улицы пришедшая с моря мелкая и вездесущая морось. Шел я к себе на квартиру, где к этому времени Мелисса, наверно, уже встала и, может быть, даже накрыла ужин на столе, застланном газетой, послав предварительно Хамида к булочнику добыть кусок жареного мяса – у нас не на чем было готовить.

На улице было холодно, и я свернул на залитую светом магазинов Рю Фуад. На витрине у бакалейщика я увидел маленькую банку маслин с надписью *Орвьето* и, в порыве внезапной зависти к тем, кто живет по нужную сторону от Средиземного моря, зашел в магазин; купил ее; попросил открыть ее прямо здесь и сейчас; и, присев за мраморный столик, залитый кошмарным неоновым заревом, начал есть Италию, ее обожженную солнцем темную плоть, ее по весне возделанную землю, ее святые виноградники. Я знал, что Мелисса этого не поймет никогда. Мне придется сказать, что я потерял деньги.

²⁵ Мужем, закрывающим глаза на неверность жены (*фр.*).

Поначалу я не заметил огромного автомобиля, который она, не выключив мотора, оставила на улице. Она вошла в магазин, быстро и решительно, и сказала тем властным тоном, которым лесбиянки и женщины со средствами разговаривают с заведомо нищими: «Что вы хотели сказать этой фразой об антиномичной природе иронии?» – или еще какую-то колкость в этом же роде, я точно не помню.

Не в силах оторваться от Италии, я раздраженно поднял глаза и увидел, как она наклоняется ко мне сразу в трех зеркальных стенах магазина, увидел ее смуглое лицо и на лице – возбуждающую смесь заносчивости, сдержанности и интереса. Само собой, я давно забыл – что я там говорил об иронии, да я и вообще не помнил, чтобы я о чем-то лично ей говорил – я ей так и сказал, с безразличием, в котором не было и капли наигранности. Она выдохнула – кратко и с таким явным облегчением, словно я здорово ей помог, села напротив меня, закурила французскую *caporal* и принялась задумчиво расчерчивать ядовитый неоновый воздух короткими струйками дыма. Мне она показалась несколько взвинченной, еще меня слегка раздражала бесцеремонность, с которой она меня разглядывала, – словно пытаюсь решить – к чему бы меня приспособить. «Мне понравилось, – сказала она, – как вы цитировали его стихи о городе. Ваш греческий совсем неплох. Спорим, вы писатель?» Я сказал: «Спорим». До чего все-таки унижительно быть безвестным. Продолжать мне не хотелось. Я всегда терпеть не мог литературной болтовни. Я предложил ей маслину, и она съела ее быстро, как-то по-кошачьи выплюнув косточку в ладонь в перчатке, и сказала, продолжая держать косточку в руке: «Я хочу отвезти вас к Нессиму. Это мой муж. Вы поедете?»

В дверях уже появился полицейский, явно обеспокоенный оставленным без присмотра автомобилем. Так я впервые увидел умопомрачительный особняк Нессима – со всеми статуями и пальмами в крытых галереях, со всеми Курбе и Боннарами – и так далее. Все это было – разом – красиво и кошмарно. Жюстин взлетела по роскошной лестнице, приостановившись только для того, чтобы переправить косточку из кармана пальто в китайскую вазу, и постоянно взывая к невидимому Нессиму. Мы шли из комнаты в комнату, шинкуя шагами тишину. Наконец он откликнулся из просторной студии на самой крыше дома, и, подбежав к нему, словно охотничья собака, она метафорически обронила меня к его ногам и отошла, виляя хвостом. Она меня заполучила.

Нессим сидел на стремянке и читал, а потом медленно спустился к нам, поглядывая то на одного, то на другого. Он был явно смущен, и я буквально всей кожей ощутил свой потрепанный плащ, мокрые волосы, банку маслин – к тому же я никак не мог сообразить, что сказать, как оправдать свое вторжение, да я ведь и вправду не знал, зачем меня сюда привезли.

Я жалился над ним и предложил ему маслину; мы сели и вдвоем прикончили злосчастную банку, пока Жюстин рыскала в поисках чего-нибудь выпить, и говорили мы, насколько я помню, об Орвьето, где никто из нас не был. Как глоток холодного вина – это воспоминание. Никогда уже не был я так близок к ним двоим – к ним вдвоем, вместе; тогда они показались мне волшебным зверем о двух головах. Его глаза светились теплой кротостью, и, наблюдая за переливами этого света и вспоминая ходившие о Жюстин грязные сплетни, я понял: в каком-то смысле все, что бы она ни делала, она делала для него – даже то, что было злом и ложью в глазах мира. Ее любовь была подобна коже, в которой, зашитый, покоился он, младенец Геракл; и все ее попытки прорваться к собственной сути вели к нему же, не прочь от него. Я знаю, мир не терпит подобных парадоксов; но тогда мне казалось, что Нессим знал и принимал ее именно такой, и не объяснишь этого людям, для которых любовь все еще бьется в тенетах слов, которые идут в рифму к обладанию, к власти. Однажды, много позже, он сказал мне: «А что мне оставалось делать? Жюстин была слишком сильной для меня, а сила ее – слишком разнородной. Все, на что я был годен, так это любить ее больше, чем она меня, – а уж этой масти у меня всегда была полна рука. Я бежал впереди нее – предвидел каждую ее ошибку; я всегда оказывался в нужное время в нужном месте; стоило ей только упасть, и я уже протягивал руку,

чтобы помочь ей подняться и утешить ее. В конце концов, она компрометировала лишь самую жалкую из моих ипостасей – мою репутацию».

Это было много позже: разве могли мы прежде, чем коснулась нас безумная череда несчастий, знать друг друга настолько хорошо, чтобы говорить свободно. И еще: я помню, как он сказал однажды – на летней вилле неподалеку от Бург-эль-Араба: «Может быть, тебе покажется странным, но я считал Жюстин в некотором роде великим человеком. Есть, знаешь ли, такие формы величия, которые, не найдя себе применения в искусстве или религии, обращают повседневность в пустыню. Она пыталась найти себя в любви – вот ее ошибка. Конечно, у нее была масса недостатков, но это все – мелочи. И не то чтоб она никому не причиняла вреда. Но тех, кого она ранила сильнее всего, она заставляла творить. Она изгоняла людей из прежних оболочек. Естественно, было больно, и многие не понимали природы этой боли. Только не я». И, улыбнувшись своей известной на весь город улыбкой, в которой мягкость сплавлена была с невыразимой горечью, шепотом повторил: «Не я».

* * * * *

Каподистриа... он-то здесь при чем? Для стороннего глаза он похож скорее на гоблина, чем на человека. Змеиная голова – плоская, треугольная, с выпуклым лбом; большие залысины – волосы растут чуть не гребнем. Быстрый белесый язык облизывает тонкие губы. Он бесконечно богат, и стоит ему только шевельнуть пальцем – и любое его желание тут же будет исполнено. День-деньской он сидит на террасе Клуба Брокеров, провожая взглядом идущих мимо женщин с беспокойным видом человека, тасующего старую засаленную колоду карт. Время от времени он тихо щелкает пальцами – хамелеон стреляет языком, – если не наблюдать за ним специально, жест почти незаметен. С террасы соскальзывает фигура, чтобы выследить указанную им женщину. Иногда его люди совершенно открыто останавливают женщин на улице и называют его имя и сумму. В нашем городе деньгами оскорбить невозможно. Кто-то просто смеется в ответ. Некоторые соглашаются сразу. Никогда вам не увидеть и тени возмущения на этих лицах. Здесь никто не станет симулировать добродетель. Или порок. И то и другое вполне естественно.

Каподистриа, в безукоризненном драповом пальто с цветным носовым платком, небрежно торчащим из нагрудного кармана, не снисходит до всей этой кухни. Его узкие туфли сияют. Друзья называют его *Да Капо* за мужскую доблесть, почитаемую столь же невероятной, как и его богатство, – или за то, что он такой урод. Жюстин он приходится седьмой водой на киселе, и та говорит о нем: «Мне его жаль. Его сердце иссохло, и он остался с пятью чувствами, как с осколками разбитого стакана». Как бы то ни было, но столь монотонная жизнь нимало его не угнетает. У него дурная наследственность, отягощенная фамильной склонностью к самоубийству, бывали в его семье и психические расстройства, и даже полноценные заболевания. Его это, однако, не беспокоит, он дотрагивается длинным указательным пальцем до виска и говорит: «У каждого из моих предков здесь что-нибудь да соскакивало. У отца – тоже. Он был изрядный бабник. Когда совсем состарился, заказал модель идеальной женщины из резины – в натуральную величину. Зимой ее наполняли теплой водой. Поразительно, до чего была красива. Он звал ее Сабиной, в честь своей матери, и всюду таскал с собой. У него была страсть к путешествиям на океанских лайнерах, да он фактически и провел на одном из них два последних года жизни, плавая до Нью-Йорка и обратно. У Сабины был отменный гардероб. Представьте себе, как они входили в обеденный салон при полном параде – это, я вам скажу, было зрелище. Путешествовал он на пару с сиделкой, лакеем по фамилии Келли. И Сабина, как очаровательная пьяная женщина, шествовала между ними в изумительном вечернем платье, а они поддерживали ее с двух сторон. В ту ночь, когда он умер, он сказал Келли: «Дай телеграмму Деметриусу. Скажи ему: сегодня ночью Сабиночка скончалась у меня на руках,

и она таки совсем не мучилась». Похоронили ее с ним вместе, в Неаполе». В жизни не слышал смеха более естественного, чем у него, – ни намека на фальшь.

Позже, когда я совсем запутался и задолжал Да Капо кругленькую сумму, мне пришлось пересмотреть свое мнение о нем как о добром приятеле, всегда готовом прийти на помощь; как-то ночью Мелисса сидела, полупьяная, на скамеечке для ног у камина и держала в длинных чутких пальцах расписку, написанную мною на его имя – с отрывистым росчерком «оплачено» наискосок, зелеными чернилами... Не самое приятное воспоминание. Мелисса сказала: «Жюстин бы оплатила твой долг – она богатая. Я не желаю видеть, как ты зависишь от нее все больше и больше. Кроме того, пусть я тебе теперь и не нужна, мне все-таки хотелось что-нибудь для тебя сделать – и эта жертва была наименьшей возможной. Я не думала, что тебя это настолько заденет, если я с ним пересплю. А ты разве не делал того же ради меня – те деньги, на которые мне делали рентген и лечили, ты же взял их у Жюстин, правда? Ты мне про них соврал, но я все равно знала. Я врать не стану, я никогда не вру. На, возьми ее и порви: и никогда не имей с ним больше дела. Он – другой, не такой, как ты». И, повернув голову, она сделала арабский жест отвращения, плевка.

* * * * *

О внешней стороне жизни Нессима – обо всех этих бесконечных утомительных приемах, поначалу посвященных чисто деловым контактам, а затем постепенно приобретших невнятный привкус политики, – я писать не хочу. Пробираясь украдкой через огромный зал к лестнице, ведущей в студию, я останавливался и рассматривал стоявший на каминной доске большой кожаный щит с планом стола, чтобы узнать, кого посадят справа от Жюстин, кого – слева. Несколько раз они любезно пытались включить меня в списки приглашенных, но я быстро от этого устал и впредь сказывался больным, хоть и рад был получить свободный доступ в студию и в библиотеку. А потом мы встречались, словно подпольщики, и с Жюстин слетала вздорная, тягостная жизнерадостность, ее обычный костюм «на публику». Они скидывали туфли, и мы резались в пикет при свечах. Позже, перед тем как идти спать, она ловила свое лицо в зеркале на нижней лестничной площадке и тихо говорила отражению: «Претенциозная, нудная, истеричная ты еврейка!»

* * * * *

Большая парикмахерская Мнемджяна была тогда на углу улиц Фуада I и Неби Даниэль, и каждый день по утрам мы плавали здесь бок о бок в зеркалах, Помбаль и я. Нас поднимали, медленно и одновременно, затем мы тихо скользили на дно, спеленатые, подобно мертвым фараонам, чтобы вновь появиться вместе в зеркале на потолке, два распростертых тела в анатомическом театре. Темнокожий мальчик окунал нас в хрусткий холод белых простыней, а сам парикмахер уже взбивал в огромной чашке времен королевы Виктории густую сладко пахнущую пену, чтоб перенести ее на наши лица быстрыми, меткими ударами помазка. Положив первый слой, он перепоручал дальнейшее подручному, а сам брал в руки длинный кожаный ремень, висевший меж полосок липкой бумаги на задней стене парикмахерской, и принимался править лезвие английской бритвы.

Мнемджян – карлик с фиолетовым взором, в котором навсегда застыло детство. Это – воплощенная Память, ходячий городской архив. Если вам взбредет в голову узнать о происхождении или о доходах случайнейшего из прохожих – спросите у Мнемджяна; тонким мелодичным голосом он перескажет вам все подробности, не переставая править бритву и пробовать ее на жестких черных волосах тыльной стороны руки. Ко всему прочему он накоротке не только с живыми, но и с мертвыми: это не метафора, ибо греческий госпиталь платит ему

за то, что он бреет и приводит в подобающий случаю вид тамошних покойников, прежде чем их отдадут на растерзание похоронщикам, – работу эту он выполняет с удовольствием, есть в котором и привкус свойственной его расе богобоязненности. Его древнее ремесло вхоже в оба мира, и некоторые из самых удачных его наблюдений начинаются словами: «Как сказал мне такой-то *с последним вздохом*». Говорят, что он невероятно привлекателен для женщин, еще говорят, что у него отложена на черный день изрядная сумма – стараниями поклонниц. У него есть постоянная клиентура среди престарелых египетских дам, жен и вдов весьма влиятельных людей, к ним он регулярно ходит укладывать волосы на дом. «Уж эти-то, – говорит он лукаво, – на своем веку повидали». И, пока рука его тянется через плечо и дотрагивается до уродливого горба, добавляет с гордостью: «*Вот* что их возбуждает». Среди прочих безделушек он хранит золотой портсигар, подарок одной из поклонниц, и держит в нем запас папиросной бумаги. Его греческий небезгрешен, но достаточно прян и забавен, и Помбаль запрещает ему говорить при себе по-французски, хотя по-французски у него получается лучше.

Он мягко и ненавязчиво заботится о моем приятеле, и я порой поражаюсь тем поэтическим высотам, на которые ему случается ненароком забраться, расписывая достоинства своих протеже. Склонясь над луноликим Помбалем, он, к примеру, произносит, тихо и членораздельно, как только начинает шептать его бритва: «Есть кое-что для вас – нечто особенное». Помбаль ловит в зеркале мой взгляд и быстро отводит глаза из опасения, что мы заразим друг друга улыбкой. С губ его срывается осторожный смешок. Мнемджян слегка приподнимается на цыпочках, чуть скосив глаза. Его тихий, вкрадчивый голос одевает флером двусмысленности все, о чем бы он ни говорил, и речь его ничуть не теряет в занимательности от того, что вместо знаков препинания он рассыпает тихие меланхолические вздохи. Какое-то время царит молчание. В зеркале отражается Мнемджянова голова – непристойная поросль черных волос, прилипших к вискам заученными завиточками, тщетная попытка отвлечь внимание от нелепой кривобокой фигуры. Когда он работает бритвой, глаза его заволакивает дымка, лицо теряет всякое выражение и становится бесстрастным, как бутылка. Пальцы снуют по живым нашим лицам так же бестрепетно, как по лицам избранных и (пожалуй, счастливых) мертвых. «На этот раз, – изрекает Мнемджян, – вы будете восхищены с любой точки зрения. Она молодая, дешевая, чистая. Вы сами скажете перед собой – куропаточка, медовый сот, и весь его мед замкнут в нем, голубка. У нее затруднено с деньгами. Она только что сбежала из сумасшедшего дома в Хелване, ее пытался запереть там муж по психической части. Я уготовил ей сидеть за крайним столиком на тротуаре у Розмари. Идите и сделайте взгляд в один час; если вам захочется ей к вам пойти, отдайте ей записку, что я сделаю для вас. Но помните, платить вы станете лишь мне. Как один джентльмен джентльмену – вот единственное условие, мной поставленное».

На этом он умолкает. Помбаль по-прежнему взирает на свое отражение в зеркале, и его природное любопытство отчаянно сражается с безнадежной апатией летнего воздуха. Нет, однако, никакого сомнения в том, что вечером он притащит домой нечто истощенное и затравленное, чья перекошенная улыбка не будет вызывать в нем эмоций иных, кроме жалости. Я бы не сказал, что моему приятелю чуждо чувство сострадания, ибо он всегда пытается пристроить этих девочек хоть куда-нибудь; по-моему, большинство местных консульств укомплектовано бывшими страдалцами, безнадежно пытающимися выглядеть достойно, – местом своим они обязаны исключительно назойливости Жоржа, хорошо знакомой всем его коллегам. И все же любая женщина, сколь бы забитой, сколь бы потасканной, сколь бы старой она ни была, может рассчитывать на его снисходительную галантность – на все те мелкие знаки внимания и *sorties*²⁶ остроумия, которые я привык ассоциировать с галльским темпераментом; рассудочная мишура французского шарма, так легко переходящего в самолюбование и леность ума – как французская мысль, что моментально растекается по формочкам для куличиков, природ-

²⁶ Здесь: «блестки» (фр.).

ный *esprit*²⁷, мигом затвердевающий в мертвых концепциях. Однако те купидоны, что так легко играют его делами и мыслями, по крайней мере придают им вид полной беззаботности, что в корне отличает их, скажем, от дел и мыслей Каподистриа – он частенько составляет нам компанию за утренним бритьем. Каподистриа обладает чисто бессознательным даром обращать любой предмет в женщину; под его взглядом стулья вдруг мучительно осознают, что у них обнаженные ножки. Он оплодотворяет вещи. Однажды за столом я стал свидетелем того, как он посмотрел на дыню: дыня встрепенулась и ощутила содрогание жизни в каждом своем семени! Женщины теряются, как пташки перед коброй, стоит им только взглянуть на это узкое плоское лицо, на этот острый язык, облизывающий тонкие губы. Я вновь подумал о Мелиссе: *hortus conclusus, soror mea sponsor...*²⁸

* * * * *

«*Regard derisoire*»²⁹, – говорит Жюстин. «Как так получается – ведь ты совсем как один из нас и в то же время... ты другой, а?» Она расчесывает свои черные волосы, в зеркале огонек сигареты вытянул из тьмы ее глаза и губы. «Ты, конечно, духовный изгнанник, раз уж родился ирландцем, но в тебе нет нашей *angoisse*³⁰». То, что ее слова пытаются нащупать вслепую, и в самом деле вполне ощутимо, но искать следует не в нас, а в том месте, где мы все обитаем, – сонная вялость, металлический привкус выпитой крови сквозят в испарениях Мареотиса.

Она говорит, а я думаю о тех, кто вызвал этот город из небытия: о войне-боге в стеклянном гробу, юное тело в серебряной фольге плывет к своей могиле вниз по реке. Или о тяжелой квадратной голове, голове негра, в которой грохочет, перекатываясь, идея Бога, зачатая в духе чисто интеллектуальной игры, – Плотин. Такое ощущение, что дух этого места по горло занят чем-то совершенно недоступным для среднестатистического здешнего жителя – где-то далеко, где плоть, освобожденная хаосом *laissez faire*³¹ ото всякой сдержанности, должна подчиниться закону несравненно более высокому, либо сгннуть в бессилии, столь явно заметном в шедеврах Мусейона, в бесхитростных забавах гермафродитов в зеленых тихих двориках науки и искусства. Поэзия как неуклюжая попытка искусственного осеменения муз; обжигающе глупая метафора Волос Береники, которые переливаются в ночном небе над спящим лицом Мелиссы. «Бог ты мой! – сказала однажды Жюстин. – Ну почему в нашей распушенности нет простоты, такой, знаешь, полинезийской, что ли, простоты». Она могла бы продолжить: или средиземноморской, – потому что смысл любого поцелуя изменился бы в Италии или Испании; здесь же наши тела были до срока изношены сухим шероховатым ветром, дующим из африканских песков, и вместо любви нам была уготована более мудрая, но и более жестокая нежность ума, которая лишь обостряет одиночество, вместо того чтоб смягчить его.

Даже у самого города есть два центра тяжести – географический и магнитный полюса его неповторимости: между ними вспыхивают судьбы его обитателей, ослепительные траектории, – порою они слишком много высвечивают во тьме. Его духовный центр – потерянная ныне Сома, где лежало когда-то тело юного солдата, коему не по росту пришлось взятая напрокат божественность; его полюс, пребывающий во времени, – Клуб Брокеров, где, подобно Кабалли³², хлопковые воротилы потягивают кофе, дымят вонючими манильскими сигарами

²⁷ Дух (*фр.*).

²⁸ Ветроград заключенный, сестра моя, поручитель (мой)... (*лат.*)

²⁹ Взгляд иронический (*фр.*).

³⁰ Тоски, тревоги (*фр.*).

³¹ Вседозволенности (*фр.*).

³² Кабалли – астральные тела внезапно умерших людей. «Им кажется, что они живут и действуют во плоти, в то время как в действительности они лишены физических тел и действуют лишь мысленно». Парацельс.

и наблюдают за Каподистрия, как люди на берегу реки глазели бы на рыбака или художника. Первый символизировал для меня великие завоевания человека в царствах материи, пространства и времени, которые явно не могли не поделиться с юным завоевателем – прямо в его гробнице – своим жестоким знанием о неизбежности поражения; второй не был символом, но живым лабиринтом свободной воли, где бродила любимая моя Жюстин и с такой пугающей душевной целеустремленностью искала путеводной вспышки света, и эта вспышка должна была возвысить ее, по-новому ее осветить – для самой себя. Для нее, а она родилась в Александрии, распушенность была странной формой самоотрицания, этакой травестией свободы; и если я видел в ней воплощение города, то мне приходили на ум не Александр и не Плотин, но бедное тридцатое дитя Валентина, падшее «не подобно Люциферу, через восстание против Бога, но через слишком пылкое желание единения с Ним»³³. Все чрезмерное обращается во грех.

Отлученная от божественной гармонии, она сама была виновна в своем падении, говорит сей философ-трагик, и стала манифестацией материи; и вся вселенная города и мира была создана из мук ее и раскаяния. То трагическое семя, из которого выросли ее дела и мысли, было семенем пессимистического гностицизма.

Я знаю, что не ошибся, – потому что много позже, когда она после долгих сомнений все же пригласила меня присоединиться к небольшому кружку, собиравшемуся раз в месяц вокруг Бальтазара, ему стоило только упомянуть о гностиках, и она вся обращалась в слух. Я помню, как однажды она спросила, с таким волнением, так умоляюще, правильно ли она поняла его мысль: «О том, что Бог не только не создавал нас, но и не собирался нас создавать и что мы – произведение божества низшего разряда, Демиурга, который ошибочно счел себя Богом? Господи, как это похоже на правду; и этот вселенский *hubris*³⁴, эта самонадеянность перешла по наследству к нам, его детям». На обратном пути она остановила меня, просто-напросто встав передо мной и взяв меня за лацканы пальто, посмотрела мне прямо в глаза и спросила: «Слушай, ты вообще во что-нибудь веришь? Ты все время молчишь. В лучшем случае смеешься иногда». Я не знал, что ей сказать, поскольку все идеи кажутся мне одинаково здравыми; сам факт их существования изобличает создающего – он есть. Они объективно верны или объективно ошибочны, разве это важно? Они недолго пребудут таковыми. «Но это же очень важно! – воскликнула она с трогательной горячностью. – Это очень важно, милый ты мой, очень!»

Мы дети земли, на которой живем; она диктует нам наши поступки и даже наши мысли в той степени, в которой наши ритмы совпадают с ее ритмами. Я не могу придумать ничего более похожего на правду. «Твои, к слову сказать, метания, в которых столько неудовлетворенности, столько жажды абсолютной истины – в них так мало сходства с греческим скепсисом, со средиземноморской игрой ума, который сознательно окунается в софистику как в условия игры, для тебя ведь мысль – оружие, теология».

«Но как еще ты сможешь оценить человеческий поступок?»

«Его нет смысла оценивать, покуда нет критерия оценки мысли; ведь сами наши мысли суть деяния. А ошибки происходят именно тогда, когда мы пытаемся оценивать то либо другое по отдельности».

Я готов был влюбиться в нее за одну ее манеру вдруг садиться на ограду или на обломок колонны, один из многих на замусоренных задворках за Колонной Помпея, и погружаться в неутолимую печаль по поводу внезапно осенившего ее прозрения. «Ты действительно так

³³ «Придерживался гностической доктрины об ошибочности творения.. Он рисует изначального Бога, центр божественной гармонии, проявляющего собственную суть в парных манифестациях: мужской и женской. Каждая пара стоит ступенью ниже предыдущей, и София [«Мудрость»], женская ипостась тридцатой пары, наименее совершенная из всех. Она выказала несовершенство свое не подобно Люциферу, восставшему против Бога, но через слишком пылкое желание единения с Ним. Пала через любовь». Э.-М. Форстер. «Александрия».

³⁴ Хюбрис, гордыня (*древнегреч.*).

считаешь?» – спросила она с такой пронзительной тоской в голосе, что я чуть не умер на месте от искреннего сочувствия и – одновременно – от желания рассмеяться. «Ну что ты улыбаешься? Ты всегда смеешься над самыми серьезными вещами. Господи, это же так печально!» Если бы ей довелось когда-нибудь действительно заглянуть мне в душу, она бы поняла – может быть, не сразу, – что для тех из нас, кто способен глубоко чувствовать и кто осознал неизбежную ограниченность человеческой мысли, существует только один вариант ответа – ироничекая нежность и молчание.

В этой ночи, исполненной звезд, где светляки отвечали небу призрачным розово-лиловым блеском из ломкой высохшей травы, мне не оставалось ничего другого, кроме как сесть с нею рядом и гладить эту темную голову, эти великолепные волосы, и молчать. А подо всем этим, словно темная река, величественная цитата, взятая Бальтазаром сегодня в качестве темы, – он читал, и голос у него чуть дрожал, то ли от волнения, то ли оттого, что он устал от абстрактных понятий: «День для *corpora* есть ночь для *spiritus*. Как только тела завершают работу, начинают трудиться людские души. Просыпается тело, и дух погружается в сон, и сон духа есть пробуждение для тела». И, чуть погодя, как удар грома: «Зло есть тень добра»³⁵.

* * * * *

Я долго не верил, что Нессим за ней следит; в конце концов, она казалась свободной в своих метаниях по ночному городу, как летучая мышь, к тому же никогда я не слышал, чтобы ей приходилось давать отчет в своих похождениях. Да и непросто было бы уследить за ней, непредсказуемой, плоть от плоти этого города. И все же за ней приглядывали, на всякий случай, для ее же блага. Однажды вечером мне пришлось столкнуться с этим лицом к лицу, поскольку я был приглашен к ним в особняк к обеду. Когда в доме не было никого, кроме нас, обед подавали в маленьком павильоне в конце сада, где прохлада летнего вечера сливалась с шепотом воды в четырех львиных пастях по краям фонтана. В тот вечер Жюстин почему-то задерживалась, и Нессим сидел в одиночестве, отодвинув занавески к западной стене, и длинными тонкими пальцами медленно полировал желтый нефрит – он собирал камни.

Прошло сорок минут после назначенного часа, и он уже отдал распоряжение подавать на стол, когда маленькая черная отводная трубка телефона издала тонкий булавочный писк. Он подошел к столу, со вздохом поднес ее к уху, и я услышал его слегка раздраженное «да»; затем он некоторое время тихо говорил в трубку, внезапно перейдя на арабский, и у меня так же неожиданно возникло ощущение, что на том конце провода трубку держит Мнемджян. Не знаю, почему мне так показалось. Он быстро что-то нацарапал на конверте и, положив трубку, несколько секунд стоял, запоминая написанное. Потом он повернулся ко мне, и это был уже совсем другой Нессим: «Жюстин может понадобится наша помощь. Ты поедешь со мной?» И, не дожидаясь ответа, сбежал по ступенькам, мимо пруда с водяными лилиями, в сторону гаража. Я кинулся за ним, и пару минут спустя он уже выруливал на маленькой спортивной машине на Рю Фуад, мимо тяжелых распахнутых створок ворот, чтобы тут же нырнуть в паутину узких улочек, протянувшуюся вплоть до Рас-эль-Тина. Мы здорово петляли, но ехали в сторону моря. Было в общем-то еще не поздно, но народу на улицах было мало, и мы неслись на полной скорости вдоль изгибов Эспланады в сторону Яхт-клуба, безжалостно оттирая к тротуарам редкие конные экипажи («кареты любви»), без дела слонявшиеся у моря.

У Форта мы развернулись и углубились в муравейник трущоб, лежащих за Татвиг-стрит, с непривычной яркостью выхватывая желтоватым светом фар из полумрака то битком набитое кафе, то запруженную людьми площадку, словно кадры кинохроники; откуда-то сзади, из-за близкого горизонта полуразвалившихся неоштукатуренных домов, неслись пронзительные

³⁵ Цитата из Парацельса.

завывания погребальной процессии, стенания профессиональных плакальщиц, способные превратить ночь в кошмарный сон. Мы оставили машину на узкой улочке возле мечети, и Нессим шагнул в темный дверной проем многоквартирного дома, наполовину состоявшего из контор с окнами, зарешеченными и закрытыми ставнями, и с неясными надписями на табличках. Одиноким *боаб* (египетский эквивалент французского *concierge*) сидел на своем насесте, завернувшись в немыслимую рвань, больше всего похожий на некий неживой предмет, списанный по сроку службы (что-нибудь вроде старой автомобильной покрышки), и курил короткий простенький кальян. Нессим что-то резко сказал ему и, едва ли не прежде, чем тот успел ответить, прошел сквозь узкую дверь в задний дворик, застроенный по периметру рядами ветхих домишек из необожженного кирпича, покрытого облупившейся штукатуркой. Он приостановился, чтобы щелкнуть зажигалкой: в ее призрачном свете мы и принялись обследовать дверь за дверью. У четвертой по счету он спрятал зажигалку и несколько раз ударил в дверь кулаком. Ответа не последовало, и он распахнул ее настежь.

Темный коридор вел к маленькой комнате, освещенной тусклым светом фитильной копилки. По всей видимости, это и было место нашего назначения.

Сцена, представшая нашим глазам, была полна какой-то дикой оригинальности – хотя бы только из-за того, что свет, отражавшийся от глиняного пола, резко вычерчивал надбровные дуги, скулы и губы ее участников, оставляя при этом на лицах обширные пятна тени: лица были словно наполовину съедены крысами, шумно возившимися между балками этого гнусного заведения. Это был детский бордель, и в глубине комнаты, в полумраке, одетые в диковатые библейские ночные рубашки с бахромой из радужного бисера, сбилась в кучу дюжина девочек, едва ли старше десяти лет; детская мягкость, сквозившая в каждом их жесте сквозь весь этот маскарад, резко диссонировала с грубой мужской фигурой французского моряка, застывшего посреди комнаты на полусогнутых, готового прыгнуть; его плоское, искаженное яростью лицо обращено было в сторону Жюстин, стоявшей к нам в полупрофиль. Воздух уже погасил сам звук его крика, но та сила, с которой он вытолкнул слова, была еще здесь, в его перекошенной челюсти, во вздувшихся узлами мышцах шеи. Лицо Жюстин было высвечено с тягостной академической четкостью. В поднятой руке она держала бутылку, и было совершенно ясно, что раньше ей никогда бутылку бросать не приходилось, потому что держала она ее неправильно.

В углу, на гнилом диване, уютно подсвеченном теплыми отсветами от стен, лежала одна из девочек в точно такой же ночной рубашке, как-то жутко съежившись, и по одной этой нелепой ее позе было ясно, что она мертва. Стена над диваном была усеяна голубыми отпечатками детских рук – талисман, оберегающий в этой части света дом от сглаза. Других декораций не было, обычная комната в арабском квартале.

Мы стояли неподвижно, Нессим и я, добрых полсекунды, зачарованные этой сценой, ее жутковатой красотой – как на страшной картинке, на цветной гравюре из грошовой викторианской Библии, сюжет которой непостижимым образом исказился и переместился во времени. Жюстин хрипло дышала, как обычно, когда была на грани слез.

По-моему, мы оба одновременно набросились на нее и выволокли на улицу, по крайней мере я помню только, как мы, уже доехав до моря, неслись вдоль по Корниш в чистом бронзовом свете луны и как отражалось в зеркале заднего вида печальное и сосредоточенное лицо Нессима; Жюстин молча сидела рядом с ним, глядя на серебряные разломы волн, и курила сигарету, позаимствованную из его нагрудного кармана. Потом, в гараже, прежде чем мы вышли из машины, она нежно поцеловала Нессима в оба глаза.

* * * * *

Теперь я склонен видеть во всем этом лишь увертюру к первой настоящей встрече лицом к лицу, когда принесшее нам столько счастья взаимопонимание – дружба и радость знать, что мы трое смотрим на мир одними глазами – рассыпалось и стало чем-то иным, не любовью, нет – откуда бы? – но какой-то рассудочной одержимостью друг другом, в которой голод пола играл самую последнюю роль. Как мы могли допустить, чтобы чувство это стало реальностью, – мы, столь прочно связанные «нашим» опытом, мы, прошедшие уже сквозь непогоду и круговорот сезонов, нездешних любовных разочарований.

Ранней осенью по вечерам лавры беспокойно фосфоресцируют в сумерках, и сквозь летнюю пыльную одурь ощущаешь пальцы осени на лице, будто дрожат крылья бабочки, покидающей куколку. Мареотис становится лимонно-розовым, и топкие его берега расцветают теплыми звездами проросших сквозь спекшийся ил анемонов. В один прекрасный день, когда Нессим был в Каире, я позвонил в дверь его дома, чтобы взять несколько книг, и, к своему удивлению, застал в студии одинокую Жюстин, латавшую старый свитер. Она вернулась в Александрию ночным поездом, оставив Нессима сидеть на каком-то важном совещании. Мы попили чаю, а потом, подчиняясь внезапному импульсу, собрали купальные причиндалы и поехали через ржавые шлаковые холмы Мекса на песчаные пляжи за Бург-эль-Арабом, сверкающие в розово-желтом свете быстро гаснущего дня. Пустынное море глухо рокотало на мокрых песчаных коврах цвета окисленной ртути; мы говорили, и этот глубокий мелодичный ритм был частью нашей беседы. Мы брели по колено в парном молоке и суматошной ряби мелких заводей, то и дело наступая на вырванные с корнем и выброшенные морем губки. Я помню, по дороге мы не встретили никого, если не считать подростка-бедуина с проволочной клеткой на голове, полной пойманных на клей птиц. Сонная перепелка.

Мы долго лежали рядом в мокрых купальных костюмах, впитывая кожей последние тусклые солнечные лучи и ласковую вечернюю прохладу. Я прикрыл глаза, Жюстин (как ясно я ее вижу!) облокотилась на песок, глядя на меня из-под руки. Была у нее такая привычка – если я говорил, она полунасмешливо следила за моими губами, неотрывно, почти нахально, словно ждала, что я вот-вот сделаю оговорку. Если и в самом деле все началось именно в тот момент, то я, каюсь, совершенно не помню, о чем шла речь, остался только ее взволнованный хрипловатый голос и одинокая фраза вроде: «А если это случится с нами – что ты на это скажешь?» Я не успел ответить, она наклонилась и поцеловала меня – поцеловала насмешливо, с вызовом, в губы. Это было так неожиданно – я повернулся к ней, не зная, смеяться мне или протестовать, – но с этой минуты ее поцелуи стали похожи на невероятно мягкие задыхающиеся удары, запятые между выдохами неудержимого смеха, в ней закипавшего, – насмешливого нервного смеха. Помню, меня поразило, что она была похожа на очень напуганного человека. Если бы я сказал: «С нами этого случиться не может», – она бы ответила: «Но давай *предположим*. А вдруг?» А затем – вот это я помню отчетливо – ее охватила мания самооправдания (мы говорили по-французски: язык в ответе за национальный характер); и в промежутках между задыхающимися половинками секунд, когда ее сильный рот искал мои губы, а грешные эти смуглые руки – моих рук: «Это не похоть и не прихоть. Мы слишком хорошо знаем этот мир: просто нам нужно кое-что узнать друг через друга. Что это, а?»

Что это было? «Ну, и куда мы забрели?» – помню, спросил я, представив высокую, попизански нависшую над нами фигуру Нессима на фоне вечернего неба. «Не знаю», – сказала она с отчаянной, безнадежной покорностью, упрямо не желавшей покидать ее лицо и голос. «Не знаю», – и она прижалась ко мне, как прижимают ладонь к ушибленному месту. Она словно пыталась стереть в порошок самую мысль о моем существовании и в то же время в хрупком, дрожащем облачке каждого поцелуя находила некое болезненное прибежище – холодная вода

на растянутые связки. Как ясно в тот миг я видел в ней дитя Города, Города, повелевающего женщинам своим, от века обреченным охотницам за нечаянным, за нежеланным, вождельцем не наслаждения, а боли.

Она встала и пошла прочь по длинной, изогнутой линии пляжа, медленно переходя вброд озера жидкой лавы; и я подумал о том, как из каждого зеркала в спальне ей улыбается красивое лицо Нессима. Вся сцена, только что нами разыгранная, уже обрела для меня расплывчатые контуры сна. Помню, я удивился, совершенно трезвым взглядом окинув собственные дрожащие руки, пытавшиеся прикурить сигарету; потом встал и пошел за ней следом.

Но когда я догнал ее и остановил, лицо, обернувшееся ко мне, было лицом больного демона. Ярость ее взметнулась, как спираль зиккурата. «Ты думал, я просто хотела заняться любовью, да? Господи! неужто мы этим еще не объелись? Почему ты сразу не *понял*, что я чувствую? Почему?» Она топнула ногой о мокрый песок. Нет, под ногами у нас не разверзлась каверна, скрытая под поверхностью земли, по которой мы столь уверенно ступали, – хуже. Словно обвалился во мне, в самой сердцевине, давно забытый штрек. Я понял: наш безудержный и бестолковый поток идей и чувств пробил проход к самым дремучим дебрям наших душ; и мы стали-таки сервами, рабами, обладателями тайного знания, того, которое навеки отпечаталось в нас, – а иначе ни увидеть его, ни расшифровать, ни понять – за пределами видимого спектра. (Как мало тех, кто видит в этих красках, как редко нам доводилось их встречать!) «В конце концов, – помнится, сказала она, – это не имеет ничего общего с сексом», – и я снова едва поборол желание рассмеяться, хоть и признал в ее фразе отчаянную попытку оторвать плоть от послания, во плоть облаченного. Мне кажется, так влюбляются банкроты. Я увидел то, что давно уже должен был увидеть: наша дружба отцвела, и плод созрел: мы оказались совладельцами друг друга – на паях.

Думаю, эта мысль ужаснула нас обоих; выжатые до капли, мы не могли не испугаться подобной перспективы. Мы больше не говорили, мы пошли назад по пляжу к тому месту, где оставили одежду, молча и держась за руки. Жюстин выглядела совершенно измотанной. Мы умирали от желания поскорее друг от друга отделаться, чтобы разобраться в собственных чувствах. Мы даже не пытались говорить. Мы въехали в город, и она высадила меня, как обычно, на углу неподалеку от дома. Я захлопнул дверцу, она уехала: ни слова, ни взгляда в мою сторону.

Пока я открывал дверь квартиры, перед моими глазами все еще стоял отпечаток ее ноги в мокром песке. Мелисса читала. Взглянув на меня поверх книги, она сказала спокойно, уверенная в своей правоте – с ней часто так бывало: «Что-то случилось – что?» Я не мог ответить, я сам этого не знал. Я взял ее лицо в ладони и долго молча смотрел на нее, внимательно и нежно, с грустью и голодом, каких никогда не испытывал прежде. Она сказала: «Ты видишь не меня, а кого-то еще». Но на самом деле я видел именно Мелиссу – в первый раз. Неким парадоксальным образом именно Жюстин помогла мне увидеть настоящую Мелиссу – и понять, как я ее люблю. Мелисса с улыбкой потянулась за сигаретой и сказала: «Ты влюбился в Жюстин», – и я ответил ей так искренно, так честно и так обжигающе больно, как только был способен: «Нет, Мелисса, много хуже», – хотя, расстреляйте меня, не смог бы объяснить почему.

Думая о Жюстин, я представлял себе большой набросок от руки, этюд феминистской карикатуры – «Освобождение от пут мужского начала». «Там, где падаль, – гордо процитировала она как-то раз из Бёме, имея в виду свой родной город, – там соберутся орлы». И действительно, было в ней в тот момент что-то орлиное. Мелисса же была похожа на печальный пейзаж маслом с натуры, зимний пейзаж, придавленный темным небом: оконная рама с тремя цветками герани, забытыми на подоконнике цементного завода.

Есть один отрывок из дневников Жюстин, который неизменно приходит здесь на память. Я привожу его перевод, хотя относится он к событиям, наверняка происшедшим задолго до всего рассказанного мной, ибо, несмотря ни на что, он почти безошибочно угадывает ту стран-

ную врожденную особенность любви, которая, как я понял, принадлежит не нам, а Городу. «Бесмысленно, – пишет она, – воображать состояние влюбленности как соответствие душ и мыслей; это одновременный прорыв духа, двуединого в автономном акте взросления. И ощущение – как беззвучный взрыв внутри каждого из влюбленных. Вокруг сего события, оглушенный и отрешенный от мира, влюбленный – он, она – движется, пробуя на вкус свой опыт; одна только ее благодарность по отношению к нему, мнимому дарителю, донору, и создает иллюзию общения с ним, но и это – иллюзия. Объект любви – просто-напросто тот, кто одновременно с тобой разделит твой опыт, и с тем же нарциссизмом; а страстное желание быть рядом с возлюбленным прежде всего обязано своим существованием никак не желанию обладать им, но просто попытке сравнить две суммы опыта, – как отражения в разных зеркалах. Все это может предшествовать первому взгляду, поцелую или прикосновению; предшествовать амбициям, гордости или зависти; предшествовать первым признаниям, которыми обозначена точка поворота, – с этих пор любовь постепенно вырождается в привычку, в обладание – и обратно в одиночество». Как характерно это описание магического дара, и как ему недостает хотя бы капли юмора: насколько оно верно... в отношении Жюстин!

«Каждый мужчина... – пишет она несколькими страницами дальше, и в ушах моих звучит ее хриловатый грустный голос, она пишет слово за словом и читает их вслух. – Каждый мужчина частью – глина, частью – демон, и ни одна женщина не в силах вынести и то и другое сразу».

В тот день она вернулась домой, и дома был Нессим, прилетевший дневным рейсом. Она пожаловалась, что ее лихорадит, и рано легла спать. Когда он пришел посидеть с ней и померить ей температуру, она кое-что сказала – сказанное резануло его и показалось ему достаточно интересным, чтобы запомнить, – пройдет много времени, и он повторит мне слово в слово: «Ничего интересного с медицинской точки зрения – просто простуда. Болезни не интересуются теми, кто хочет умереть». И следом один из столь типичных для нее боковых ходов мысли: ласточка круто ложится влево между небом и землей: «Боже мой, Нессим, я всегда была такой сильной. Может, именно сила и мешала мне быть по-настоящему любимой?»

* * * * *

Тем, что в гигантской паутине александрийского света я стал ориентироваться с некоторой даже легкостью, я обязан Нессиму; мои собственные скудные доходы даже не позволяли мне зайти в тот ночной клуб, в котором танцевала Мелисса. Поначалу я несколько стеснялся вечной роли адресата Нессимовой щедрости, но вскоре мы стали такими закадычными друзьями, что я ходил с ними повсюду, нимало не замечая денежных проблем. Мелисса раскопала в одном из моих сундуков древний смокинг и довела его до ума. В клуб, где она выступала, я в первый раз пришел вместе с ними. Было что-то противоестественное в том, что я сидел между Жюстин и Нессимом и смотрел, как белый луч прожектора сквозь снегопад пылинок метнулся вниз и выхватил Мелиссу, совершенно незнакомую под слоем грима, придавшего ее тонким чертам оттенок будничной и непристойной вульгарности. Банальность ее танца ужаснула меня, банальность почти запредельная; однако, глядя на нерешительные и неудачные движения ее стройного тела (картинка – газель, привязанная к водяному колесу), я чувствовал, что влюблен в эту ее заурядность, в то оцепенелое самоуничижение, с которым она кланялась в ответ на равнодушные аплодисменты. Немного погодя ее заставили обходить посетителей с подносом и собирать для оркестра мзду, она занималась этим с безнадежной робостью и подошла к нашему столику, опустив глаза под жуткими накладными ресницами, и руки у нее дрожали. Тогда мои друзья еще не знали, что между нами что-то есть; но я заметил удивленный и насмешливый взгляд Жюстин, когда выворачивал карманы и выискивал те

несколько несчастных бумажек, что бросил на поднос руками, дрожащими не меньше, чем руки Мелиссы, – так остро я ощутил ее смятение.

Позже, когда я вернулся домой, слегка навеселе и приятно возбужденный последним танцем с Жюстин, я застал ее все еще на ногах – она грела чайник на электрической плитке. «Слушай, ну зачем, – сказала она, – зачем ты положил все деньги на этот дурацкий поднос? Недельный заработок; ты что, с ума сошел? Что мы завтра будем есть?»

С деньгами не умели обращаться ни она, ни я, и все же вместе мы обходились несколько лучше, чем порознь. Ночью, возвращаясь пешком из ночного клуба, она останавливалась в аллее у самого дома и, если свет в моем окне еще горел, тихонько свистела, а я, услышав сигнал, откладывал книгу в сторону и осторожно крался вниз по лестнице и видел, будто наяву, ее губы, сложенные, чтобы дать жизнь этому легкому влажному звуку, словно в ожидании мягкого прикосновения кисти. В то время старик меховщик все еще продолжал назойливо ее домогаться и шпионил за ней на улицах – сам или с помощью своих людей. Ни слова не говоря, я брал ее за руку, и мы исчезали в путанице переулков около польского консульства: время от времени мы останавливались в темной подворотне и ждали, нет ли за нами на хвосте. И наконец на берегу, где магазины растворялись в синей дымке, мы ступали на лунную дорожку молочно-белой александрийской полночи, и мягкий теплый воздух смывал с нас дневные горести; мы шли за утренней звездой, трепетавшей на черной бархатной груди Монтазы, под тихой лаской волн и ветра.

В те дни тихая и совершенно обезоруживающая кротость Мелиссы была раскрашена в цвета заново открытой юности. Ее длинные неуверенные пальцы – я чувствовал, как они касались моего лица, когда ей казалось, что я уже сплю, – словно пытались на ощупь запомнить очертания нашего счастья. Были в ней какая-то чисто восточная гибкость, податливость, желание услужить, перерастающее в страсть. Мой убогий гардероб – нужно было видеть, как она поднимала с полу грязную рубашку, излучая всепроникающие волны заботы; по утрам я находил свою бритву девственно чистой и даже на зубной щетке уже лежала в ожидании колбаска зубной пасты. Ее забота обо мне была приманкой, попыткой спровоцировать меня на то, чтобы я придал своему существованию хоть какую-то форму, стиль, который мог бы соответствовать ее нехитрым требованиям к жизни. О своих прежних связях она никогда не рассказывала и обрывала любой разговор на эту тему устало и даже несколько раздраженно, так что, скорее всего, то были плоды необходимости, отнюдь не страсти. Однажды она одарила меня комплиментом, сказав: «В первый раз в жизни я не боюсь быть легкомысленной и глупой с мужчиной».

Мы были бедны, и это тоже сближало. На выходные мы ездили за город, по большей части то были обычные в провинциальном городе у моря экскурсии. Маленький жестяной трамвай вез нас, пронзительно визжа на поворотах, на песчаные пляжи Сиди Бишра, мы проводили Шем-эль-Нессим в садах Нуга, устроившись в траве под олеандрами в окружении нескольких дюжин скромных египетских семейств. Неизбежная и назойливая толпа одновременно развлекала нас и сближала. Мы бродили вдоль затхлого канала, наблюдая, как мальчишки ныряют за монетками в самую тину, или ели ломтики дыни, купленные у лоточника, счастливые анонимы в праздничной толпе. Сами имена трамвайных остановок отзываются поэзией тех поездов: Чэтби, Лагерь Цезаря, Лоранс, Мазарита, Глименопулос, Сиди Бишр...

Была и обратная сторона медали: приходя домой поздно ночью, я заставал ее спящей – перевернутые красные тапочки, и на подушке рядом с ней – маленькая трубка для гашиша... Это был сигнал: очередная депрессия. В таком состоянии она пребывала по нескольку дней, бледная, ко всему безразличная, совершенно изможденная, и сделать с ней хоть что-то было абсолютно невозможно. Она говорила сама с собой, целые монологи; часами, зевая, слушала радио или методично перелистывала кипы старых киножурналов. В такие дни, когда на нее

нападал обычный александрийский *cafard*³⁶, я с ума сходил, пытаюсь хоть как-то ее развлечь. Она лежала, глядя вдаль, сквозь стену, подобно древней сивилле, и повторяла, глядя мое лицо, снова и снова: «Если бы ты знал, как я жила, ты бы меня бросил. Я не та женщина, которая тебе нужна, и вообще ни одному мужчине такая... Я так устала. Ты добрый, но только зря ты со мной связался». Если я пытался протестовать, говорил, что доброта здесь ни при чем, что я люблю ее, она отвечала с усталой гримасой: «Если б ты любил меня, то давно отравил бы, чтобы не мучилась». Затем она начинала кашлять так, словно легкие выворачивались наизнанку, и, не в силах этого вынести, я выходил на улицу, темную и провонявшую арабами, или шел в библиотеку Британского совета покопаться в справочниках: там жил дух британской культуры, дух скупости, бедности, умственной зашоренности – там я проводил вечер в полном одиночестве, благодарный за тихую благодать прилежного шороха страниц и приглушенного гула.

Но бывали и иные времена: пропитанные солнцем полдни – «потеющие медом», как говаривал Помбаль, – когда мы лежали рядом, одурманенные тишиной, и смотрели, как едва заметно дышат светом желтые занавески – легкие выдохи Мареотиса разбегаются по альвеолам города. Затем она поднималась и смотрела на будильник, предварительно встряхнув его и внимательнейшим образом выслушав: садилась нагая за туалетный столик, чтобы закурить сигарету, – красивая и молодая, поднимала тонкую руку, чтобы еще раз полюбоваться в зеркале дешевым мной подаренным браслетом. («Да, я смотрю на себя, но это помогает мне думать о тебе».) И, отвернувшись от этого хрупкого алтаря, шла через всю комнату в уродливую судомойню рядом с кухней, мою единственную ванную комнату, и, стоя возле грязной жестяной раковины, мылась быстрыми точными движениями, втягивая воздух сквозь зубы – вода была холодная, – пока я лежал, впитывая тепло и сладость подушки, на которой только что покоились ее голова, ее темные волосы: глядя на ее забытых греческих пропорций лицо – чистая линия острого носа и ясные глаза, атласная кожа, привилегия тех, у кого проблемы с щитовидной железой, и родинка на изгибе длинной стройной шеи. Такие мгновения счету не подлежат, не поддаются материи слова; они живут в перенасыщенном растворе памяти, подобно удивительным существам, единственным в своем роде, поднятым сетью со дна неведомого нам океана.

* * * * *

Сегодня думал о том лете, когда Помбаль решил сдать квартиру Персуордену, чем отнюдь меня не обрадовал. Персуорден был писатель, и я терпеть его не мог из-за резкого контраста между тем, какой он был, и тем, что он писал – по-настоящему сильные стихи и прозу. Мы были едва знакомы, но его романы приносили по крайней мере хорошие деньги, чему я завидовал, а долгие годы подобавшей ему, согласно статусу, светской жизни развили в нем этикие *savoir faire*³⁷, которым я, беспомощный в свете, тоже завидовал. Он был умен, светловолос и высок ростом и производил впечатление юного джентльмена, уютно обустроившегося в материнском чреве. И не то чтобы он не был порядочным человеком или просто хорошим парнем – был наверняка, – просто меня раздражала сама перспектива жить под одной крышей с персоной, решительно мне неприятной. Однако перспектива поиска другой квартиры казалась мне еще менее заманчивой, и я согласился за меньшую плату жить в каморке в конце коридора и пользоваться вместо ванной маленькой чумазой судомойней.

Персуорден мог себе позволить быть душой общества, и раза два в неделю я подолгу не мог заснуть из-за перезвона бокалов и смеха за стеной. Однажды ночью, достаточно поздно, в мою дверь постучали. В коридоре стоял Персуорден, бледный и весь какой-то взъерошен-

³⁶ Сплин, хандра (фр.).

³⁷ Светские манеры (фр.).

ный – выглядел он так, будто им пальнули из пушки и попали в авоську. Рядом с ним стоял толстый флотский маклер с весьма отталкивающей физиономией – впрочем, он сошел бы за родного брата всех флотских маклеров; у них такие рожи, словно их продают в рабство в самом нежном возрасте. «В общем, так, – сказал Персуорден неестественно громко. – Помбаль говорил мне, что вы работали врачом; может, взглянете, у нас там человеку плохо, а?» Я как-то раз обмолвился Помбалью, что проучился полгода на медицинском, и в результате превратился в его глазах в профессионала, доктора в полной боевой раскраске. Он не только сделал меня поверенным во всех своих недомоганиях – однажды он до того дошел, что принялся упрашивать меня сделать кому-то «ради него» аборт у нас же, прямо на обеденном столе. Я поспешил заверить Персуордена, что никакой я не доктор, и дал ему нужный номер телефона, однако телефон не работал, а добудиться *боаба* не было никакой возможности, так что скорее из вялого любопытства, чем из гуманных соображений, я накинул макинтош поверх пижамы и вышел в коридор. Вот так мы и встретились!

Я открыл дверь и на секунду зажмурился от дыма и яркого света. Вечеринка явно была не из обычных, потому что в комнате были только три или четыре убогих флотских кадета да проститутка из ресторанчика Гольфо, благоухавшая подмышками и тафией³⁸. Она как-то неестественно нависла еще над одной фигурой, сидевшей в углу дивана, – сейчас в этой фигуре я узнаю Мелиссу, тогда же она показалась мне неумелой подделкой под греческую комическую маску. Мелисса, кажется, бредила, но беззвучно, потому что голос у нее пропал, – и выглядела она как фильм о себе самой без звуковой дорожки. Черты ее запали. Вторая женщина, постарше, явно была в панике, она дергала ее за уши, тянула за волосы; один из кадетов неумело брызгал водой из богато украшенного ночного горшка – из числа тех сокровищ Помбаля, коими он особенно гордился: на доньшке красовался французский королевский герб. За пределами видимости кого-то медленно, с липким маслянистым звуком рвало. Персуорден стоял со мной рядом, обозревая сцену, и выглядел весьма пристыженным.

Мелисса обильно потела, волосы прядками прилипли к вискам; как только мы прорвали кольцо ее мучителей, она снова растворилась в беззвучной мелкой дрожи, и на лице ее застыла маска непрерывного немого крика. Разумнее всего было бы выяснить, где она перед тем была, что пила и ела, но одного взгляда на бормочущую, истекающую пьяными слезами компанию за спиной было достаточно, чтобы понять – толку от них никакого. Тем не менее я зацепил ближайшего ко мне паренька и даже начал его допрашивать, но тут шлюха от Гольфо, давно уже впавшая в истерику и сдерживаемая доселе одним лишь маклером (он обхватил ее сзади), начала кричать хриплым сдавленным голосом: «Испанка! Это он ее заразил!» И, выскользнув из рук своего поимщика каким-то крысиным манером, она схватила свою сумочку и звучно засветила одному из морячков по кумполу. Сумочка, должно быть, набита была гвоздями – во всяком случае, он тут же медленно опустился на пол, как боксер в нокадауне; когда он поднялся, в волосах у него застряли осколки фаянса.

Затем она принялась рыдать в голос, густым бородатым басом, и звать полицию. Моряки сгрудились вокруг нее, растопырив тупые пальцы, уговаривая, упрашивая, умоляя ее замолчать. Никому не хотелось связываться с военно-морским патрулем. Ни одному из них, однако, так и не удалось избежать удовольствия получить по черепу сумой Прометея, битком набитой презервативами и пузырьками с белладонной. Она отступала осторожно, шаг за шагом. (Тем временем я нащупал Мелиссин пульс и, содрав с нее блузку, выслушал сердце. Я начал по-настоящему за нее беспокоиться и заодно за Персуордена, который занял стратегическую позицию за креслом и делал оттуда всем и каждому красноречивые жесты.) К этому времени веселье достигло апогея, ибо морячки наконец загнали рычащую барышню в угол, – но, к несчастью, за спиной у нее оказался декоративный шератонский шкафчик, служивший

³⁸ Тафия – египетский тростниковый самогон.

обиталищем трепетно обожаемой Помбалем коллекции керамики. Ее руки, шарившие за спиной в поисках оружия, наткнулись на почти неисчерпаемый резерв боеприпасов, и, выпустив с хриплым победным кличем из рук сумочку, она принялась метать фарфор с кучностью и точностью, подобных которым мне видеть не доводилось. Воздух в мгновение ока был полон египетских и греческих «слезных бутылочек»³⁹, ушебти⁴⁰ и севра. Жуткой той минуты, когда привычно загрохочут в дверь подкованные гвоздями ботинки, явно оставалось ждать весьма недолго, ибо в окнах соседних домов уже зажигали свет. Персуорден откровенно нервничал – как дипломат и, тем более, как знаменитость он вряд ли мог позволить себе скандал, – а египетская пресса вполне способна раздуть скандал из подобной истории. Он, однако, утешился, как только я махнул ему рукой и принялся заворачивать почти бесчувственную к тому моменту Мелиссу в мягкий бухарский ковер. С ним вдвоем, пошатываясь, мы пронесли ее по коридору в благословенную тишину моей каморки, где, как Клеопатру, мы ее развернули и уложили на кровать.

Я вспомнил о существовании старого доктора, грека, обитавшего на нашей же улочке, и вскоре уже тащил его вверх по темной лестнице, пока он спотыкался и ругался на театральной демотике, то и дело роняя катетеры и стетоскопы. Он объявил Мелиссу и в самом деле тяжелобольной, хотя диагноз его отличался многословием и расплывчатостью – в традициях города. «Тут все что угодно, – сказал он, – недоедание, истерия, алкоголь, гашиш, туберкулез, испанка... на ваш выбор», – он сунул руку в карман и достал ее полной воображаемых недугов, из коих мне и предложено было выбрать. При всем том он оказался человеком весьма практичным и обещал, что через день для нее будет готова койка в греческом госпитале. Пока же перемещать ее не позволялось.

Эту ночь я провел на кушетке в ногах кровати и следующую тоже. Пока я был на работе, Мелисса перепоручалась заботам одноглазого Хамида, милейшего из берберов. Первые двенадцать часов действительно дались ей тяжело, временами она бредила, с ней случались мучительные приступы слепоты – мучительные потому, что она боялась и в самом деле ослепнуть. Но мы были нежны с ней и суровы, и общими усилиями вдохнули в нее смелость преодолеть самое худшее, и на вторые сутки к полудню она настолько окрепла, что уже могла говорить, шепотом. Доктор-грек провозгласил, что он доволен течением болезни. Он спросил ее, откуда она родом, и на ее лице появилось загнанное выражение, когда она сказала «Смирна»⁴¹; ни фамилии, ни адреса родителей от нее так и не удалось добиться, а когда он попытался на нее нажать, она отвернулась к стене и на глазах у нее медленно выступили слезы бессилия. Доктор взял ее руку и внимательнейшим образом изучил безымянный палец. «Взгляните, – произнес он с поистине клинической бесстрастностью, демонстрируя мне отсутствие всяких следов кольца, – вот в чем дело. Семья от нее отказалась, и ее просто выгнали из дому. Теперь это не редкость...» – и он сочувственно покачал над ней своей лохматой головой. Мелисса ничего не сказала, но когда приехала скорая помощь и санитары принялись раскладывать на полу носилки, она поблагодарила меня за помощь, прижала руку Хамида к своей щеке и удивила меня редкой галантностью, от которой жизнь давно уже меня отучила: «Если у тебя не будет девушки, когда я выпишусь, подумай обо мне. Если ты позовешь меня, я приду к тебе»⁴². Я не знаю, как не унижить английским галантную прямоу греческого.

Итак, я потерял ее из виду на месяц, может, и больше; я в самом деле забыл о ней и думать, мне в то время было чем занять голову. Но вот однажды бездумным жарким днем,

³⁹ Атрибут древневосточных, античных и некоторых более поздних европейских погребальных церемоний. Бутылочки из темного стекла, которые подносились плакальщиками к глазам – движение, долженствующее имитировать сбор слез.

⁴⁰ Древнеегипетская статуэтка, прислужник, который в царстве мертвых должен выполнять за обладателя всю необходимую работу.

⁴¹ То есть семья с большой долей вероятности стала жертвой Смирнской резни в сентябре 1922 года.

⁴² Греческий текст: Ὅταν θά βγω, ἀν δέν ἐχῆς φιλενάδα, φώναξέ με.

когда я сидел у окна, наблюдая, как город медленно разглаживает морщины сна, я увидел совершенно иную Мелиссу – она спустилась по улице и зашла в полумрак моего подъезда. Она постучала в дверь и вошла с полными руками цветов, и в одно мгновение я понял, что от того забытого вечера меня отделяют столетия. В ее движениях сквозила робость, сходная с той, с которой позже она собирала деньги для оркестра в ночном клубе. Она была похожа на статую Гордости с поникшей головой.

Меня одолел изнурительный приступ предупредительности. Я предложил ей стул, и она присела на краешек. Цветы были для меня, в самом деле, но у нее никак не хватало духу сунуть мне в руки букет, и некоторое время я наблюдал, как она загнанно озирается в поисках подходящей вазы. Под рукой был только эмалированный таз, полный полуошкуранных картофелин. Я уже начал жалеть, что она пришла. Я бы предложил ей чаю, но мой кипятильник сломался, а денег на то, чтобы повести ее куда-нибудь, просто не было – в то время я катился под гору и увязал в долгах все глубже. Вдобавок ко всему я только что уснул Хамида отдать в утюжку мой единственный летний костюм, и на мне был только драный халат. Она же сильно изменилась – в лучшую сторону – и была почти пугающе красива в новом летнем платье, прозрачном и хрустком, с узором из виноградных листьев, и в соломенной шляпке, похожей на большой золотой колокольчик. Я начал судорожно молиться про себя, чтобы поскорей вернулся Хамид и хоть как-то разрядил обстановку. Я хотел было угостить ее сигаретой, но моя единственная оставшаяся пачка оказалась пуста, и мне пришлось взять одну из ее собственных, из маленького филигранного портсигара, всегда при ней состоявшего. Я закурил и, надеясь, что выгляжу достаточно непринужденно, принялся рассказывать ей о том, что мне предложили новую работу неподалеку от Сиди Габра и что это позволит мне зарабатывать немного больше. Она сообщила мне, что снова выходит на работу; контракт с ней возобновили, но денег теперь платить станут меньше. Еще несколькими тягостными минутами позже она сказала: ей уже пора, потому что ее звали на чашку чая. Я проводил ее до лестничной площадки и пригласил непременно заходить в любое удобное время. Она поблагодарила меня, продолжая тискать в руках цветы, и, так и не решившись сунуть их мне, медленно пошла вниз. Как только за ней затворилась дверь, я вернулся к себе, сел на кровать и выложил весь запас мата, какой смог вспомнить на четырех языках, – хотя мне было не совсем ясно, кому, собственно, я сие адресую. Когда, шаркая ногами, явился наконец Хамид, я все еще был не в себе и сорвал злость на нем. Это здорово его встревожило: я давно уже на него не срывался; и он удалился на судомойню, причитая шепотом, качая головой и призывая в помощь духов.

Я оделся, занял у Персуордена немного денег и по пути на почту – я шел отправить какое-то письмо – снова увидел Мелиссу, одиноко сидящую в уголке кофейни, подперев подбородок руками. Шляпка и сумочка лежали рядом, она пристально глядела в кофейную чашку – отрешенно, задумчиво и удивленно. Я круто повернул, зашел в кофейню и сел рядом. Я пришел, сказал я, извиниться за столь отвратительный прием, но дело в том... и я стал описывать обстоятельства, в которых оказался, ничего не пытаясь приукрасить. Сломанный кипятильник, уход Хамида, мой летний костюм. Как только я принялся перечислять горести, меня одолевшие, они стали казаться мне отчасти даже забавными; я слегка сместил угол зрения и продолжил свою повесть со скорбью и гневом, и она рассмеялась – мне редко доводилось слышать смех настолько восхитительный. По поводу долгов я врал с чистой совестью, хотя с той самой скандальной ночи Персуорден всегда и безо всяких колебаний готов был при случае поверить мне в долг. И в довершение всех бед, сказал я, она появилась как раз тогда, когда я едва-едва оправился от несерьезного, но чрезвычайно пакостного венерического заболевания – прямого результата заботливости Помбаля, – вне всякого сомнения подхваченного от одной из предусмотрительно оставленных им в наследство сириек. Это тоже была неправда, но я уже не мог остановиться. Меня привела в ужас, сказал я, одна только мысль о том, что дело может дойти

до постели. Тут она протянула руку и опустила ее на мою ладонь, все еще смеясь, сморщив нос: смеялась она так искренне, так легко и просто, что прямо там и тогда я решил в нее влюбиться.

Мы бродили вдоль моря в тот день, и разговоры наши были полны осколков жизни, прожитых без плана, без цели, без архитектуры. Наши вкусы не совпали ни разу, о чем бы ни зашла речь; у нас были совершенно разные характеры и наклонности, но мы чувствовали в волшебной простоте этой дружбы нечто давно нам обещанное. И еще я люблю вспоминать тот первый поцелуй у моря и ветер, перебиравший пальцами локоны на мраморных ее висках, – поцелуй, раздробленный смехом, напавшим на нее при воспоминании о перенесенных мною тяготах. Хороший символ для того, что было между нами, – страсть без напряжения, окрашенная юмором: любовь милосердная.

* * * * *

Два вопроса, приставать с которыми к Жюстин было совершенно бессмысленно: ее возраст, ее происхождение. Никто – сдается мне, и Нессим в том числе – не мог сказать с полной уверенностью, что он знает о ней все. Даже городской оракул Мнемджан в виде исключения разводил руками, хотя он многое мог бы порассказать об ее недавних любовных похождениях. Он говорил о ней и щурил фиолетовые глаза, а потом как один из возможных вариантов осторожно предлагал такие сведения: она родилась в перенаселенном квартале Аттарин в бедной еврейской семье, успевшей с тех пор уехать в Салоники. На дневники здесь тоже надежда слабая, ибо они лишены ключей – имен, дат, мест, – там по большей части плещут буйные фонтаны фантазии, и их блеск лишь кое-где прочерчен пунктиром маленьких колких сюжетов и жестких эскизных портретов с каких-то людей, упрятанных под буквы алфавита. Французский, на котором она пишет, не слишком строго следует принятым правилам, но зато в нем есть одушевленность и своеобразный яркий вкус; есть в нем и явный отзвук бесподобных хриловатых модуляций ее голоса. Вот смотрите: «Клеа говорила о своем детстве: думала о моем, страстно думала. Детство моей расы, моя эпоха... Сперва подзатыльники в хибаре за Стадионом; лавчонка часовщика. Ловлю себя сейчас на том, что смотрю, застыв и забыв себя, на лицо спящего рядом мужчины, точно так же я смотрела и на него, склонившегося над сломанным хронометром, и резкий свет беззвучно его обтекает. Подзатыльники, и ругань, и разбросанные по красным глиняным стенам (будто подзатыльники, розданные незримой рукою духа) синие отпечатки ладоней – пальцы расставлены, – оберегавшие нас от сглаза. С этими подзатыльниками мы выросли, большие головы, уклончивые взгляды. Дом в тусклом свете плавающих в масле фитилей, крысы на земляном полу, кажется, что пол шевелится. Старый ростовщик, пьяный, и храпит во сне, и втягивает с каждым вдохом запах тлена – грязь, экскременты, высохший помет летучих мышей; канавы, забитые листьями и корками хлеба, размокшими в моче; венки из желтого жасмина, шальные и бутафорские. Теперь добавим крики за чужими ставнями на той же кривобокой улочке: бей бьет жен, оттого что импотент. Старая травница, торгующая, что ни ночь, собой на утоптанной площадке меж снесенными домами – собачий скулеж, настораживающий и унылый. Мягкий влажный звук босых черных ног по спекшейся глине поздно ночью на улице. Наша комната, набухшая темнотой и чумой, и мы, европейцы, чуждые этой жуткой животной гармонии живучей черной плоти вокруг нас. Совокупления боабов сотрясают дом, как пальму. Черные тигры с мерцающими клыками. И повсюду паранджи, и вопли, и сумасшедший смех под перечными деревьями, безумие и прокаженные. Все то, что дети видят и собирают про запас, чтоб крепко выстроить свои будущие жизни – или пустить их по ветру. На улице перед домом упал верблюд, загнали. Он был слишком тяжелый, чтобы тащить его на живодерню, и вот пришли с топорами двое мужчин и стали рубить его на куски прямо на улице, живого. Они рубили живое белое мясо – и бедное животное выглядело еще более измученным, более гордым и более удивленным, когда ему отсекали ноги. Вот еще

живая голова, открытые глаза и озираются вокруг. Ни звука протеста, ни попытки защититься. Животное умирает как пальма. Но потом еще несколько дней глина на улице была пропитана его кровью и красила красным наши босые ноги.

Монеты падают в жестянки нищих. Обрывки всех наречий – армянский, греческий, амхарский, марокканский арабский, евреи из Малой Азии, из Понта и Грузии: матери, рожденные в греческих поселках на Черном море; общины, обрубленные, как ветви деревьев, лишённые родного ствола, тоскующие по Эдему. Вот бедные кварталы белого города; ничего похожего на чистые прямые улицы, построенные и украшенные иностранцами, где маклеры сидят и потягивают не спеша свои утренние газеты. Даже гавани для нас, здешних, не существует. Зимой, иногда, редко, слышен рев сирены – но то другая страна. Ах, тоска по гаваням и странным именам у тех, кому некуда ехать. Это похоже на смерть – и умираешь всякий раз, как произносишь слово – *Александрия, Александрия*».

* * * * *

Рю Баб-эль-Мандеб, Рю Абу-эль-Дардар, Минет-эль-Бассаль (улицы, скользкие от пуха, списанного в расход на хлопковых рынках), Нуга (розовые сады, несколько памятных поцелуев) или – остановки автобуса с въевшимися в память именами: Саба Паша, Мазлум, Зизиния Бакос, Шутц, Гианаклис. Город становится миром, когда ты любишь одного из живущих в нем.

* * * * *

Мои частые визиты в их дом имели последствия. Меня начали замечать и дарить вниманием те, кто считал Нессима влиятельным человеком и полагал, что раз уж он тратит на меня свое драгоценное время, то и я тоже каким-то никому не ведомым образом должен быть не то богат, не то как-то по-особенному изыскан. Однажды днем, во время сиесты, ко мне в комнату вошел Помбаль и присел на кровать. «Слушай сюда, – сказал он. – Тебя начали замечать. Конечно, чичисбей в Александрии – фигура привычная, но у тебя появится масса новых хлопот, если ты будешь так часто показываться на публике с этой парочкой. Смотри-ка!» И он подал мне большой аляповатый кусок картона с напечатанным на нем приглашением на коктейль во французское консульство. Я непонимающе пробежал глазами текст. Помбаль продолжил: «Глупость невероятная. Мой шеф, генеральный консул, втрескался в Жюстин. Пока что из его попыток с ней встретиться ничего не выходит. Его шпионы ему доносят, что ты вхож в дом и даже что ты... Понимаю, понимаю. Но все же он надеется рано или поздно занять твое место». Он тяжело засмеялся. Ничего более абсурдного, как мне тогда показалось, он сказать не мог. «Передай генеральному консулу», – сказал я... и прибавил от всей души пару фраз, заставивших Помбаля с сожалением прищелкнуть языком и покачать головой. «Я бы с удовольствием, – сказал он, – однако, мон шер, между дипломатами в ходу китайские церемонии, совсем как на птичьем дворе. А от него зависит, получу я свой маленький крестик – или нет».

Сбросив груз с плеч, он достал из кармана потрепанную маленькую книжицу в желтой обложке и положил ее мне на колени. «Вот это тебя, пожалуй, заинтересует. На заре туманной юности Жюстин была замужем за одним французским подданным, албанцем по происхождению, писателем. Этот маленький роман – о ней, своего рода медицинское вскрытие; кстати, очень мило написано». Я повертел книгу в руках. Она была озаглавлена *Moeurs*⁴³ и принадлежала перу некоего Жакоба Арноти. Судя по выходным данным, она выдержала несколько переизданий в начале тридцатых. «Откуда ты это выкопал?» – спросил я; Жорж подмигнул

⁴³ Нравы (фр.).

круглым глазом, с тяжелым, как у рептилии, веком, и ответил: «Мы наводили справки. Консул думать не может ни о чем другом – одна Жюстин, – и весь наш штат вот уже несколько недель занимается исключительно добыванием информации о ней. *Vive la France!*»

Когда он ушел, я, все еще в полусне, принялся листать *Moeurs*. Роман и в самом деле был очень неплохо написан, от первого лица, и представлял собой дневник александрийской жизни начала тридцатых годов, глазами иностранца. Автор дневника занят сбором материала для будущего романа – и отчет о его александрийских трудах и днях сделан достаточно тонко и точно; но что меня действительно захватило, так это портрет молодой еврейки, которую он здесь встречает, женится на ней, увозит ее в Европу, разводится. Крах этого брака по возвращении в Египет написан на одном дыхании, с необычайной ясностью виденья ситуации, и характер Клодии, его жены, вышел чрезвычайно рельефным. И вот я с удивлением и радостью увидел в ней карандашный набросок Жюстин: я понял бы, что это она, даже если Помбаль ничего бы мне не сказал; она, конечно, была моложе и не настолько уверена в себе, но это была она. Кстати, когда бы я ни читал эту книгу, а я читал ее часто, я постоянно ловил себя на том, что автоматически прочитываю вместо Клодии – Жюстин. Сходство было невероятное.

Они встретились там же, где я впервые ее увидел, в сумрачном вестибюле отеля «Сесиль», в зеркале. «В вестибюле этой отжившей свой век гостиницы зеркала в позолоченных рамах ловят и ломают пальмовые листья. Только богатые могут позволить себе жить здесь постоянно – те, кто обитает в позолоченных рамах обеспеченной старости. Я ищу комнат подешевле. Сегодня в холле торжественно заседает маленький кружок сирийцев, неповоротливых, в темных костюмах, желтолицых под красными фесками. Их бегемотоподобные, слегка усытые дамы уже удалились, позвякивая драгоценностями, спать. Овальные лица мужчин, мягкие и любопытные, и женоподобные их голоса кружат вокруг бархатных футляров – каждый из александрийских маклеров носит при себе в шкатулке свои излюбленные камешки; после обеда разговор плавно переходит на мужские драгоценности. Это последняя тема для беседы, оставшаяся у средиземноморского мира; самолюбование, нарциссизм, дитя сексуального истощения, выявляет себя в символе обладания: ты встречаешь мужчину и через минуту знаешь, сколько он стоит; стоит тебе встретить его жену, и тот же сдавленный шепот назовет тебе сумму ее приданого. Они мурлычат над бриллиантами, как евнухи, подставляя свету одну грань, другую, прицениваясь. Они улыбаются – мягкие женские улыбки – и показывают мелкие белые зубы. Они вздыхают. Одетый в белое официант с лицом из полированного черного дерева приносит кофе. Откидывается серебряная крышка над толстыми белыми (как бедра египетских женщин) папиросами, и в каждой – обязательные несколько крошек гашиша. Несколько зернышек забвения на сон грядущий. Думал о девушке, которую встретил прошлой ночью в зеркале: на фоне мрамора и мамонтовой кости – темная вспышка; блестящие черные волосы; удивительные, бездонные глаза – и взгляд твой тонет в них бесследно, ибо они переменчивы, любопытны, ненасытны. Хочет казаться гречанкой, но наверняка еврейка. Нужен еврей, чтоб унюхать еврея: ни у кого из нас не хватает смелости покаяться в собственной крови. Я сказал ей, что я француз. Рано или поздно мы друг друга раскусим».

«Женщины из иммигрантских общин здесь красивее, чем где бы то ни было. Страх и неуверенность одолевают их. Им кажется, что они осели на дно беспредельного океана черноты. Этот город выстроен как дамба на пути прилива африканской тьмы; но черные с их мягкой поступью уже начали проникать в европейские кварталы, размывать их: запущен вихрь расового осмоса. Чтобы быть счастливым, нужно бы родиться мусульманином, египетской женщиной – жадной, податливой, вялой, с пышными формами; поклонницей внешнего лоска; их восковая кожа отливает то лимонной желтизной, то зеленью дыни в ярком лигроиновом свете. Жесткие тела, ленивые жесты. Груды яблочно-зеленые и твердые – змеиная прохлада плоти, вибриссы пальцев рук и ног. Их чувства похоронены в подкорке. В любви они не умеют отдать и малой толики себя, ибо им нечего отдавать, они обволакивают вас облаком мучительной

рефлексии – мукой невыразимого томления, полярно противоположного наслаждению и нежности. Столетиями были они заперты в стойлах вместе с волами, с закрытыми лицами, обретенные в духе. Откормленные во тьме сладостями и пряным жирным мясом, они стали бездонными бочками наслаждения, перекачивающимися на бумажно-белых ногах с голубоватыми прожилками вен».

«Идешь сквозь египетский квартал, и запах плоти меняется – аммиак, сандал, селитра, специи, рыба. Она не позволила мне подвезти ее до дому, явно стесняясь тамошних трущоб. И притом удивительно хорошо говорила о своем детстве. Кое-что записал: она вернулась домой и застала отца, колющего маленьким молоточком грецкие орехи при свете масляной лампы. Я его вижу. Никакой он не грек, он еврей из Одессы в меховой шапке на сальных витых волосах. Еще: поцелуй берберки; огромный напрягшийся пенис, как обсидиан ледниковой эры; наклоняется, чтобы взять ее губу красивыми неровными зубами. Мы, здешние, оставили Европу где-то позади и движемся к новым духовным широтам. Она отдалась мне с таким презрением, что впервые в жизни я был вынужден задуматься об истинной природе ее страсти; моментальная мысль – она отчаянно, до высокомерия горда тем, что несчастна. И все же эти женщины из затерянных общин, из колен утраченных, обладают какой-то отчаянной смелостью, совершенно непохожей на нашу. Они изучили жизнь плоти до степеней запредельных и стали для нас чужестранцами. Как мне написать об этом? Придет она или навсегда исчезнет? Сирийцы расхоятся спать по комнатам с легкими криками, как перелетные птицы».

Она приходит. Они говорят. («Под показной провинциальной изошренностью и резкостью ума я разглядел, как мне показалось, неискушенность – не в мире, нет – лишь в свете. Я заинтересовал ее, вне всяких сомнений, как иностранец с хорошими манерами – и она обратила на меня полный какой-то застенчивой совиной мудрости взгляд огромных карих глаз; голубоватые белки и длинные ресницы оттеняют блеск зрачков, сияющих, искренних».)

Можете себе представить, с какой болезненной, захватывающей дух страстностью я в первый раз читал повествование о давнем романе Жюстин; и, честное слово, несмотря на то что я уже много раз перечитывал эту книгу и знаю ее теперь почти наизусть, она всегда была и будет для меня документом, полным личной боли и не перестающим меня удивлять. «Любовь наша, – пишет он в другом месте, – была подобна силлогизму, истинные посыпки которого утрачены: я имею в виду расположенность друг к другу. Это было что-то вроде взаимной власти умов, поймавшей нас в ловушку и пустившей в дрейф по мелким и теплым водам Мареотиса, словно лягушек, мечущих икру, – нас, жертв инстинктов, идущих от апатии и духоты... Нет, не те слова, неправда. Попробую еще набросать портрет Клодии сим расшатанным, неверным инструментом. С чего начнем?»

«Природное чутье, позволявшее ей находить выход из любой ситуации, безотказно служило ей на протяжении двадцати лет беспорядочной и бессистемной жизни. Об ее происхождении я почти ничего не знаю, если не считать того, что выросла она в крайней нищете. Она произвела на меня впечатление человека, старательно импровизирующего одну за другой злобные карикатуры на самого себя, – это, однако, общая черта большинства одиноких людей, понимающих, что истинная их сущность не может найти отклика и соответствия в другом человеке. Скорость, с которой она переходила от одного окружения, от одного мужчины, места, времени к другому, была потрясающей. Но само ее непостоянство было в своем роде очаровательным. Чем больше я узнавал ее, тем менее предсказуемой она казалась; единственное, что оставалось неизменным, так это ее неистовые попытки прорвать блокаду собственного аутизма. И каждая попытка кончалась провалом, чувством вины и раскаянием. Как часто мне приходилось слышать это ее: “Хороший мой, на этот раз все будет иначе, я тебе обещаю”».

«Позже, когда мы уехали за границу: в “Адлоне”⁴⁴ пыль прожекторов оседает на телах испанских танцовщиц, скользящих в дыму тысяч сигарет; над темными водами Буды, где ее слезы обжигаяще капают на тихо плывущие мертвые листья; на иссохших равнинах Испании, верхом – звук конских копыт оспинами остается на теле тишины; у Средиземного моря, мы загораем на каком-то пустынном рифе. Ее измены никогда не выводили меня из себя – ибо там, где дело касалось Жюстин, вопросы мужской чести, обладания как-то сами собой уходили на задний план. Я был околдован иллюзией, что смогу наконец по-настоящему ее понять; теперь я вижу: в действительности она была не женщина, но воплощение Женщины, и не склонна была снисходить до удобных обществу условностей. “Я охочусь за жизнью, которую бы стоило прожить. Как знать, если бы я могла умереть или сойти с ума, прямо сейчас, все, что бесится внутри меня, в темноте и тесноте, глядишь, и нашло бы выход. Тот доктор, в которого я была влюблена, он говорил мне, что я нимфоманка, – но в радостях моих нет ни обжорства, ни распущенности, Жакоб. С этой точки зрения я просто даром трачу время. Даром, дорогой мой, даром! Ты говоришь, что я получаю удовольствие с печалью в душе, подобно пуританам. Даже и в этом ты ко мне несправедлив. Я принимаю удовольствие как трагедию, а если мои друзья-медики не могут обойтись без членистоногого слова, чтобы определить то бессердечное создание, каковым я, наверное, кажусь со стороны, по крайней мере им придется признать, что все недостатки моего сердца с успехом компенсирует душа. Вот где проблема-то!” Сами видите, это отнюдь не обычная женская логика. Ее мир был словно бы лишен не только объема, но и прочих измерений, и любовь была вынуждена обратиться вспять на самое себя и стать чем-то вроде идолопоклонства. Поначалу я принял это за всепоглощающий и опустошительный эгоизм, поскольку она не имела ни малейшего представления о тех маленьких обязательных проявлениях внимания, что составляют основу привязанности между женщиной и мужчиной. Выглядит помпезно, ну да и бог с ним. Теперь же, вспоминая нападавшие на нее по временам приступы страха и счастья, я начинаю сомневаться в своей правоте. Я думаю об утомительных спектаклях – о сценах в меблированных комнатах, когда Жюстин открывала краны в ванной, чтобы заглушить звуки рыданий. Она ходила взад-вперед по комнате, зажав ладони под мышками, бормоча себе под нос, тихо тлея, словно бочка с нефтью, готовая взорваться. Мое весьма посредственное здоровье и слабые нервы – но прежде всего мое европейское чувство юмора – в такие минуты, казалось, совершенно выводили ее из себя. Страдая, скажем, от некоего ею самой придуманного косога взгляда на банкете, она металась по ковровой дорожке в ногах кровати, как пантера. Стоило мне уснуть, и она приходила в ярость – трясла меня за плечи с криком: “Проснись, Жакоб, ты что, не видишь, что я страдаю?” Когда я отказывался принимать участие в этом цирке, она разбивала что-нибудь на туалетном столике, чтобы получить предлог и позвонить. Каких только вариаций на тему перепуганного лица ночной горничной я не насмотрелся – она встречала их с убийственной вежливостью и роняла что-нибудь вроде: “Окажите мне такую любезность, уберите на туалетном столике. Я, кажется, нечаянно что-то там разбила”. Затем она сидела, куря сигарету за сигаретой. “Я ведь знаю, в чем дело, – сказал я ей однажды. – Сдается мне, что всякий раз, как ты мне изменяешь и мучаешься угрызениями совести, тебе хочется спровоцировать меня на то, чтобы я, ну, скажем, побил тебя, что ли – и вроде как отпустил тебе грех. Дорогая моя, я не желаю потворствовать твоим прихотям. Свою ношу изволь нести сама. Ты все пытаешься меня заставить вытянуть тебя пару раз арапником. А мне тебя просто жаль”. Могу поклясться, это заставило ее на минуту глубоко задуматься, и ее рука невольно коснулась гладкой поверхности тщательно выбритых утром лодыжек...»

«Позже, когда я начал от нее уставать, подобные вспышки казались мне настолько утомительными, что я уже нарочно старался задеть ее и откровенно над ней смеялся. Как-то ночью я назвал ее претенциозной, нудной, истеричной еврейкой. Она разразилась жуткими хриплыми

⁴⁴ «Адлон Кемпински», шикарный берлинский отель, пик популярности которого пришелся на 1920 – начало 1930-х годов.

рыданиями, к которым я за это время настолько привык, что даже и сейчас при одном воспоминании о них (такое богатство, такая мелодическая плотность) меня передергивает болью; и бросилась на свою кровать, безвольно раскинув руки и ноги: приступы истерии играли с ними, как струи воды со шлангом».

«Действительно ли такого рода истерики случались с ней настолько часто или это моя память их умножила? Может быть, это и было-то всего один раз, а я теперь обманываюсь эхом. Как бы то ни было, я помню, как часто и напряженно я вслушивался в звук откупориваемой в ванной бутылочки и в тихий плеск таблеток, падавших в стакан с водой. Даже и сквозь сон я считал, чтобы она не приняла их слишком много. Все это, конечно, было гораздо позже, поначалу я просто звал ее к себе в постель, и – взвинченная, замкнутая, холодная – она подчинялась. Я был настолько глуп, что надеялся растопить лед и умиротворить ее хотя бы физически, – тогда я верил, что от этого должна зависеть и умиротворенность ума. Я ошибался. Существовал некий тугой внутренний узел, с которым она безуспешно пыталась справиться, и узла того распутать я не мог – ни как любовник, ни как друг. Конечно же. Конечно. Я знал ровно столько, сколько в то время было известно о психопатологии истерии, но было в Жюстин что-то иное, и, как мне казалось, я выследил зверя там, в глубине. В каком-то смысле она хотела вовсе не жизни, а некоего всепоглощающего откровения, способного дать жизни цель».

«Я уже писал о нашей первой встрече – в длинном зеркале отеля “Сесиль”, перед настезь распаханной дверью бальной залы, в карнавальную ночь. Первые слова, сказанные между нами, были произнесены, что само по себе весьма символично, сквозь зеркало. С ней был какой-то мужчина, похожий на камбалу, стоявший поодаль, пока она внимательно изучала свое смуглое отражение. Я остановился поправить непривычно сжавшую горло бабочку. В ее глазах жила здоровая голодная искренность, с ходу отметаившая всякое предположение о развязности или навязчивости; она улыбнулась и сказала: “Вечно не хватает света”. На что я безо всякой задней мысли ответил: “Возможно – для женщин. Мы, мужчины, не настолько взыскательны”. Мы улыбнулись друг другу, и я прошел за ее спиной в залу, готовый, не задумываясь, навсегда уйти из ее зеркального бытия. Позже церемонный лабиринт одного из чудовищных английских танцев, именуемого, если мне не изменяет память, “Пол Джонс”, оставил нас с ней наедине на тур вальса. Мы сказали лишь несколько ничего не значивших слов – я плохой танцор, и к тому же, должен признаться, ее красота не произвела на меня впечатления. И лишь потом она принялась вычерчивать вдоль стеновых опор моей личности стремительные малообдуманные пируэты, повергая мою способность к трезвой оценке ситуации в полный хаос серией быстрых метких ударов, приписывая мне тут же выдуманные качества – из жгучего желания привлечь мое внимание. Женщины просто не могут не атаковать писателей – и как только она узнала, что я писатель, она прониклась необходимостью заинтриговать меня препарированием моей же собственной персоны. Все это могло бы в высшей степени польстить моему *amour-propre*⁴⁵, если бы некоторые из ее наблюдений были чуть дальше от опасной черты. Но она была весьма проницательна, а я был слишком слаб, чтобы отказываться от подобных игр, – ах, эти ухищрения ума, предвестники гамбитов флирта!»

«Далее я не помню ничего до той самой ночи – волшебной летней ночи на залитом лунным светом балконе над морем, – когда Жюстин прижала теплую ладонь к моим губам, чтобы остановить меня, говоруна, и сказала что-то вроде: “Ну же! *Engorge-moi*⁴⁶. От страсти к отвращению – давай с начала и до конца”. Было такое впечатление, что она – про себя – уже успела высосать меня до капли. Но слова эти были произнесены с такой усталостью, с таким смирением – и как же я мог не влюбиться?»

⁴⁵ Самолюбие (*фр.*).

⁴⁶ Обними меня (*фр.*).

«Нет смысла перебирать события и мысли инструментом столь ненадежным, как слово. Я помню наши бессчетные встречи, то острые как бритва, то заходящие в полный тупик, и я вижу твое двойное дно, Жюстин, вижу, как ты прятала неутолимый голод познания, голод по власти через познание себя, за обманом чувств. С печалью я вынуждаю себя обращаться к мысли – а трогал ли я ее вообще когда-нибудь более или менее серьезно или просто был лабораторией, где она могла работать. Она многому у меня научилась: читать и связно думать. Ни того ни другого она прежде не умела. Я даже заставлял ее вести дневник, чтобы для нее самой стали более внятными ее подчас далеко не ординарные мысли. Однако весьма вероятно, что чувство, принятое мной за любовь, было просто-напросто благодарностью. Среди тысяч сброшенных, как сыгравшие карты, людей, впечатлений, объектов анализа – где-то там я вижу и себя, безвольно влекомого потоком, – и протягиваю руки. И вот что странно: как *любownik* я так ее по-настоящему и не обрел, но обрел как писатель. Здесь мы и впрямь подали друг другу руки – в аморальном мире подвешенных суждений, где удивление и любопытство выглядят величественнее, чем порядок – порядок навязанных рассудком силлогизмов, здесь то самое место, где ждешь в молчании, затаив дыхание, пока не запотеет стекло. Я стерел ее именно так. Я влюбился в нее без ума».

«У нее было много тайн, ведь она была истинной дочерью Мусейона, и мне приходилось отчаянно оберегать себя от ревности и от желания вмешаться в ту, скрытую, часть ее жизни. Мне это почти удавалось, и если я и следил за ней, то лишь из чистого любопытства, из желания знать, что она может делать и о чем может думать, когда она не со мной. Была, к примеру, в городе некая женщина, которую она часто навещала и чье влияние на нее было столь глубоким, что натолкнуло меня на мысль о предосудительной связи; еще был мужчина, ему она писала длинные письма, хотя, насколько я понимаю, жил он в городе. Может быть, он был прикован к постели? Я наводил справки, но мои шпионы всегда приносили мне совершенно неинтересные сведения. Женщина была гадалкой, в возрасте, и вдовой. Мужчина, к которому она писала – повизгивая пером по дешевой бумаге, – оказался доктором, работавшим временно и в незначительной должности в местном консульстве. Он не был прикован к постели; но он был гомосексуалист и тихо копался в герметической философии, столь модной в наши дни. Однажды она оставила необычайно четкий отпечаток на промокашке, и в зеркале – опять зеркала! – я смог прочитать: “моей жизни есть нечто вроде Незаживленного Места, как ты это называешь, и я пытаюсь заполнить его людьми, происшествиями, недугами, всем, что попадает под руку. Ты прав, когда говоришь, что это лишь жалкое подобие истинной жизни, более мудрой жизни. Однако, хотя я уважаю твою науку и твои знания, я чувствую, что, если мне и суждено когда-нибудь примириться с собой, я должна пробиться *сквозь* ошметки моей личности и спалить их догла. Искусственным путем проблемы мои смог бы решить кто угодно – нужно только уткнуться в манишку к попу. Но мы, александрийцы, слишком горды для этого – и слишком уважаем веру. Это было бы нечестно по отношению к Богу, дорогой мой, и кого бы я еще ни подвела (я вижу, как ты улыбнулся), я решила ни в коем случае не подвести Его, кем бы он ни был”».

«Мне тогда подумалось: если я только что прочел отрывок из любовного письма, то такие любовные письма пишут, наверное, святым; и снова меня поразила, сквозь невнятицу и неумелость ее письма, та легкость, с какой она жонглировала идеями самого разного порядка. Я стал иначе смотреть на нее: как на человека, способного от избытка ложной смелости уничтожить себя самого и лишиться себя права на счастье, а о счастье она, как и все мы, мечтала, и ради будущего счастья стоило жить. Подобные мысли привели к тому, что моя любовь к ней стала понемногу слабеть, иногда я даже замечал: она мне неприятна. Но вот что меня и в самом деле напугало – некоторое, весьма непродолжительное время спустя я, к ужасу своему, осознал: я не могу без нее жить. Я пытался. Я пробовал ненадолго уезжать. Но без нее жизнь моя становилась унижительно скучной, до невыносимости. Я *влюбился*. Сама эта мысль наполняла

меня невыразимым отчаянием. Я вроде бы даже понимал подсознательно, что встретил в ней своего злого гения. Приехать в Александрию совершенно свободным ото всяческих привязанностей и встретить *amor fati*⁴⁷ – это было такое невезение, которое мое здоровье и мои нервы переносить отказывались. Глядя в зеркало, я напоминал себе, что мне уже перевалило за сорок и что на моих висках уже проглядывают седые волосы! Я даже подумывал прервать эту связь, но не мог же я не видеть, как с каждой улыбкой и с каждым поцелуем Жюстин терпят крах мои благие намерения. Но если я был с ней, тени толпились вокруг нас и властно вторгались в мою жизнь, наполняя ее новым звучанием. Чувство, столь противоречивое и богатое смыслами, было невозможно отменить единственным актом воли. Иногда она казалась мне женщиной, каждый поцелуй которой был – удар в ворота смерти. Я обнаружил, к примеру (как будто я этого не знал), что она постоянно мне изменяла, причем в то самое время, когда я чувствовал себя ближе к ней, чем когда бы то ни было, – и я не почувствовал ничего определенного, скорее это было похоже на внезапную атрофию чувств, как если бы я ушел, оставив в больнице друга, или шагнул в лифт и упал на шесть этажей вниз в полной тишине, стоя рядом с автоматом в униформе и слушая его дыхание. Тишина моей комнаты оглушала меня. Потом же, обдумав все как следует, старательно собравшись с мыслями, чтобы оценить происшедшее, я понял, что сделанное ею не имело до меня никакого касательства: то была попытка освободиться ради меня же – отдать мне то, что было моим по праву. Не могу сказать, чтобы я не различал во всем этом привкуса софистики. И тем не менее сердце мое, кажется, знало правду и диктовало мне тактичное молчание – и она ответила мне новой теплотой, новой страстью, страстью благодарности, примешанной к любви. И это снова меня оттолкнуло».

«Боже мой, но если бы вы видели ее, как видел я, в минуты простоты и смирения и помнили о том, что она всего лишь ребенок, вы бы не стали упрекать меня в трусости. Ранним утром, уснув в моих объятиях, с волосами, упавшими на улыбающийся рот, она не была похожа ни на одну другую женщину: она и вовсе не была похожа на женщину: но на некое чудесное существо, пойманное и застывшее в плейстоцене своей эволюции. А еще позже, думая о ней, – а думал я о ней постоянно, сколько бы лет ни прошло с тех пор – я с удивлением понял, что пусть я все еще люблю ее и пусть я знаю, что никогда не смогу полюбить другую женщину, меня передергивает от мысли: а вдруг она вернется. Два голоса говорили во мне разом, не мешая друг другу. Я думал с облегчением: “Прекрасно. Я *наконец-то* влюбился. Есть чем гордиться – и к этому мое *alter ego* добавляло: – Избави меня от мук любви и от Жюстин – *орудия пыток*”. Эта загадочная полярность чувств была для меня полной неожиданностью. Если это называть любовью, то во всяком случае я обнаружил некую странную разновидность всем известного растения, никогда мною прежде не виданную. (“Проклятие на это слово, – сказала однажды Жюстин. – Хотела бы я произносить его задом наперед, помнишь, ты рассказывал, что елизаветинцы поступали так со словом “Бог”. И тогда оно превратилось бы в составляющую слов “эволюция” и “бунт”. Никогда не применяй его ко мне”⁴⁸.)»

* * * * *

Последние отрывки я взял из раздела, названного в дневнике «Жизнь после смерти», – своеобразная авторская попытка суммировать и оценить происшедшее. Помбаль находит многое здесь банальным и даже скучным; но кто из нас, знакомых с Жюстин не понаслышке, смог бы избежать очарования этой книги? Кстати, небезынтересны и сам замысел автора, и некоторые высказанные им идеи. Он считает, например, что реальные люди могут существовать

⁴⁷ Роковую любовь (*лат.*).

⁴⁸ Английское слово God (Бог), произнесенное наоборот, становится словом dog (пес). Любовь (love) превращается в evol, созвучное слову evil (зло) и часть слов evolution (эволюция, развитие) и revolt (бунт).

лишь в воображении художника, достаточно сильном, чтобы вместить их и придать им форму. «Жизнь, сырой материал, имеет быть прожита лишь *in potentia*⁴⁹, пока художник не воплотит ее в своем произведении. Хотел бы я сослужить эту службу моей бедной Жюстин». (Я, конечно, оговорился – «Клодии».) «Я мечтаю о книге, достаточно сильной, чтобы вместить куски ее личности, – непохожей на книги, к каким мы привыкли сейчас. Примера для: на первой странице – выжимка сюжета в нескольких строках. Таким образом мы могли бы разделиться с повествовательной интонацией. А следом – драма, свободная от груза формы. Я дам моей книге волю мечтать и видеть сны».

Конечно же, от структуры, которую он считает навязанной извне, так просто не отделаешься, ведь на самом деле она органично растет вместе с произведением, внутри него и полностью ему соответствует. Чего не хватает его роману – это, однако, относится абсолютно ко всем вещам, не дотягивающим до первого разряда, – так это чувства *игры*. Он слишком рьяно набрасывается на свой материал; так рьяно, что его стиль волей-неволей подхватывает от Клодии заразу этакой истерической взвинченности. И вот результат – любой источник чувств для него равноценен; жест, сделанный Клодией среди олеандров Нуги, камин, в котором она спалила рукопись его романа о ней («Целыми днями она смотрела на меня так, словно пыталась прочесть во мне мою книгу»), маленькая комната на Рю Лепсиус... Он говорит о своих персонажах: «Все они связаны временем, а время отнюдь не есть реальность, как бы нам того ни хотелось – оно существует как одно из условий, необходимых для работы. Ибо любая драма создает систему связей, и актер значим лишь в той мере, в которой он связан».

Но если оставить в стороне все эти оговорки, насколько полный очарования и насколько точный портрет Александрии удался ему – Александрии и ее женщин. Здесь есть наброски Леони, Габи, Дельфины – женщина бледно-розовая, золотистая, битумно-черная. Кое-кого можно узнать безо всяких усилий. Клеа все еще живет в своей студии на чердаке; ласточкино гнездо, сотканное из паутины и старых холстов, – он написал ее безошибочно. В большинстве же случаев всех этих александриек отличают от женщин других широт лишь пугающая честность и утрата веры в себя и в мир. Он в достаточной степени писатель, чтобы поселить эти качества не где-нибудь, а в городе Сомы. Можно ли ждать большего от чужака не без способностей, чуть ли не по ошибке пробуравившего черепаховый панцирь, стальной корпус сложного твоего механизма, Александрия, – чтобы найти себя.

Что же до самой Жюстин, то я лишь с большим трудом сумел отыскать кое-что, касающееся Арноти, в непролазных дебрях ее дневников. Несколько раз я наткнулся на букву А, но чаще всего в отрывках, посвященных чистейшей воды самоанализу. Вот один из них – в данном случае идентификация вполне вероятна:

«Первое, что привлекло меня в А., – его комната. Мне всегда казалось, что за этими тяжелыми ставнями бродит некий беспокойный дух. Книжки, разбросанные повсюду – обернутые в белую чертежную бумагу или в суперобложках, вывернутых наизнанку, – словно специально, чтобы скрыть названия. Кипы газет, искромсанных дырами, такое впечатление, что здесь пировали орды крыс, – А. делает вырезки из “реальной жизни”, как он называет эту абстракцию, столь далекую от его собственной жизни. Он садится за свои газеты как за обеденный стол, в залатанном халате и бархатных тапочках, и кромсает их вдоль и поперек парой тупых маникюрных ножниц. Он удивляется “реальности” мира за стенами его кельи, как ребенок; ведь, судя по всему, люди там могут быть счастливы, могут смеяться и рожать детей».

Несколько подобных отрывков – вот и все, что осталось от автора *Moeurs*; скудное вознаграждение за кропотливый и с любовью сделанный труд; я не смог отыскать ни слова о том, как они расстались после краткого своего и бесплодного брака. И все же интересно было порой наткнуться в его книге на те же суждения о ее характере, которым позже суждено было прийти

⁴⁹ Потенциально, в возможности (*лат.*).

в голову нам, Нессиму и мне. Удивительного согласия ей удалось ото всех нас добиться. Такое впечатление, что в ее присутствии мужчины совершенно независимо друг от друга сразу догадывались, что нет никакой возможности судить ее по привычным стандартам. Клеа сказала о ней однажды (а уж ее-то суждения никогда не страдали излишней сдержанностью): «Кто по-настоящему нужен мужчине, так это настоящая стерва – вроде Жюстин; только у нее получается задеть мужчину всерьез. Хотя, конечно, наша общая подруга – это всего лишь мелкотравчатая современная копия великих *hetairae*⁵⁰ прошлого, она принадлежит к тому же типу, хоть и не отдает себе в том отчета: Лаис, Харис и прочая компания... У Жюстин украли ее роль, и вдобавок ко всем бедам общество возложило на ее плечи груз вины и ответственности. Это печально. Она ведь истинная александрийка».

Клеа маленькая книжка Арноти тоже показалась пустой и страдающей ненужным стремлением все объяснить. «Это наша болезнь, – сказала она. – Мы пытаемся втиснуть вселенную в рамки компетенции психологии или философии. В конце концов, Жюстин невозможно оправдать или объяснить. Она просто и непостижимым образом *есть*, и нам придется смириться с этим, как с первородным грехом. Но обзывать ее нимфоманкой или пытаться разложить ее по Фрейду, мой дорогой, значит напрочь отсечь всю мифологию, – а в ней и нет ничего другого, в Жюстин. Как и все аморальные люди, она стоит где-то на грани между женщиной и богиней. Если бы наш мир был устроен так, как должно, в нем были бы храмы, способные дать ей прибежище и покой, которого она ищет. Храмы, где можно было бы с течением времени избавиться от проклятия, подобного тяготеющему над ней: не в пример этим дерьмовым монастырям, до отказа забитым прыщавыми католическими девственницами, соорудившими себе из гениталий велосипедные седла».

Она имела в виду главы, объединенные Арноти под заголовком «*Проклятие*»⁵¹, где, как ему казалось, он нашел ключ к душевной нестабильности Жюстин. Может быть, все это и пустое, как считает Клеа, но раз уж каждую божью вещь стоит с самого начала подозревать в вероятности более чем одного истинного толкования, не будем пренебрегать и этим. Я и сам не слишком доверяю данной версии Жюстин, но до определенной степени она высвечивает ее манеру действовать – их бесконечные путешествия вдоль и поперек Европы. «В самом сердце страсти, – пишет он, добавляя в скобках, – (страсти, которая казалась ей самой легкодоступной формой человеческой одаренности), лежало проклятие – всерьез мешавшее ей чувствовать в полную силу, и я заметил его лишь долгие месяцы спустя. Оно тенью выросло между нами, и я увидел, или мне показалось, что я увидел, истинного врага того счастья, которого мы так ждали и от которого – мы это почувствовали – нас почему-то отлучили. Что это было?»

«Она сказала мне однажды ночью: мы лежали в огромной уродливой кровати, в чужой комнате, снятой за деньги, – мрачной прямоугольной комнате неясных франко-левантинских очертаний и тонов: лепнина на потолке – разлагающиеся заживо херувимы, покрытые язвами отпавшей штукатурки, гирлянды из виноградных листьев. Она сказала мне и оставила меня беситься от ревности, которую я все еще пытался скрыть, – и сама ревность была теперь совершенно иного свойства. Объектом ревности был мужчина, еще живой, но, несмотря на это, *более не существующий*. Фрейдисты, наверное, назвали бы это фоновой памятью о событиях ранней юности. Она была (и трудно было не заметить, сколь важным было для нее признание, – хотя бы по пролитым потокам слез; никогда, ни прежде, ни после той ночи, я не видел, чтобы она так рыдала), – она была изнасилована кем-то из родственников. Трудно удержаться от улыбки – до

⁵⁰ Гетер (*древнегреч.*). (В оригинале использован латинский шрифт).

⁵¹ В оригинале слово *Check*, слишком богатое значениями, существенно важными для понимания гностического и др. символических контекстов романа и всей тетралогии Даррелла, чтобы быть адекватно переведенным на русский язык. Вот некоторые из них: 1) препятствие, 2) проверка, 3) отметина, 4) шахматный шах, 5) потеря собакой следа и, в конце концов, просто чек – вспомните Мелиссу, выкупившую Дарли у «дьявола» Каподистриа, «наложившего лапу» также и на Жюстин (см. далее).

того банальна вся эта история. Понять, в каком возрасте все это случилось, было совершенно невозможно. И все-таки – и здесь, мне кажется, я проник в самую суть Проклятия: с тех самых пор она не могла получить удовольствия в постели, покуда не вспоминала о том случае и не проигрывала про себя с начала до конца все, что тогда произошло. Мы, ее любовники, могли дать ей лишь эрзац любви, ибо служили сменяющимся орудием воспоминания об одном и том же детском акте, – и любовь ее, подобно некой форме мастурбации, окрасилась во все цвета неврастения; она страдала от собственного анемического воображения, потому что полноценное обладание мужчиной во плоти было ей недоступно. Она не могла влюбиться так, как ей того хотелось, ибо ее источники наслаждения были спрятаны в сумеречных уголках жизни, давно уже ставшей для нее посторонней. Это было страшно интересно. Но что меня особенно позабавило, так это удар по моему мужскому самолюбию, который я незамедлительно почувствовал; как будто она только что покаялась мне в преднамеренной измене. Как?! Всякий раз, когда она лежала в моих объятиях, я не мог дать ей наслаждения, пока она сама не вспомнит о другом мужчине? Это означало, что в каком-то смысле я не мог ею обладать и никогда не обладал ею. Я был просто куклой. Даже сейчас, когда я пишу эти строки, я не могу не улыбнуться при воспоминании о том сдавленном голосе, которым я спросил ее – кто этот человек? где он теперь? (Интересно, что я собирался с ним сделать? Вызвать его на дуэль?) И тем не менее он был здесь, расположившись весьма недвусмысленно между Жюстин и мной; между Жюстин и светом солнца».

«С какой-то пугающей отрешенностью я наблюдал за тем, насколько часто и обильно любовь питается ревностью; Жюстин стала в десять раз желаннее, в десять раз более необходимой мне, когда я понял, что не могу дотянуться до этой лежащей в моих объятиях женщины. Весьма неожиданный и неприятный поворот событий для мужчины, не имевшего намерения влюбиться, не правда ли? – и для женщины, мечтавшей лишь о том, чтоб избавиться от навяздения и стать свободной для любви. Отсюда логически следовало и еще кое-что: если бы я смог преодолеть Проклятие, я овладел бы ею всецело, как то не удавалось до меня ни единому мужчине. Я смог бы занять место призрака и принимать ее поцелуи с чистой душой; пока же они доставались трупу. Мне показалось, что я наконец понял все».

«Потому-то мы и отправлялись в безумное наше турне, рука об руку, в попытке одолеть суккуба вместе и с помощью науки. Вместе мы посетили заставленную книгами келью в Чехии, где восседал прославленный мандарин от психологии с мертвенно-бледным лицом, любовно взиравший на свои “случаи”. Базель, Цюрих, Баден, Париж – мельтешат стальные рельсы, сероголубые вены на бледном теле Европы; стальные узлы нервов, нити сходятся и разбегаются врозь сквозь горные цепи и долины. Лицом к лицу с самим собой в прыщавых зеркалах восточного экспресса. Мы возили ее недуг взад и вперед по всей Европе, как младенца в колыбели, пока я не начал отчаиваться и даже подумывать – а что, если Жюстин вовсе и не хочет исцеляться? Ибо к неподвластному контролю разума проклятию, лежавшему на ее душе, она прибавила еще одно – и это было уже заболевание воли. Почему так случилось, не знаю, но она никому не открывала его имени, имени призрака. Имени, значившего для нее теперь либо все, либо ничего. В конце концов, ведь где-то в этом мире он должен был существовать, должны были сидеть и редеть от всяческих деловых хлопот и горестей его волосы, он должен был носить черную повязку на глазу, как обычно после приступа офтальмии. (Я ничего не выдумываю, описывая его, – однажды я его видел.) “Почему я должна кому-то сообщать его имя? – кричала Жюстин. – Сейчас он для меня не существует и никогда не существовал. Да он давно уже забыл о тогдашнем! Ты что, не видишь, что он мертв? Да каждый раз, как я с ним встречаюсь...” Меня словно ужалила змея. “Значит, ты с ним встречаешься?” Она незамедлительно дала задний ход. “Раз в несколько лет, случайно, на улице. Мы киваем друг другу”».

«Итак, это создание, этот образчик заурядности – он все еще дышал, все еще жил на свете! Господи, сколь фантастична и низменна ревность. Но ревность к домыслам любимой женщины – это уже на грани психического расстройств».

«И вот однажды в самом сердце Каира, когда мы застряли в автомобильной пробке, в душливой жаре летнего вечера с нами поравнялось обычное каирское такси, и что-то в выражении лица Жюстин заставило меня обернуться. Сквозь пружинящую под пальцами липкую духоту, плотную от испарений Нила, большую воню сгнивших фруктов, жасмина и потных черных тел, я разглядел ничем не примечательного человека в соседней машине. Если бы не черная повязка на глазу, его невозможно было бы отличить от тысяч других извращенных и потасканных деловых людей этого жуткого города. Явно поредевшие волосы, острый профиль, глаза как черный бисер; одет он был в серый летний костюм. На лице Жюстин столь явственно отразились смутение и боль, что я невольно вскрикнул: “В чем дело?” – и едва лишь пробка начала рассасываться и машины пришли в движение, в ее глазах зажегся диковатый огонек, и она ответила так, словно дерзила спяну: “Тот человек, за которым вы все охотитесь”. Но я понял это прежде, чем она открыла рот, и, словно в дурном сне, остановил такси и выскочил на дорогу. Я успел заметить красные задние огни его машины, свернувшей на Сулейман-пашу, слишком далеко, чтобы рассмотреть ее номер или хотя бы цвет. Гнаться за ним было бессмысленно, движение снова застопорилось. Я сел обратно в такси, меня била дрожь, я не мог вымолвить ни слова. Итак, я видел лицо человека, имя которого так долго выуживал Фрейд со всей его великой мощью, со всей его любовной беспристрастностью. Ради этого безобидного стареющего человечка Жюстин погружалась в бесчувствие, и каждый ее нерв был напряжен до предела, словно в акте левитации, а тонкий стальной голос Маньяни повторял снова и снова: “Назови мне его имя, ты должна назвать его имя”, – и откуда-то из глубин давно забытых пейзажей, где корчилась ее память, сжатая тисками родовых мук, ее голос повторял, подобно оракулу машинной эры: “Я никак не могу вспомнить. Я не могу вспомнить”».

«Тогда для меня стало совершенно очевидным, что, согласно какой-то извращенной логике, она не хочет избавиться от своего Проклятия и все старания самых лучших психиатров здесь бессильны. Вот он, чистый случай безо всякой оркестровки: здесь была и ее так называемая нимфомания, которой, как меня уверяли все эти достопочтенные джентльмены, она страдала. По временам я чувствовал, что они правы; по временам я сомневался. В любом случае существовало искушение именно здесь отыскать причину ее поступков – каждый мужчина являлся ей как намек на долгожданную свободу, свободу от удушающей замкнутости, где в неволе вскармливали секс – жирными языками яркого пламени большой фантазии».

«Может быть, мы были неправы, когда говорили об этом при ней же, когда вообще дали ей понять, что существует такая проблема; мы взлелеяли в ней чувство собственной значимости и вдобавок спровоцировали невротические метания из стороны в сторону, которых доселе не наблюдалось. В своих чувствах она была прямолинейна – как падающий топор. Она принимала поцелуи, словно за слоем слой масляной краски. Я сам себе удивляюсь, когда вспоминаю, как долго и как тщетно я искал оправданий, способных сделать ее аморальность если и не терпимой, то по крайней мере понятной. Теперь я понимаю, сколько времени я потратил таким образом совершенно впустую; вместо того чтобы наслаждаться ею и отвернуться ото всей этой суеты с мыслью: “Она прекрасна, но доверять ей ни в коем случае нельзя. Она впитывает любовь, как дерево воду, легко, бездумно”. И я смог бы бродить с ней вдоль затхлого канала, держась за руки, или плавать на лодке по сочащемуся солнцем Мареотису, наслаждаться ею, принимать ее такой, какая она есть. Что за чудесная способность быть несчастными у нас, у писателей! Я знаю только, что долгое и болезненное обследование Жюстин не только сделало ее менее уверенной в себе, но и научило ее лгать осознанно; и, что хуже всего, она стала видеть во мне врага, подстерегающего каждый ее промах, каждое слово и каждый жест, способный ее выдать. Она удвоила бдительность и в свою очередь начала обвинять меня в том, что я невыно-

симо ревнив. Может, она была и права. “Теперь ты живешь в мире моих воображаемых измен. Если говорить начистоту, я была душой, когда все тебе рассказала. Последи за собой, какие допросы ты мне устраиваешь. Одни и те же вопросы по нескольку дней кряду. Малейшее расхождение – и ты уже вне себя. Ты же знаешь, что я никогда не повторяю историю дважды слово в слово. Разве это значит, что я лгу?”

Я не внял предупреждению, напротив, я тоже удвоил усилия, пытаюсь сорвать занавес, за которым, как мне казалось, стоял мой соперник и на глазу его была черная повязка. Я все еще переписывался с Маньяни и старался собрать для него как можно больше данных, чтобы он раскрыл наконец эту тайну, – но тщетно. В тернистых джунглях импульсов вины, составляющих человеческую душу, кто может отыскать дорогу – даже если ему пытаются помочь? Где время, потраченное нами на пустые поиски того, что ей нравится, а чего она не любит? Если бы Господь благословил Жюстин чувством юмора, сколько удовольствия она могла бы получить, играя с нами. Я помню целую кипу писем, посвященных одному ее признанию: она не может прочитать на конверте слова “Washington D. C.” без ощущения неприязни. Как я раскаиваюсь сейчас, как жалею о бездарно упущенном времени – я просто должен был любить ее так, как она того заслуживала. Подобного рода сомнения не были чужды, очевидно, и Маньяни; вот что однажды он мне написал: “. . . и, дорогой мой мальчик, нам вовсе не следует забывать, что писающая в пеленки наука, которой мы занимаемся, хотя и кажется нам полной тайн и небывалых перспектив, в лучшем случае основана на чем-то не менее шатком, нежели астрология. Подумай только от этих *терминах*, которыми мы швыряемся направо и налево. Нимфоманию можно счесть иной формой девственности – при желании; что же касается Жюстин, может быть, она и вовсе еще ни разу не влюблялась. Может быть, однажды она встретит нужного человека, и все эти нудные химеры снова растворятся в первобытной невинности. Ты не должен исключать такой возможности”. Он, конечно, не хотел меня задеть – я ведь так и не позаботился примерить эту мысль на себя. Она резанула меня, только когда я прочел ее в письме этого мудрого старика».

* * * * *

Я не читал этих страниц Арноти до того самого жаркого дня в Борг-эль-Арабе, когда будущее наших с ней отношений было поставлено на карту, когда появилось что-то новое – я не решаюсь написать слово «любовь» из боязни услышать, пусть даже только вообразить ее хриловатый мелодичный смех: и где-то далеко на этот смех эхом отзовется автор дневника. Да и то сказать, я находил настолько великолепным его анализ избранного предмета, и сами наши отношения теперь настолько походили на его отношения с Жюстин, что порой я сам себя ощущал каким-то бумажным персонажем из *Moeurs*. Более того, а не занимаюсь ли я сейчас тем же, чем он когда-то, пытаюсь написать ее словами, – хотя, конечно, я не настолько талантлив, да и не претендую на имя художника. Я хочу писать просто и наживо, без стилистических изысков – белила и штукатурка; потому что портрет Жюстин должен быть сработан грубо, так, чтоб сквозь побелку светила каменная кладка.

После того, что случилось на пляже, мы некоторое время не виделись, нас одолела какая-то головокружительная нерешительность – по крайней мере, меня. Нессима вызвали по делу в Каир, и, хотя Жюстин, насколько мне было известно, осталась дома одна, я так и не смог заставить себя переступить порог студии. Как-то раз, проходя мимо, я услышал Блютнера и едва не позвонил – настолько ярким был образ Жюстин, сидящей у пианино. Затем, ночью, я шел мимо сада и увидел женщину – это была она несомненно, – идущую по берегу пруда, прикрывая ладонью пламя свечи. Я с минуту простоял у массивной двери, мучительно решая, позвонить или нет. Мелисса в то время тоже воспользовалась какой-то оказией и уехала в Верхний Египет навестить подругу. Лето стремительно набирало силу, город изнемогал от зноя. Все

свободное от работы время я проводил на переполненных пляжах, путешествуя туда-сюда на маленьком жестяном трамвае.

Но вот в один прекрасный день, когда я валялся в постели с температурой от передозировки солнца, в сырую прохладу маленькой моей квартиры вошла Жюстин в белых туфельках и белом платье, со свернутым в рулон полотенцем под мышкой, с той же стороны, что и сумочка. Темное великолепие ее волос и кожи сияло сквозь всю эту белизну волшебным и изысканно. Она заговорила, и голос ее был хриплым и нетвердым, на минуту мне показалось, что она пила, – а может, так оно и было. Она вытянула руку, облокотилась на каминную полку и сказала: «Я хочу покончить со всем этим как можно скорее. Мне показалось, что мы слишком далеко зашли, чтобы возвращаться». Я был раздавлен кошмарным нежеланием чего бы то ни было желать, роскошной мукой души и тела, не позволявшей мне ни говорить, ни думать. Я не мог представить себя с ней в постели – паутина чувств, которой мы опутали друг друга, стояла между нами; невидимая сеть привязанностей, идей и сомнений – и у меня не хватало смелости поднять руку, чтобы смести ее с дороги. Как только Жюстин сделала шаг вперед, я выдавил из себя: «У меня жуткая, затхлая постель. Я пил все это время. Я пытался даже заняться любовью самостоятельно, но у меня ничего не вышло – я все время думал о тебе». Я почувствовал, что медленно бледнею, все еще лежа на подушке, и стала вдруг пронзительно слышна тишина моей маленькой квартиры, надорванная с одного краешка водой, капавшей из прохудившегося крана. Где-то далеко визгливо крикнуло такси, и из гавани, как придушенный рев Минотавра, пришел короткий темный звук сирены. Вот теперь, подумал я, мы совершенно одни.

Комната была полна Мелиссой – жалкий туалетный столик, заваленный фотографиями и пустыми коробочками из-под пудры; изящные занавески, тихо дышавшие воздухом знойного летнего дня, как корабельный парус. Сколько раз мы уже упустили возможность, лежа рядом, видеть, как напрягаются и опадают складки прозрачного прямоугольника из светлого полотна. И наискосок, рассекая движением нежно лелеемый образ, застывший в волшебном кристалле гигантской слезы, двинулось темное точеное тело Жюстин обнаженной. Мне нужно было быть слепым, чтоб не заметить, как круто замешена на тоске ее решимость. Мы долго лежали, глаза в глаза, касаясь кожей, едва ли больше замечая друг друга, чем животную лень угасавшего дня. Уложив ее к себе поближе на сгибе локтя, я не мог отделаться от мысли – как мало мы владеем собственным телом. Я подумал об Арноти, написавшем: «Мне вдруг пришло в голову, что эта девочка как-то пугающе быстро выбила из рук моих мое оружие, мою *force morale*⁵². Я чувствовал себя так, словно меня обрили наголо». Однако французы, думал я, с их бесконечным тяготением *bonheur*⁵³ к *chagrin*⁵⁴ обречены страдать, натываясь на все, что не признает *préjugés*⁵⁵; прирожденные виртуозы и тактики, лишённые таланта выносливости, – им недостает малой толики той тупости, коей природа в избытке вооружает ум англосакса. И я подумал: «Хорошо. Пускай она ведет меня куда хочет. Она найдет во мне ровню. И в конце не будет болтовни о *chagrin*». Потом я подумал о Нессиме, который наблюдал за нами (хотя этого я знать не мог) словно в перевернутый огромный телескоп: едва различая наши крохотные фигурки на небосводе собственных затей и планов. Я очень боялся причинить ему боль.

Но она уже закрыла глаза, такие теперь мягкие и блестящие, будто отполированные молчанием, тяжело дышавшим с нами рядом. Ее мелко дрожавшие пальцы успокоились и расслабились на моем плече. Мы повернулись навстречу друг другу и сомкнулись как две половинки двери, за которой стояло прошлое, и закрыли его на ключ, и я ощутил, как быстрее счастли-

⁵² Моральную силу (*фр.*).

⁵³ Счастья (*фр.*).

⁵⁴ Печали (*фр.*).

⁵⁵ Предрассудков (*фр.*).

вые поцелуи стали сочинять наши очертания во тьме, словно за слоем слой краски. Когда мы кончили и снова пришли в себя, она сказала:

«У меня всегда так плохо получается в первый раз, почему, а?»

«Может, нервы. У меня тоже».

«А ты меня чуть-чуть боишься».

И, приподнявшись на локте, словно бы вдруг проснувшись, я сказал: «Слушай, Жюстин, что, черт возьми, мы будем со всем этим делать дальше? Если это будет...» Но тут она страшно перепугалась и прижала ладонь к моим губам: «Ради бога, не нужно оправданий! Тогда я буду знать, что мы ошиблись! Это ничем оправдать невозможно, ничем. И все-таки так должно быть». И, встав с постели, она быстро подошла к туалетному столику и одним ударом, как пантера лапой, смела все фотографии и коробочки на пол. «*Vom*, – сказала она, – как я поступаю с Нессимом, а ты с Мелиссой! Было бы нечестно притворяться, что это не так». Это куда больше было похоже на то, к чему меня приучил Арноти, и я смолчал. Она вернулась и принялась целовать меня в таком голодном запое, что мои сгоревшие плечи стали пульсировать болью и на глазах выступили слезы. «Ага! – сказала она печально и мягко. – Ты плачешь. Хотела бы я так. У меня больше не получается».

Я помню, что подумал, обнимая ее, пробуя на вкус тепло и сладость ее тела, соленого от влаги моря, – соленые мочки ушей, – я помню, что подумал: «Каждый поцелуй будет приближать ее к Нессиму и отдалять меня от Мелиссы». Но, к моему удивлению, я не испытывал ни подавленности, ни боли; она же в свою очередь, должно быть, думала о том же, потому что сказала внезапно: «Бальтазар говорит, что от природы предатели – как я и ты – на самом деле Кабалли. Он говорит, что на самом деле мы мертвы и живем словно по ошибке. И все-таки живущие не могут обойтись без нас. Мы заражаем их страстью искать то, чего нет, страстью роста».

Я пытался объяснить самому себе, как глупо все сложилось, – банальный адюльтер, самая дешевая разменная монета этого города: и насколько недостойно романтических и литературных украшений. И все же где-то там, глубже, я, кажется, уже понял, что история, в которую я впутался, рано или поздно приобретет смертельную завершенность выученного урока. «Ты слишком серьезно к этому относишься», – сказал я с некоторым даже негодованием, ибо я скользил по поверхности и не хотел, чтобы меня вытягивали из моих сонных глубин. Жюстин обратила ко мне свои огромные глаза. «Да нет же! – сказала она тихо, словно говорила сама с собой. – Было бы непростительной глупостью причинить столько зла и не понять, что это и есть моя роль. Только на этом пути, сознавая, чем я занимаюсь, я смогу когда-нибудь перерасти себя. Нелегко быть мной. Я *так* хочу сама за себя отвечать. Пожалуйста, никогда не сомневайся в том, что так оно и есть, ладно?»

Мы уснули, и меня разбудило лишь сухое щелканье ключа в замке – пришел Хамид и начал свое ежевечернее представление. Для правоверного мусульманина, чей молитвенный коврик всегда свернут в трубку на кухонном балконе и всегда готов к употреблению, он был невероятно суверен. Как говаривал Помбаль, он был «джинновидец», и, кажется, не существовало во всей квартире угла, где не скрывался бы джинн. Как мне надоело его бесконечное арабское чуранье шепотом, когда он, скажем, выливал помои в раковину на кухне, – ибо там гнезвился могущественный джинн и портить с ним отношения было небезопасно. В ванной они роились стаями, и я всегда знал, когда Хамид сидит в наружном нужнике (что ему было строго-настрого запрещено), потому что, как только он садился на унитаз, с губ его невольно слетало хрипкое обращение к духам («С вашего дозволения, о благословенные!»), что нейтрализовало джинна, способного в противном случае утащить его в канализацию. Вот и теперь я слышал, как он шлепает по кухне в своих старых войлочных тапках, словно тихо бормочущий боа-констриктор.

Я разбудил беспокойно дремавшую Жюстин и с мучительным удивлением, всегда составлявшим для меня большую и лучшую часть чувственного наслаждения, взгляделся напоследок в ее рот, в ее глаза, в ее тонкие волосы. «Нам нужно идти, – сказал я. – Скоро Помбаль вернется из консульства».

Я помню вороватую вялую осторожность, с которой мы одевались и спускались, словно подпольщики, по сумеречной лестнице к выходу на улицу. Я не решался взять ее под руку, но, пока мы шли, ладони наши то и дело невольно встречались, как будто, забыв стряхнуть очарование прожитого дня, никак не могли друг от друга отвыкнуть. Мы и расстались, не сказав ни слова, в маленьком скверике, где солнце выкрасило медленно умиравшие деревья в цвет кофе; расстались, просто обменявшись взглядом, словно хотели навеки друг в друге остаться.

Как будто весь город разом рухнул мне на голову; я брел медленно, бесцельно, как, должно быть, бродят случайно выжившие по улицам родного города, разрушенного землетрясением, глупо удивляясь, насколько изменились знакомые места. Я почему-то напрочь оглох и ничего не могу припомнить из того вечера, кроме того, что много позже я наткнулся на Персуордена и Помбаля в каком-то баре и Персуорден цитировал строки из знаменитого «Города» нашего старого поэта: несколько строчек, которые ударили меня в лицо – так, словно были написаны заново, словно я и не знал их на память. И когда Помбаль сказал: «Ты что-то какой-то рассеянный сегодня. Что случилось?» – я почувствовал желание ответить ему словами умирающего Амра⁵⁶: «Мне кажется, что небо легло на землю, а я зажат между ними и дышу сквозь игольное ушко».

⁵⁶ Амр, завоеватель Александрии, был поэт и солдат. Об арабском завоевании Э.-М. Форстер пишет: «Хотя у них и не было намерения разрушать ее, они ее разрушили, как ребенок ломает часы. Она не могла прийти в себя еще более 1000 лет».

Часть 2

Написать так много и ничего не сказать о Бальтазаре – это, конечно, серьезное упущение, ибо в каком-то смысле он – один из ключей к Городу. Ключ. Да-да, я частенько к нему присматривался в те дни, но теперь, вспоминая о прошлом, я понимаю – нужно сместить точку отсчета. Я многого не понимал тогда и многому с тех пор научился. Чаще всего мне приходят на память нескончаемые вечера, проведенные в кафе «Аль Актар» за триктраком, – Бальтазар курит свой излюбленный «Лакадиф» в трубке с длинным чубуком. Если Мнемджан – это архив Города, то Бальтазар – его платонический *daimon*, посредник между его божествами и его людьми. Звучит несколько натянуто, но что поделаешь.

Я вижу: высокий человек в черной шляпе с узкими полями. Помбаль окрестил его «ботаническим козлом». Он сухощав, слегка сутулится, у него глубокий рокочущий голос, очень красивый, особенно когда он цитирует кого-то или читает стихи. При разговоре он никогда не смотрит в лицо – особенность, присущая многим гомосексуалам. В нем это, однако, вовсе не от извращенности, которой он не только не смущается, но и относится к этой своей особенности вполне индифферентно; его желтые козлиные глаза – глаза гипнотизера. Если он и не смотрит вам прямо в глаза, то исключительно ради того, чтобы вас же уберечь от взгляда настолько безжалостного, что иначе вам пришлось бы распротиться со спокойствием духа на целый вечер. Великая тайна – откуда у него такие уродливые руки. Я бы на его месте давно отрезал их и выбросил в море. На подбородке у него произрастает одинокий завиток черных волос – вроде того, что встречаешь порой над копытом мраморного Пана.

Бывало, бродя с ним вдвоем вдоль канала над тусклым бархатом густой кофейной жижи, я ловил себя на том, что пытался вычислить ту неуловимую черту, которая так меня в нем привлекала. Тогда я еще ничего не знал о Кружке. Бальтазар много читает, но речь его отнюдь не перегружена разного рода литературщиной, как у Персуордена. Он любит поэзию, любит притчи, любит науку и софистику – но за шахматными ходами его мысли кроются здравый смысл и деликатность. Есть кое-что и глубже, под деликатностью, – некое глухое эхо, оно придает его мысли густоту и плотность. Он склонен говорить афоризмами и смахивает порой на такого местного оракула. Теперь я понимаю, что он относится к числу тех редких людей, которые выстроили для себя философскую систему и нашли свое призвание в том, чтобы по мере сил ей соответствовать. Вот здесь-то, мне кажется, и скрывается то не поддающееся анализу свойство, что придает его манере говорить остроту английской бритвы.

Он врач и большую часть своего рабочего времени проводит в государственной венерической клинике. (Однажды он сухо обронил: «Я живу в самом центре жизнедеятельности этого города – в его мочеполовой системе: отрезвляющее, надо сказать, местечко».) И еще – он единственный известный мне человек, педерастические наклонности которого никак не отразились на врожденном мужском складе ума. Он не пуританин, но и не наоборот. Несколько раз я врвался в его маленькую комнату на Рю Лепсиус – в комнату со скрипучим камышовым креслом – и заставал его спящим в одной постели с каким-нибудь матросом. Он не выказал никакого смущения и даже не пытался как-то объяснить присутствие своего приятеля. Одеваясь, он иногда поворачивался, чтобы подоткнуть вокруг спящего простыню. Подобную неприужденность я воспринимал как комплимент.

В нем много разного понамешано: иногда я слышал, как голос его дрожит от переизбытка чувств, когда он толкует какой-нибудь аспект каббалы и старается прояснить его для членов кружка. Но однажды, когда я с воодушевлением рассуждал о некоторых его замечаниях, он вздохнул и сказал с великолепным александрийским скепсисом, который непостижимым образом угадывается за безраздельной верой и приверженностью Гносису: «Все мы ищем разумных доводов, чтобы уверовать в абсурд». В другой раз, после долгого и утомительного спора

с Жюстин о среде и наследственности, он сказал: «Ах, моя дорогая, после того как философы потрудились над нашей душой, а врачи – над нашим телом, что можем мы знать о человеке достоверно? Только то, что он, когда все сказано и сделано, – всего лишь труба для прохождения жидкостей и твердых тел, бочонок мяса».

Он учился вместе со старым поэтом и дружил с ним, и о нем он говорит всегда так тепло и так проникновенно, что каждый раз меня пробирает до костей, о чем бы он ни вспоминал: «Иногда мне кажется, что от него я научился куда большему, чем ото всех моих философских штудий. Будь он религиозным человеком, его умение находить невероятное равновесие между иронией и нежностью сделало бы из него святого. Однако он был всего лишь божьей милостью поэт и зачастую несчастен, но, когда ты находился с ним рядом, возникало такое чувство, словно он ловит каждую пролетающую минуту и поворачивает ее счастливой стороной, с ног на голову. Он, конечно, загнал себя до смерти, там, внутри. В большинстве своем люди лежат смиренно и позволяют жизни играть с собой, как с теплыми струйками душа. Картезианскому кредо «Я мыслю, значит, существую» он противопоставил свое собственное, которое могло бы звучать как-нибудь вроде: «Я наделен воображением, значит, я принадлежу и свободен».

О себе Бальтазар говорит уклончиво: «Я еврей, а это подразумевает кровожадную еврейскую страсть все и вся объяснять. По этой статье можно списать кое-какие из недостатков моего мышления, их-то я и пытаюсь уравновесить тем, что за их вычетом от меня остается, – в основном каббалой».

* * * * *

Еще я помню, как встретил его однажды холодным зимним вечером: я шел вдоль по вылизанной дождем Корниш и уворачивался от внезапных потоков соленой воды из водосточков вдоль парапета. В черепе под черной шляпой звенят Спорады и Смирна – места его детства. Под черной шляпой – неотвязный проблеск истины; позже он пытался сделать его зримым и для меня: на английском, ничуть не менее безупречном оттого, что язык ему пришлось учить. Не стану отрицать, мы встречались и раньше, но мельком: и снова разошлись бы, молча кивнув друг другу, если бы он не остановил меня в полном смятении и не схватил за руку. «Вы мне поможете? – воскликнул он, хватая меня за руку. – Пожалуйста, помогите мне!» Его бледное лицо с мерцающими козлиными глазами наклонилось ко мне в подступающих сумерках.

Первые бесцветные фонари уже начали неумело натягивать влажный бумажный занавес Александрии. Линия набережной, повторенная корявой линией кафе, полупроглоченных соленой дымкой, фосфоресцировала неровным грязноватым светом. Дул южный ветер. За камышовой гущей припал к земле Мареотис, мускулистый, как играющий сфинкс. Он потерял, сказал он, ключик от часов – великолепного золотого карманного хронометра мюнхенской работы. Позже мне показалось, что за явной назойливостью он пытался спрятать тот иероглифический смысл, который имели для него эти часы: представительный символ свободного ото всяких обязательств времени, текущего сквозь его тело и сквозь мое, и эта допотопная маленькая машинка вот уже столько лет внимательно за всем следила. Мюнхен, Загреб, Карпаты... Часы принадлежали его отцу. Долговязый еврей, одетый в меха, на санях, и в руках его – вожжи. Он ехал в Польшу у матери на руках и всю дорогу только и знал, что ее бриллианты, оправленные в заснеженный зимний пейзаж, были холодны как лед. Часы тихо тикали где-то в теле его отца и в его собственном теле тоже – время бродило в них, как дрожжи. Заводились они маленьким ключиком в форме анкха, который он держал привязанным на кусочке черной ленты к общей связке. «Сегодня суббота, – прокаркал он, – в Александрии». Он говорил так, словно здесь обитала совершенно особая разновидность времени, и не так уж он был и неправ. «Если не найду ключа – остановится». Отсыревший закат догорел окончательно, он бережно вынул хронометр из блеснувшего шелком жилетного кармана. «До понедельника, до вечера. Потом оста-

новится». Без ключа не имело смысла открывать изящную золотую крышку и обнажать пульсирующие кишочки времени... «Я все уже обыскал, три раза кряду. Я, должно быть, обронил его где-то между кафе и больницей». Я бы с радостью помог ему, но сумерки быстро густели; и после того, как мы некоторое время побродили, исследуя щели между булыжниками, поиски пришлось оставить. «Но ведь вы наверняка можете заказать новый ключик», – сказал я. «Да, – ответил он раздраженно. – Могу. Но вы не понимаете. Он был именно от этих часов. Он был их частью».

Мы зашли, насколько я помню, в какое-то кафе на набережной и некоторое время уныло сидели над чашечками черного кофе, покуда он каркал про свои замечательные часы. Именно тогда, я уже не помню, в какой связи, он сказал: «Вы, кажется, знакомы с Жюстин. Она очень тепло о вас отзывалась. Она приведет вас в Кружок». – «О чем речь?» – спросил я. «Мы изучаем каббалу, – сказал он почти застенчиво, – нечто вроде маленькой логи. Она говорила, что вы немного разбираетесь в каббале и что вам было бы небезынтересно...» Меня это удивило до крайности – насколько я мог вспомнить, я никогда не упоминал при Жюстин ни о каких моих изысканиях в этих сферах, а я действительно им предавался в промежутках между долгими приступами летаргии и самоедства. И, насколько мне было известно, маленький чемоданчик с «Герметикой» и другими подобными книгами всегда был заперт и спрятан у меня под кроватью. Как бы то ни было, я смолчал. Потом он заговорил о Нессиме: «В каком-то смысле он счастливее нас всех – он никогда не знал заранее, чего он хочет в обмен на свою любовь. А влюбляться так просто, так непосредственно люди обычно учатся заново лишь после пятидесяти. Дети умеют. Он тоже. Я серьезно».

«Вы знали писателя по имени Арноти?»

«Да. Автор *Moeurs*».

«Расскажите мне о нем».

«Он прямо-таки ворвался к нам, но так никогда и не увидел града духовного за этим, погрязшим во времени. Одаренный, тонко чувствующий, но уж очень француз. Когда он встретил Жюстин, она была еще слишком молода, чтобы он смог добиться от нее чего-нибудь, кроме боли. Просто не повезло. Найди он кого-нибудь постарше – все наши женщины, знаете ли, в своем роде Жюстин, – он смог бы – я не скажу писать лучше, потому что книжка хорошо написана, но он смог бы отыскать в ней, в книге, некое решение, способное и впрямь сделать ее произведением искусства».

Он замолчал и глубоко затянулся трубкой, прежде чем добавить, медленно: «Видите ли, в своем романе он просто не стал связываться со многими вещами, имевшими к Жюстин самое прямое касательство, по чисто художественным соображениям – вроде этой истории с ребенком. Мне кажется, он считал, что она слишком отдает мелодрамой».

«Что за ребенок?»

«У Жюстин был ребенок, от кого – я не знаю. Его похитили; в общем, он исчез. Около шести лет от роду. Девочка. Такие вещи в Египте происходят достаточно часто, да вы сами знаете. Позже до нее дошло, что девочку то ли видели, то ли слышали о ней, и она принялась обшаривать арабские кварталы всех здешних городов, каждый бордель, который могла найти, вы ведь знаете, что бывает в Египте с детьми, у которых нет родителей. Арноти об этом ни разу не упоминает, хотя он часто помогал ей в поисках, и не мог же он не увидеть в этом одну из причин того, что она несчастна».

«А кого Жюстин любила до Арноти?»

«Не помню. Знаете, многие из любовников Жюстин остались ее друзьями; но мне гораздо чаще приходит на ум другое – по-моему, самые близкие ее друзья никогда с ней не спали. Этот город скор на сплетни».

Но я уже думал о том месте в *Moeurs*, где Жюстин знакомит его с кем-то из своих любовников. Арноти пишет: «Она обняла этого человека, своего любовника, так нежно, прямо

передо мной, и принялась целовать его глаза и губы, его лицо и даже его руки – я остолбенел. А потом меня пронзила, до дрожи, мысль, что на самом-то деле она целовала *меня*».

Бальтазар сказал тихо: «Слава Богу, что у меня в любви иные интересы. По крайней мере, гомосексуал избавлен от этой жуткой борьбы за то, чтобы отдать себя другому. Когда лежишь с себе подобным и получаешь свое, всегда есть возможность оставить участок мозга свободным, чтобы думать о Платоне, или о садоводстве, или о дифференциальном исчислении. Секс сейчас покинул тело и ушел в воображение; Арноти именно из-за этого так мучился с Жюстин, она ведь охотилась за тем, что он так тщательно оберегал, – за художником, который в нем жил, если хотите. Он, в конце концов, нечто вроде уменьшенной копии Антония, а она – Клеопатра. Шекспир обо всем этом уже написал. Ну а что до Александрии, понимаете теперь, почему этот город есть самое логово инцеста? Ведь культ Сераписа был основан именно здесь. Если сердце твое и чресла иссушены тем, что здесь называют любовью, поневоле обратишься к себе же, к своей тени, к сестре. Любовник отражается в собственной семье, как Нарцисс в тихой заводи: и из этого тупика не выбраться».

Я не очень-то во всем этом тогда разобрался, но все же сумел почувствовать некую смутную взаимосвязь между образами, которыми он жонглировал; и конечно же, многое из сказанного не то чтобы объясняло, но предлагало изящную рамку к портрету Жюстин – темное, неистовое создание, чей прямой энергичный почерк впервые донес до меня эту цитату из Лафорга: «*Je n'ai pas une jeune fille qui saurait me goûter. Ah! oui, une garde malade! Une garde malade pour l'amour de l'art, ne donnant ses baisers qu'à des mourants, des gens in extremis...*»⁵⁷ Ниже она приписала: «А. часто цитировал. Случайно встретила у Лафорга». «Вы разлюбили Мелиссу? – внезапно спросил Бальтазар. – Я ее не знаю. Только внешне. Простите меня. Я сделал вам больно».

Как раз тогда я начал понемногу осознавать, какую боль причиняю Мелиссе. Но я не слышал от нее ни слова упрека, и о Жюстин она не говорила. Изменился только цвет ее тела, на более тусклый, цвет нелюбимой женщины; и, как ни странно, хотя я едва мог войти в нее теперь без усилия воли, я чувствовал, что люблю ее глубже, чем когда-либо. Меня снедали несовместимые чувства; и ощущение подавленности, ранее мне незнакомое; поэтому иногда я на нее сердился.

Как это было непохоже на Жюстин, которая жила в таком же несоответствии между идеями и желаниями, когда писала: «Кто, черт возьми, придумал человеческое сердце? Скажите мне, а потом покажите место, где его повесили».

* * * * *

Кружок. Специфическая тема для разговора. Александрия – город сект и ересей, и на каждого аскета она всегда производила на свет по либертину от религии – Карпократ, Антоний, – готовых увязнуть в чувственности столь же глубоко и искренне, как пустынный – в духе. «Ты говоришь о синкретизме пренебрежительно, – сказал как-то Бальтазар, – однако ты должен понять, что для того, чтобы вообще работать здесь – я говорю сейчас как верующий, как истово верующий, не как философ, – необходимо свести воедино две поведенческие крайности, порожденные не умственными наклонностями александрийцев, но здешней почвой, воздухом, пейзажем. Я имею в виду крайнюю степень чувственности и интеллектуальный аскетизм. Историки считают, что синкретизм рождается от соединения непримиримых принципов мышления; навряд ли это применимо к нам. И дело даже не в смешении рас и языков. Просто

⁵⁷ «Я не знаю девушки, которая могла бы мне подойти. Ах да, вот разве что сиделка! Сиделка из любви к искусству, что дарит свои поцелуи лишь смертникам, людям *in extremis...*» (*фр.*) *In extremis* (*лат.*) – на последнем издыхании, перед кончиной.

есть у александрийцев такой национальный пунктик: искать согласования двух глубочайших психологических особенностей из всех, которые они за собой знают. Вот почему мы все истерики и экстремисты. Вот почему мы все – непревзойденные любовники».

Здесь не место писать о том, что я знаю о каббале, даже если бы я всерьез решился сформулировать «экзотерические основы Гносиса»; и никакой герметист восходящего пути не смог и не стал бы – поскольку любые такого рода фрагменты откровения уходят корнями в Мистерии. И не потому, что говорить об этом нельзя. Но разделить с тобой твой опыт может только посвященный.

Я окунулся во все это раньше, еще в Париже, уверенный, что смогу отыскать тропинку, ведущую к более глубокому пониманию собственной сути – которая представлялась мне тогда громоздким, беспорядочным и бесформенным общежитием порывов и страстей. Я считал эту область знания полезной для себя, хотя национальный и врожденный скептицизм и не давал мне полностью увязнуть в тенетах какой-нибудь сектантской веры. Около года я проучился у суфи Мустафы, сидя по вечерам на шаткой деревянной террасе его дома и слушая его мягкий паутинный голос. Я пил шербет с турком – знатоком тайн Корана. И вот теперь с легким ощущением того, что все это уже было, я протискивался рядом с Жюстин сквозь толпу по криклым улочкам на холме у форта Ком-эль-Дик, пытаюсь представить себе, как все здесь выглядело, когда было парком, посвященным Пану, – крошечный коричневый холмик, изрезанный, точно еловая шишка. От самой тесноты здешних улиц веяло каким-то уютом, хотя стояли вдоль них лишь муравейники доходных домов с маленькими кафе в полуподвалах, где на стенах – фитильные лампы. Странное чувство покоя населяло этот крохотный уголок города – покоя, отдававшего привкусом деревенской атмосферы Дельты. Ниже, на амфорном фиолетово-коричневом «мейдане» у вокзала, теряясь в блеклых сумерках, маленькие кучки арабов собирались вокруг фехтовальщиков на палках, и резкие их крики глохли в блеклых сумерках. На юге светился тусклый диск Марейотиса. Жюстин шагала с привычной поспешностью, молча, неодобрительно оглядываясь на меня, когда я отставал, чтобы глянуть мельком сквозь открытые двери на маленькие, освещенные наподобие кукольных представлений домашние сцены, полные, казалось, потрясающей драматической значимости.

Кружок каббалистов собирался тогда в заброшенной сторожке, прилепившейся к земляному боку набережной совсем неподалеку от колонны Помпея. Выбор подобного *venue*⁵⁸ был вызван, очевидно, тем нездоровым интересом, который египетская полиция питала ко всякого рода собраниям. Где-то в путанице траншей и насыпей, рожденных фантазией археологов, мы отыскивали тропинку, ведущую к каменным воротам, а потом, несколько раз круто повернув под прямым углом, – вошли в большое неуютное помещение с полом из утрамбованной глины, одна из стен которого была земляным боком набережной.

В Кружок входило человек двадцать, из самых разных частей города. С некоторым удивлением я обнаружил в углу худую усталую фигуру Каподистриа. Здесь же был, естественно, и Нессим, но в общем-то представителей богатых и образованных кварталов я насчитал немного. Был, к примеру, престарелый часовщик, его я прекрасно знал в лицо – элегантный седой человек с суровыми чертами лица, которым, как мне всегда казалось, не хватало для полной завершенности лишь скрипичной деки у щеки. Несколько блеклых пожилых дам. Химик. Бальтазар сидел перед ними на низеньком стуле, положив уродливые руки на колени. Я сразу узнал в нем, непривычно изменившемся, того завсегдатая кафе «Аль Актар», с которым как-то раз играл в триктрак. Еще несколько разрозненных минут прошли в перешептываниях, пока общество дожидалось запоздалых членов; затем старый часовщик встал и попросил Бальтазара начать, и мой теперешний друг откинулся на стуле, закрыл глаза и резким каркающим голосом, постепенно обретавшим необычайную мощь и глубину, стал говорить. Речь шла,

⁵⁸ Убежища (фр.).

насколько я помню сейчас, о *fons signatus*⁵⁹ человеческой души и о ее способности постичь изначальную упорядоченность вселенной, скрытую за внешней бесформенностью и случайным характером явлений. Дисциплина духа может наделить человека способностью проникать за покров действительности и открывать в пространстве и времени гармонию, согласную с внутренним строем его собственной души. Но изучение каббалы есть одновременно и наука и религия... – все это было, конечно же, вполне знакомо. Но сквозь рассуждения Бальтазара прорывались порой блестящие непривычных мыслей, облаченных в скользкую плоть афоризма, далеко не столь простых, как то могло показаться на первый взгляд, – они-то и терзали меня еще долгое время после нашей первой встречи. Я помню, как он сказал, к примеру: «Высшее достижение великих религий – возведение сложной иерархии запретов. Но запрет рождает ту самую страсть, которую он призван излечить. Мы, каббалисты, говорим – *не отвергай, но очищай*. Мы принимаем все, дабы приблизить полноту человека к полноте вселенной, – даже удовольствие, разрушительный распад духа в наслаждении на отдельные монады».

Общество состояло из «внутреннего» кружка посвященных (Бальтазар поморщился бы при этом слове, но я не знаю лучшего) и «внешнего» – учеников, куда входили и Жюстин с Нессимом. «Внутренний» кружок включал в себя двенадцать человек, рассеянных по всему Средиземноморью – Бейрут, Яффа, Тунис и так далее. И везде были маленькие академии, где студенты учились владеть той странной, одновременно рациональной и эмоциональной системой счисления, которую каббала выстроила вокруг идеи Бога. Члены «внутреннего» общества состояли в оживленной переписке, используя забавную древнюю форму письма, так называемый *бустрофедон*, где строчки читались – одна справа налево, а следующая – слева направо. Но буквы, составляющие эти строки, были идеограммами для состояний ума и духа. Я сказал достаточно.

В тот первый вечер Жюстин сидела между нами, слегка касаясь наших рук, и слушала – с трогательным вниманием и покорностью. Временами взгляд говорящего останавливался на ней – как на добром старом знакомом. Знал ли я уже тогда – или позже, гораздо позже открыл для себя, что Бальтазар был, пожалуй, единственным ее другом, а уж наверняка – единственным во всем городе конфидентом? Не помню. («Бальтазар – единственный человек, которому я могу сказать все. Он только смеется. Но каким-то образом это заставляет рассеяться ту пустоту, которая во всем, за что я ни возьмусь».) Не кому иному, как Бальтазару, писала она длинные, полные самокопания письма, столь занимавшие дотошного Арноти. Как-то в ее дневнике я наткнулся на запись о том, как однажды ночью их пустили в музей и как она сидела больше часа, окруженная статуями, «безглазыми, словно в страшном сне», и слушала, как он говорит. Многое из того, что он сказал тогда, задело ее за живое, но когда позже она попыталась вспомнить и записать хоть что-то – ничего не осталось. Однако она помнит, как он говорил задумчиво и тихо о «тех из нас, кому суждено принести свои тела в жертву людоедам», и помнит, что эта мысль пробрала ее до костей – прямое указание на жизнь, которую она вела. Что до Нессима, я помню, как он рассказывал мне о том, что однажды, когда он был на грани нервного срыва из-за Жюстин, Бальтазар бросил ему сухо: «*Omnis ardentior amator propriae uxoris adulter est*»⁶⁰. И добавил немного погоды: «Я говорю как каббалист сейчас, не как частное лицо. Страстная влюбленность в собственную жену – тоже адюльтер».

⁵⁹ Источнике значений (лат.).

⁶⁰ «Всякий, кто любит неводержанно, изменяет супруге своей». Цитата из «Изречений» Секста, предположительно I в. н. э., в латинском переводе. Sextus Sent., 231.

* * * * *

Александрия, вокзал, полночь. Обильная роса, смертельный холод. Чавканье автомобильных шин по грязной мостовой. Желтые лужи фосфорического света, коридоры темноты, как бреши в унылых кирпичных фасадах станционных построек. Полицейские в пятнах тьмы. Грязный волглый кирпич сквозь рубашку – я прислонился к стене, чтобы поцеловать ее на прощание. Она уезжает на неделю, но сквозь полусон я в ужасе понимаю, что она может не вернуться. Мягкий уверенный поцелуй и ясные глаза заливают меня пустотой. Перезвук ружейных прикладов и птичий щебет голосов на бенгали на темной платформе. Подразделение индийских пехотинцев следует в Каир, рутинная перетасовка гарнизонов. Только когда поезд трогается, когда женская фигура в окне, темная на темном, выпускает мою руку, я чувствую, что Мелисса действительно уезжает; чувствую все то, что становится добычей ночи, сразу – длинное движение поезда в серебристых сполохах света вдруг совмещается с длинным движением ее смутно белеющей спины в полумраке, в постели. «Мелисса», – срывается с моих губ, но паровоз обнюхивает рельсы, и все другие звуки бесследно исчезают. Она начинает качаться, искривляется и гаснет за стеклом; вокзал, как проворный рабочий сцены, пронесит мимо меня рекламу за рекламой и мечет их во тьму. Я остаюсь, словно брошенный на айсберге. Рядом со мной высокий сикх забрасывает на плечо винтовку, в ствол которой он вставил розу. Уже лишённые плоти очертания вагонов скользят по рельсам все дальше и дальше; последний поворот, и поезд, трансмутируя в жидкость, вливается в тоннель.

Всю ночь брожу вдоль Мохаррем-Бей, глядя на луну сквозь облака, гонимый невыразимой тоской.

Яркий свет за облаками; около четырех часов утра по мне булавочками проходит мелкий частый дождь. Окоченевшие пуансеттии за оградой консульства, с каплями, застывшими на тычинках. Птицы на заре не пели. Ближе к утру слабый ветер заставлял пальмы слегка нагнуть лохматые головы: принужденные поклоны, легкий скрип. Упоительный шорох дождя на Мареотисе.

Пять часов. Хожу по ее комнате, сосредоточенно изучая неодушевленные предметы. Пустые коробочки из-под пудры. Средство для удаления волос, сделано в Сардах. Запах атласа и кожи. Кошмарное чувство, словно надвигается грандиозный скандал...

Я пишу эти строки совсем в иной обстановке, и много месяцев пролетело с той ночи; здесь, под оливой, в мелком озерце света от масляной лампы, я пишу и переживаю заново ту ночь, которая уже успела занять свое скромное место в бездонных хранилищах памяти Города. Где-то здесь же, поодаль, сидит в огромном занавешенном коричнево-желтыми гардинами кабинете Жюстин и списывает в дневник страшные афоризмы Гераклита. Сейчас эта тетрадь передо мной. На одной из страниц она написала: «Трудно противостоять желаниям сердца: если оно чего-то очень захочет, купит за любую цену и заплатит душой». И ниже, в скобках: «Сомнамбулы, маги, бакши, ленаи и *посвященные*...»

* * * * *

Не в это ли самое время Мнемджян встревожил меня, прошептав мне в самое ухо: «Коэн умирает, вы знаете?» Старого меховщика не было видно уже несколько месяцев. Мелиссе кто-то сказал, что он в больнице и что у него уремия. Но изменилась орбита, которую мы с ним привычно описывали вокруг этой женщины, – поворот калейдоскопа, и вот он утонул, ушел из поля зрения, как выпадает из узора кусочек цветного стекла. И так, теперь он умирает. Я ничего не сказал в ответ, я просто сидел и перебирал про себя все наши встречи на углах и в барах – уже, стало быть, успевшие стать прошлым. Молчание затянулось; Мнемджян аккуратно под-

правил мне бритвой височки и принялся работать пульверизатором. Потом осторожно вздохнул и продолжил: «Он все время зовет вашу Мелиссу. День зовет, ночь зовет».

«Я ей передам», – сказал я. Маленький агент памяти кивнул, и в глазах его зашевелились пушистые облачка соучастия. «Это ужасное заболевание, – сказал он еле слышно, – от него так пахнет. Они скребут ему язык лопаточкой. Фуй!» И он направил пульверизатор вверх, в потолок, словно для того, чтобы продезинфицировать память, словно запах мочи проник и в его парикмахерскую.

Мелисса лежала на диване в халате, отвернувшись к стене. Я было подумал, что она спит, но стоило мне войти, она повернулась и села. Я пересказал ей Мнемджанову новость. «Я знаю, – сказала она. – Они прислали мне из госпиталя записку. А я что могу поделаться? Я не хочу туда идти, не хочу его видеть. Он ничего не значит для меня, не значил и значить не будет». Я сел и еще раз воскресил в памяти ручного тюленя, грустно глазающего в стакан. Мелисса, мне думается, приняла мое молчание за упрек – она подошла и осторожно положила руки мне на плечи: я очнулся. «Но он же умирает», – сказал я, – для себя самого, пожалуй, не в меньшей степени, чем для нее. Она вдруг словно сломалась, упав на пол и уронив голову ко мне на колени. «Господи, как мучительно от всего этого! Ну пожалуйста, не заставляй меня туда идти!»

«Нет, конечно».

«Нет, если ты считаешь, что так нужно, я пойду».

Я снова промолчал. В каком-то смысле Коэн был уже мертв и похоронен. Он утерять свое место в нашей истории, и тратить на него эмоции, какую-то энергию дальше было, наверное, бессмысленно. Все это уже не имело никакого отношения к еще живому человеку, который лежал в больничной палате с чисто выбеленными стенами среди самостийно тасующихся частей своего собственного старого тела. Потому что отныне он стал для нас просто персонажем из древней истории. И все же он был здесь, он упрямо настаивал на своем праве быть, он снова пытался войти в наши жизни, в иной точке орбиты. Что могла Мелисса дать ему теперь? В чем она могла ему отказать?

«Хочешь, я схожу?» – спросил я. Внезапно меня посетила безумная мысль, что здесь, в смерти Коэна, я смогу провидеть судьбу моей собственной любви – и ее смерть. То, что некто *in extremis*, взывающий к помощи любимого когда-то человека, может получить в ответ всего лишь пару раздраженных междометий, напугало меня. Что-либо изменить было уже невозможно, эта женщина принадлежала мне, и старик утратил право на ее сострадание, даже просто на интерес к своей судьбе – она вступила в сезон иных горестей, на фоне которых блекли и терялись старые. Пройдет еще немного времени, и что, если она позовет меня или мне понадобится ее участие? Отвернемся ли и мы друг от друга с таким же восклицанием, за которым – лишь отвращение и пустота? Любовь, любая любовь предстала предо мной в истинном своем обличье: тот абсолют, что отнимает все и ничего не гарантирует взамен. Все прочие чувства: сострадание, нежность и так далее – существуют только на периферии и проходят по ведомствам привычки и общественных отношений. Но сама она – суровая и безжалостная Афродита – язычница. Не разум наш, не инстинкты, не это ей нужно – но самое наше нутро. Страшно подумать, этот старик даже у края могилы не может утешить себя хотя бы минутным теплом от воспоминания о чем-то, что он когда-то сказал или сделал: и в этой малой толике тепла ему отказала женщина, самая преданная и милосердная из смертных.

Быть забытым вот так – все равно что умереть смертью пса. «Я пойду и навещу его вместо тебя», – сказал я, хотя подобная перспектива отнюдь меня не грела; но Мелисса уже спала, разметав свои темные волосы по моим коленям. Когда бы ни приходилось ей тяжело, она находила убежище в бесхитростном мире сна, ускользая в небытие так же просто и естественно, как лань или ребенок. Я осторожно раздвинул полы выцветшего кимоно и стал тихо поглаживать ее маленькие груди, ее проглядывающие сквозь кожу ребра. Она встрепенулась в полусне и все

бормотала что-то невнятное, пока я бережно поднял ее на руки и перенес обратно на диван. Я долго смотрел на нее спящую.

Уже стемнело, и город тихо дрейфовал к ярким огням кафе на центральных улицах, словно плавающий остров, подушка из водорослей. Я пошел к Паструди, заказал двойной виски и выпил его медленно и вдумчиво. Затем взял такси и поехал в госпиталь.

Я шел за дежурной сестрой по длинным безликим коридорам, стены которых, выкрашенные зеленой масляной краской, дышали липкой влагой. Из-под потолка за нами следили застывшие неестественно белые лампы, похожие на распухших светляков.

Его поместили в крохотную палату с одной-единственной койкой под балдахином; как мне позже сказал Мнемджян, эта палата была зарезервирована для безнадежных больных, которым оставалось жить буквально считанные дни. Поначалу он меня не заметил, ибо лицо его выразило лишь неприязнь и усталость, когда сестра принялась взбивать ему подушки. Я был поражен спокойной, обдуманной уверенностью, написанной на этом лице, исхудавшем почти до неузнаваемости. Плоть иссохла, кожа туго облепила скулы, обнажив до самого основания длинный, с легкой горбинкой нос, сделав заметнее изящный вырез ноздрей. Рот и нижняя челюсть вернули себе энергические очертания, характерные, должно быть, для его лица в ранней молодости. Горячка оставила под глазами синяки, а подбородок и горло заросли густой черной щетиной, но сквозь все эти тени просвечивали линии его нового лица, чистые, как у тридцатилетнего мужчины. Те образы, которые я долго носил в своей памяти – потный дикобраз, дрессированный тюлень, – немедленно растворились, и на смену им пришло новое лицо, новый человек, похожий на одного из зверей Апокалипсиса. Нескончаемую минуту простоял я поодаль, наблюдая за ним, за незнакомцем, принимавшим хлопоты сестры с сонной царственной усталостью. Дежурная сестра прошептала мне на ухо: «Хорошо, что вы пришли. Никто к нему не ходит. Он бредит иногда. Потом приходит в себя и зовет людей. Вы родственник?»

«Деловой знакомый», – сказал я.

«Ему это на пользу пойдет, если увидит кого знакомого».

Интересно, узнает ли он меня, подумал я. Если я изменился хоть вполовину против него, можно считать, что мы никогда и не встречались. Теперь он откинулся на подушку, и дыхание со свистом вырывалось из длинного лисьего носа, возвышавшегося посреди его лица со спокойным достоинством, подобно гордой деревянной фигуре на носу покинутого командой корабля. Наши перешептывания встревожили его – он обратил в мою сторону слегка неуверенный, но вполне ясный и осмысленный взгляд, взгляд хищной птицы. Он меня не узнал, пока я не качнулся вперед и не сделал несколько шагов по направлению к его постели. И тут в одно мгновение глаза его брызнули светом – причудливая смесь унижения, задетой гордости и простодушного страха. Он отвернулся к стене. Я выпалил все, что имел сказать единым духом. Мелиссы в городе нет, сказал я, но я телеграфировал ей, чтобы приезжала как можно скорее; а пока пришел узнать, не смогу ли я сам быть хоть чем-то полезен. Его плечи вздрогнули, и мне показалось, что сейчас с его губ сорвется невольный стон; но вместо стона я услышал в конце концов смешок, резкий, бездумный и немзыкальный. Словно в ответ на призрак старой шутки, такой избитой и надоевшей, что и не могла она вызвать ничего, кроме брезгливого полудвижения уголков этого мертвенного рта в туго натянутой коже щек.

«Я знаю, что она здесь», – сказал он; одна его рука дернулась, как испуганная крыса, и, пробежав по покрывалу, схватила мою. «Благодарю за любезность». Он произнес эти слова, и мне показалось, что тут же, совершенно внезапно, обрел спокойствие духа, – хотя лица его я не видел. «Мне хотелось, – медленно сказал он: так, словно собрал волю в кулак, желая придать фразе единственно возможную точную форму. – Мне хотелось рассчитаться с ней по совести. Я вел себя отвратительно. Она, конечно, не замечала; она слишком простодушна, но она

хорошая, очень хорошая девочка». Странно было слышать слова «*bonne copine*»⁶¹ из уст александрийца, да еще произнесены они были с той тягучей напевной интонацией, которая столь характерна для здешних образованных классов. Затем он добавил, с видимым усилием, явно переступив через себя: «Я обманул ее – с шубой. На самом деле это был котик. Да еще и траченный молью. Я просто велел ее перелицевать. Зачем я так сделал? Когда она болела, я не дал ей денег, чтобы сходить к врачу. Мелочи, но весят тяжело». В уголках его глаз набрякли слезы, горло перехватило, словно от реальной тяжести совершенного. Он громко сглотнул и сказал: «Это вовсе не в моем характере. Спросите любого делового человека, меня многие знают. Любого спросите».

Но мысли его уже начали путаться, и он постепенно увел меня, мягко взяв за руку, в непролазные дебри бреда: он брел по ним такой уверенной поступью и так спокойно вернулся в этот лес, что я едва ли не обрел способность видеть его глазами. Незнакомые деревья смыкались над ним, скользя ветками по лицу; тряслась на литых колесах по белому булыжнику допотопная карета скорой помощи, темная внутри, переполненная металлическими предметами и смуглыми телами других людей, и все они говорили о преддверии ада – омерзительное нытье, перемежаемое арабскими подвываниями. Боль; она тоже начала подниматься к его мозгу, вытесняя одни картины бреда, заменяя их другими. Твердые белые каретки его койки стали коробками, полными разноцветных брикетов, белый температурный лист – лицом лодочника.

Они тихо скользили, Мелисса и он, по мелким кроваво-красным водам Мареотиса, обняв друг друга, в сторону кучки глинобитных хижин – когда-то здесь стоял Ракотис⁶². Он воспроизвел разговор с безупречной достоверностью, и, хотя женская партия лишь подразумевалась, я тем не менее отчетливо слышал ее спокойный голос и из его ответов выводил ее вопросы. Она безнадежно пыталась убедить его жениться на ней, а он ловчил, не намеренный лишать себя ее очарования и в то же время не желая себя связывать. Что меня заинтриговало: та необычайная точность, с которой он повторил весь разговор, явно занимавший в его памяти место одного из сильнейших за всю жизнь переживаний. Он еще не осознавал тогда, как сильно любит ее; должен был появиться я, чтобы преподать ему урок. А с другой стороны, как так вышло, что Мелисса никогда не говорила со мной о замужестве, никогда не показывала мне всей глубины своей слабости и усталости: так, как ему? Это меня задело, и задело всерьез. Сама мысль, что она могла показать ему тот срез своей личности, который оставался до сих пор от меня сокрытым, была с трудом переносима для моего мужского тщеславия.

Сцена вновь переменялась, и он впал в иное, более светлое состояние духа. Словно продравшись сквозь необозримые джунгли безумия, мы вышли к пустошам здравого смысла, где он смог наконец скинуть с себя груз поэтических иллюзий. Здесь он тоже говорил о Мелиссе, и тоже с чувством, но уже спокойно, как муж или как король. Как будто теперь, когда плоть его умирала, все сокровища, так долго дремавшие под спудом фальшивого золота неправильно и несправедливо прожитой жизни, хлынули вдруг через открывшиеся люки и затопили авансцену его мозга. Там была не только Мелисса, он говорил и о своей жене – и иногда путал их имена. Было еще третье имя, Ревекка, произносимое весьма осторожно и с куда более страстной печалью, чем первые два. Не иначе, его маленькая дочь, подумал я, ибо именно дети призваны наносить последний *coup de grâce*⁶³ в жестоких играх человеческого сердца.

Сидя у его изголовья, чувствуя, как тикает его пульс в унисон с моим собственным, и слушая, как он говорит о моей любимой женщине с каким-то странным властным спокойствием, я просто не мог не заметить, насколько богат был в действительности этот человек, которого

⁶¹ Славная девочка, добрая подруга (*фр.*).

⁶² То есть начало начал Александрии, та древняя египетская деревня, на месте которой вырос эллинистический мегаполис.

⁶³ Удар, которым из милости добивают раненого (*фр.*).

могла бы полюбить Мелисса. По какой нелепой случайности она упустила в нем того, кем он был на самом деле? Какой уж там объект для презрения (а я всегда видел в нем объект для презрения)! Отныне он был опасным соперником, о силе которого я, как оказалось, был совершенно не осведомлен; и мне даже стыдно записывать мысль, пришедшую мне тогда в голову. Я был рад, что Мелисса не пришла сюда и не увидела его таким, каким увидел его я, она вполне могла бы внезапно для себя открыть его заново. Еще один парадокс – как щедра на парадоксы любовь! – я понял, что ревную к нему, умирающему, почти уже умершему, куда больше, чем тогда, когда он был жив. Страшная мысль для того, кто так долго был внимательным и прилежным студентом любви, но за ней я снова разглядел суровое, лишенное проблеска мысли, животное лицо Афродиты.

В каком-то смысле я признал в нем, в самом звуке его голоса, произносившего ее имя, ту зрелость, которой мне недоставало: ибо он сумел преодолеть свою любовь к ней без угроз и без боли и дал ей вызреть, как и должно любой любви, в беззаветную, лишенную имен дружбу. Его не страшила смерть, и он не собирался клянчить подачек у бывшей любовницы, он всего лишь хотел предложить ей из неисчерпаемой сокровищницы собственного умирания последний дар.

Великолепная соболя шуба лежала на стуле в ногах его кровати, облаченная в хрустящую бумагу; я с первого взгляда понял, что ему не следовало бы делать Мелиссе таких подарков, потому что шуба эта затмит и сотрет в порошок весь остальной ее убогий, с миру по нитке гардероб. «Я вечно думал о деньгах, – сказал он легко и ясно, – покуда был жив. Начинаешь умирать, и вдруг оказывается, что ты богат». В первый раз в жизни он мог себе позволить быть едва ли не беспечным. Вот только болезнь стояла рядом, как терпеливый и жестокий наставник.

Время от времени он погружался в короткий беспокойный сон, и усталый мой слух заполняло одно лишь гудение тьмы, как гудение пчелиного улья. Было уже поздно, но я никак не мог собраться с духом и оставить его. Сиделка принесла мне чашку кофе, и мы поговорили шепотом. Я слушал, как она говорит, и отдыхал, ибо для нее болезнь была просто профессией, которой она овладела в совершенстве, и относилась она к ней как хороший подмастерье. Холодным, ровным голосом она сказала: «Он бросил жену и ребенка ради *une femme quelconque*⁶⁴. Теперь ни жена, ни эта женщина, его любовница, не желают его видеть. Так-то». Она пожала плечами. Все эти запутанные связи не вызвали в ней чувства сострадания, она смотрела на них просто как на проявление слабости, а слабость не заслуживала ничего, кроме презрения. «А почему к нему не приходила дочь? Разве он не просил, чтобы она пришла?» Она ковырнула зуб ногтем мизинца и сказала: «Как же, просил. Но теперь он не хочет ее пугать, не хочет, чтобы она его больного видела. Это, сами понимаете, не для ребенка зрелище». Она взяла распылитель и лениво опрыскала воздух над нашими головами каким-то дезинфицирующим составом, остро напомнив мне Мнемджяна. «Поздно уже, – добавила она. – Вы что, на ночь останетесь?»

Я уже собрался было уходить, но спящий проснулся и снова схватил меня за руку. «Не уходите, – произнес он голосом сильно надтреснутым, но вполне ясным – складывалось такое впечатление, что он слышал конец нашего разговора. – Оставайтесь еще ненадолго. Я тут о многом успел подумать и хочу вам кое-что показать». Повернувшись к сиделке, он сказал тихо, но очень отчетливо: «Выйдите отсюда!» Она разгладила постель и снова оставила нас вдвоем. Он глубоко вздохнул, и, если бы я не следил за его лицом, вздох этот показался бы мне вздохом счастливого облегчения. «В шкафу, – сказал он, – вы найдете мои вещи». В шкафу висели два темных костюма. Следуя его указаниям, я снял с плечиков один из жилетов и копался в его кармашках до тех пор, пока пальцы мои не отыскали два кольца. «Я решил предложить Мелиссе выйти за меня замуж теперь, если она захочет. Поэтому я за ней и послал. В конце концов, что от меня проку? Мое имя?» Он едва заметно улыбнулся потолку. «А кольца, – он осторожно, почти благоговейно держал их кончиками пальцев, словно облатку на первом при-

⁶⁴ Случайной женщины (*фр.*).

частии, – эти кольца она сама выбрала, уже давно. Теперь они должны принадлежать ей. Может быть...» Он посмотрел на меня долгим ищущим взглядом, и в этом взгляде была боль. «Нет, конечно, – сказал он наконец. – Вы-то на ней не женитесь. Зачем это вам? Неважно. Возьмите их, для нее, и шубу тоже».

Я опустил кольца в мелкий нагрудный карман пальто и ничего не сказал. Он снова вздохнул и, к моему удивлению, пропел тоненьким тенорком сказочного гнома, приглушенным почти до пределов слышимости, несколько тактов популярной песенки, по которой некоторое время назад сходила с ума вся Александрия, *Jamais de la vie*, – Мелисса все еще танцевала под эту мелодию в клубе. «Послушайте, какая музыка», – сказал он, и я вдруг вспомнил умирающего Антония из стихотворения Кавафиса – стихотворения, которого он никогда не читал и никогда не прочтет. В гавани как-то вдруг заревели сирены, словно планеты, мучимые болью. И снова я услышал, как этот гном поет о *chargrin* и *bonheur*, и пел он не для Мелиссы, а для Ребекки. Как непохоже на душераздирающие звуки того оркестра, к которому прислушивался Антоний, – мучительное великолепие голосов струн и человеческих голосов, текущих по темной улице, – последнее «прости», Александрия дарит им тех, на ком ставит свои эксперименты. Каждый человек уходит под свою музыку, подумал я и вспомнил, со стыдом и болью, неуклюжие движения танцующей Мелиссы.

Течение уже отнесло его к той тонкой линии, за которой – только сон, и я решил, что пора идти. Я взял шубу и засунул ее в нижний ящик шкафа, а потом на цыпочках вышел из палаты и вызвал сиделку. «Так поздно уже», – сказала она.

«Я приду утром», – сказал я. Я действительно собрался прийти.

Я шел по темному тоннелю из густолистных деревьев, пробуя на вкус растрепанный ветер из гавани, и вспоминал Жюстин, которая, лежа в постели, однажды бросила мне резко: «Мы друг для друга – топоры, чтобы рубить под корень тех, кого по-настоящему любим».

* * * * *

Нас часто ставили в известность, что истории нет дела до частных, тем не менее мы все же склонны и скупость ее, и расточительность принимать как результат заранее обдуманного намерения; мы никогда не вслушиваемся по-настоящему...

И вот он, этот темный полуостров, похожий по форме на лист платана, пальцы расставлены (зимний дождь хрустит на камнях, как солома), я иду, и волны, жадно жующие набитыми ртами скрипкие губки, туго укутывают меня ветром, структура готова, осталось одеть ее смыслом.

Все формы сознания обусловлены историей, и я просто обязан воспринимать ландшафт как поле деятельности человеческой воли – распластанный на хутора и деревни, распаханый городами. Ландшафт, меченный росчерками людей и эпох. Но теперь я все-таки малопомалу начинаю понимать, что воля наследует пейзажу; что мебель человеческой воли зависит от местоположения человека в пространстве, от того, родился он среди возделанных полей или в жестокой до садизма чаще леса. И то, что я наблюдаю, вовсе не есть воздействие свободной человеческой воли на неподатливую материю природы (как мне казалось раньше), но неустойчивый процесс прорастания сквозь человека бесконечно разнообразных и жестоких, слепых и невыразимых словами догматов этой самой природы. Для опытов своих она выбрала сей бедный разлапистый клочок земли. Как бессмысленны в таком случае слова и дела любого человека, вроде слов Бальтазара, услышанных мною однажды: «Миссия Кружка, ежели таковая у него имеется, состоит в том, чтобы облагородить все функциональное до такой степени, чтобы даже еда и дефекация поднялись до высот искусства». Как не распознать здесь цветка чистой воды скептицизма, скрытого под гумусом воли к жизни? И только любовь способна здесь хоть как-то поддержать...

Не те же ли самые мысли кружили в голове Арноти, когда он писал: «Для писателя человек как психологический феномен более не существует. Подобно мыльному пузырю, лопнула современная душа под пристальными взглядами мистагогов. Вот ты писатель – и что тебе осталось?»

Может быть, я и выбрал сие пустынное место, чтобы прожить следующие несколько лет, именно потому, что понял это: выжженный солнцем мыс на Кикладах. Омываемый со всех сторон историей, этот остров – единственный свободный ото всяческих отсылок. Ни разу он не упоминался в анналах расы, его населяющей. Его историческое прошлое оплачено не временем, но местом – никаких храмов, священных рощ, амфитеатров, никаких порочных от рождения идей, расцветенных фальшивыми уподоблениями. Разноцветные лодчонки на берегу, как на полке, гавань за горами и маленький город, обездоленный всемирной неизвестностью. И все. Раз в месяц сюда заходит пароходик, следующий на Смирну.

Зимними вечерами морские грозы карабкаются по утесам и заполняют собой небольшую рощу огромных неухоженных платанов, где я обычно гуляю; они рычат и шепчут на странном диком диалекте, перебирая и расплескивая гигантские ветви.

Здесь я брожу, просматривая за разом раз дорогие мне воспоминания, их некому со мной делить: но лишить меня этой роскоши не в силах даже время. Волосы мои прилипли к скальпу, одной рукой я прикрываю от ветра догорающую трубку. Надо мной – ночное небо, бриллиантовые соты звезд. Медленно оплывает Антарес, по каплям сквозь звездную пыль... Все, что я оставил позади с легким сердцем: послушные книги и друзья, освещенные комнаты, каминные, сложенные, чтобы сидеть возле них и беседовать, – все привилегии цивилизации – не вызывает у меня тоски, только удивление.

В самом этом выборе, и в нем тоже, я вижу некий элемент случайности; и происходит он от импульсов, которые, как мне, должно быть, придется признать, рождены вне плавной амплитуды моей души. И все же, как ни странно, только здесь я наконец обрел способность опять войти, опять поселиться в этом не похороненном песками городе, вместе с моими друзьями; оплести их тяжелой стальной паутиной метафор, которым, может быть, суждено прожить половину срока жизни Города, – а может быть, я просто хочу в это верить. Отсюда я по крайней мере могу смотреть на их истории и на историю Города как на нечто единое.

Но самое странное: счастьем этим я обязан Персуордену – вот уж о ком бы никогда не подумал как о потенциальном благодетеле. Наша последняя, к примеру, встреча в уродливом и дорогом гостиничном номере, куда он переезжал всякий раз по возвращении Помбаля из отпуска... Я не узнал в ее тяжелом, затхлом воздухе запаха близкого самоубийства – с чего бы? Я знал, что он несчастлив; да если бы он и не был таковым, то стал бы несчастливостью симулировать из чистого чувства долга. В наши дни художник просто не имеет права не взрастить в себе маленькой личной трагедии – это не в моде. А поскольку он был англосакс, то не обошлось и без малой толики сентиментальной жалости к себе любимому, эта простительная слабость и заставляла его время от времени надираться. В тот вечер он был просто невыносим, то туп, то остроумен попеременно; я помню, что подумал, слушая его: «Вот человек, который, возделывая свой талант, пренебрег культивацией чувств, и не по случайному совпадению, а обдуманно, ибо, займись он самовыражением, и это могло бы привести к конфликту с миром: или же одиночество поставило бы под угрозу его здравый смысл. Он не смог пожертвовать пропуском, еще при жизни, в бальные залы признания и славы. А внутри, за всеми этими ширмами, шла постоянная борьба с почти непереносимым ощущением: его ум просто-напросто труслив. И вот сейчас его карьера достигла интересной точки: красивые женщины – а он, как и положено застенчивому провинциалу, всегда считал их чем-то для себя недостижимым – просто на седьмом небе от счастья, если их видят с ним под руку. В его присутствии на лицах у них появляется слегка рассеянное выражение – как у муз, страдающих запором. Им льстит, если он прилюдно задержит руку в перчатке чуть дольше, чем следует. На первых порах это

должно было лить бальзам на тщеславие одинокого мужчины; но в конце концов привело лишь к обострению неуверенности в себе. Свобода, завоеванная скромным финансовым успехом, начала угнетать его. Он стал все сильнее и сильнее тосковать по истинному величию, а его имя между тем день ото дня вздымалось все выше и выше, как безвкусная реклама. Он понял, что люди прогуливаются по улице под ручку с Репутацией, а не с человеком. Его самого они больше не замечают – а ведь все его книги были написаны с единственной целью: привлечь внимание к одинокому страдальцу, коим он себя считал. Имя прихлопнуло его, как надгробный камень. И тут вдруг случается кошмарная мысль – а может, уже и *некого* замечать? Кто он, в конце концов, такой?»

Естественно, эти мысли не делают мне чести, ибо выдают зависть, обычную зависть неудачника к тому, кто добился успеха; но у злости зрение не хуже, чем у милосердия. И к тому же, пока суд да дело, где-то по боковой ветке моего сознания все бегал и бегал паровозик слов, сказанных о нем как-то раз Клеа, – почему-то я их запомнил и иногда даже думал над ними: «Есть в нем что-то отталкивающее. Отчасти из-за этой его неуклюжести. Если его талант высушить, останется вирус застенчивости. У застенчивости есть такой закон: ты можешь только отдавать себя, трагически, тем, кто менее всего способен тебя понять. Потому как ежели поймут, не дай бог, придется принимать жалость к собственной слабости. И в результате – те женщины, в которых он влюблен, та проза, которую он посвящает женщинам, в которых влюблен, становятся в его голове лишь намеками на женщин, которых он, как ему кажется, действительно хочет или по крайней мере заслуживает – *cher ami!*» Клеа всегда обрывает фразы на полуслове и завершает их волшебной, полной нежности улыбкой – «сторож ли я брату моему?»

(Что мне прежде всего следует делать, так это записывать собственные переживания, и не в том порядке, в котором они имели место, – это область истории, – но в том порядке, в котором они приобрели для меня значимость.)

Что же в таком случае подвигло его завещать мне эти пятьсот фунтов, с единственным условием, что деньги должны быть потрачены вместе с Мелиссой? Раньше я думал, что он сам мог быть в нее влюблен, но после глубоких раздумий пришел к выводу, что любил он не ее, а мою к ней любовь. Из всех моих качеств он завидовал одному-единственному – умению с готовностью откликаться на ласку, значимость которой была для него неоспорима. Он, может быть, даже и сам мечтал о женской ласке, но всегда был отлучен от нее привычным к самому себе презрением. Это в общем-то был удар по моему самолюбию: я, конечно, хотел бы, чтобы он оценил если и не сделанное мной – то хотя бы надежды, которые я подавал. Сколь глупы мы, сколь ограничены – ходячие сгустки тщеславия!

Мы не виделись несколько недель, да обычно и не баловали друг друга вниманием, и встретились в маленьком жестяном общественном туалете на главной площади, возле трамвайной остановки. Было уже темно, и мы бы ни за что друг друга не узнали, если бы фары проезжавшей мимо машины походя не обрызгали светом стены сего зловонного узилища. «Ага!» – сказал он, узнав меня; задумчиво и нетвердо, потому что был пьян. (Чуть раньше, за несколько недель до этой встречи, он оставил мне по завещанию пятьсот фунтов; в каком-то смысле он оценил меня взглядом знатока – хотя этой его оценке предстояло достать меня уже из-за гробовой доски.)

Дождь стучал по жестяной крыше над нашими головами. Я мечтал поскорее оказаться дома, у меня был очень тяжелый день, но я малодушно мешкал, обуреваемый изнурительной заискивающей вежливостью, обычное дело при встрече с людьми, которых я недолюбливаю. Его смутно темневший во мраке силуэт тихо покачивался передо мной. «Позвольте мне, – произнес он мелодраматическим тоном, – посвятить вас в секрет моей профессии. Я, знаете ли, романист. Есть проблема – у меня получается, а у вас – нет. А вот, старина, и ответ на загадку – секс и его количество». При слове «секс» он поднял подбородок, и голос его зазвучал громче,

почти как у декламатора; он вытянул узловатую шею, словно цыпленок, глотающий шарик воды, и, слегка даже взвизгнув, откусил это слово вместе с кусочком воздуха, как сержант в учебке. «Путы распутства, – подтвердил он, но уже не столь эксцентрично, – но помните, – и голос его съехал чуть ли не на доверительный шепот, – *оставайтесь застегнутым наглухо*. Вселенская бабулька сильна спасать. Вам должно оставаться наглухо застегнутым и страдать. Попробуйте, и вам придется выглядеть так, словно у вас сужение мочеиспускательного канала, о будущий избранник общества книголюбов. Что абсолютно непозволительно: зверское здоровье, сквернословие, все естественное и все смешное. Это можно было Чосеру и елизаветинцам, но сейчас на эту горку не взъедешь – застегнутый наглухо на все дубовые пресвитерианские пуговицы». И, не прекращая стряхивать, он обернул ко мне лицо, долженствующее изображать пуговицу от штанов, – непроницаемое, постное, гротескно перекошенное. Я поблагодарил его, но он царственным жестом отмахнулся от изъявлений благодарности. «Оплате не подлежит», – сказал он и, взяв меня под руку, вывел на темную улицу. Мы побрели к освещенному центру города, как два раба в одной колодке, товарищи по перу, отягощенные сознанием столь несхожих горестей. Он тихо общался сам с собой на какую-то ему одному интересную тему, и я ни слова не мог в его бормотании разобрать. Один раз, когда мы свернули на Рю де Сёр, он остановился перед ярко освещенной дверью публичного дома и провозгласил: «Бодлер называет совокупление лирикой толпы. Весьма сожалею, но это уже не так! Потому что секс умирает. В следующем столетии мы будем лежать, засунув языки друг другу в рот, молчаливые и бесстрастные, как морские огурцы. Да-да! Это просто обалдеть, как верно». И он процитировал арабскую поговорку, которая послужила эпиграфом к его трилогии: «Мир похож на огурец – сегодня он у тебя в руке, а завтра – в заднице». Затем мы возобновили наше прерывистое крабообразное движение по направлению к его гостинице, и всю дорогу он повторял слово «о-бал-деть», с видимым удовольствием от производимого мягкого взрывного звука.

Он был небрит и измотан, но прогулка привела его в сравнительно хорошее расположение духа, и следующим номером нашей программы стала хранившаяся у него в комодке возле кровати бутылка джина. Я обратил внимание на два туго набитых чемодана, явно свежееупакованные, притулившиеся к туалетному столику; на стуле лежал плащ, набитый газетами, пиджаками, тюбиками зубной пасты и тому подобным. Он едет ночным поездом в Газу, сказал он. Он хочет расслабиться и отдать визит Петре⁶⁵. Гранки своего последнего романа он уже выправил, упаковал и надписал адрес. Они мертвым грузом лежали на верхней мраморной доске туалетного столика. В его трезвом и удрученном взгляде на сверток я узнал то чувство истощения, которое преследует художника, сбросившего с плеч добрый кусок работы. Не самые счастливые минуты, и именно в это время долгий флирт с идеей самоубийства порою обретает свежий смысл.

К несчастью, хоть я и общарил все закоулки памяти, я почти ничего не помню из нашего тогдашнего разговора, хотя, повторяю, уже много раз пытался его восстановить. Мы виделись в последний раз – что же удивительного в том, что я склонен приписывать всему сказанному тогда особую значимость, которой наверняка там и близко не было. К тому же Персуорден вовсе и не думал исчезать в качестве литературной сущности; он просто шагнул в амальгаму зеркала, как и всем нам должно – чтобы уйти от наших болезней или от злодеяний, от осинных гнезд наших желаний, все еще способных порождать добро и зло в реальном мире: то есть в памяти наших друзей. И все же в присутствии смерти всегда видишь вещи несколько иначе – для того она и существует, чтобы помочь нам оценить свежий вкус времени. Однако в тот момент мы находились в точках, равноудаленных от смерти, – по крайней мере, мне так кажется сейчас. Может статься, в нем уже и тогда распустился цветок некоего тайного умысла –

⁶⁵ На развалинах древней Петры происходит действие «Свидания со смертью», одного из самых известных романов Агаты Кристи.

неважно. Откуда мне знать. Разве есть хоть капля тайны в том, что художник хочет покончить счеты с жизнью, которую он уже сносил (персонаж в его последней книге восклицает: «Годами тебе приходится мириться с тем, что людям, в сущности, нет до тебя дела; и вот в один прекрасный день в тебе прорастает тревога, и ты понимаешь, что тот, которому нет дела, – не кто иной, как Бог: и ему не просто *нет дела до тебя*, но не существует вообще ничего, до чего ему было бы дело»).

Стоп, эта реплика в сторону напомнила мне маленький кусочек тогдашней нашей пьяной беседы. Он говорил о Бальтазаре насмешливо, говорил о его религиозных изысканиях, о Кружке (о котором знал понаслышке), я слушал его не перебивая, и постепенно голос его затих, как хронометр, задавленный весом секунд. Он встал, плеснул себе еще и сказал: «Нужно быть потрясающим невеждой, чтобы соваться к Богу. Мне кажется, я всегда знал слишком много».

Тот самый тип воспоминаний, что дразнит пробуждающийся ум в такие вечера, как нынешний, пока я бреду сквозь зимнюю тьму; потом поворачиваю наконец назад, туда, где на оливковых поленьях в старомодном сводчатом камине потрескивает огонь и где спит Жюстин в своей колыбели из сладко пахнущей сосны.

Что я знал о нем наверняка? Я отдаю себе отчет в том, что каждый человек может претендовать не более чем на одну из сторон нашего характера как на часть своего личного знания. К каждому мы поворачиваемся иной гранью призмы. Снова и снова я ловлю себя на том, что удивляюсь чужим наблюдениям, приведшим меня к этой мысли. К примеру, когда Жюстин назвала Помбаля – «один из великих хищников секса». Мне же мой друг никогда не казался существом плотоядным; хотя, конечно, порой он до смешного доходил, потакая собственным прихотям, не отрицаю. Я находил его забавным и милым, с эдаким трогательным оттенком врожденной чудаковатости. Она же должна была видеть в нем эдакого гигантского кота на мягких лапах, да он, собственно, таким и был (для нее).

Что же до Персуордена, то я помню еще, как, не закончив своей тирады о религиозном невежестве, он выпрямился и поймал взглядом свое бледное отражение в зеркале. стакан был поднят к его губам, и вот, повернув голову, он выпустил по своему мерцающему отражению полный рот джина. Минута эта как-то удивительно ясно отпечаталась в моей памяти; отражение, оплывающее каплями в зеркале, в этом нелепом дорогостоящем номере, который теперь кажется мне такой подходящей декорацией для сцены, последовавшей позже, той же ночью.

* * * * *

Пляс Заглуль – изделия из серебра и голуби в клетках. Сводчатый подвал, черные бочонки вдоль стен и воздух, удушливый от поджариваемой рыбьей мелочи и от запаха *retzinnato*. Записка, нацарапанная на полях газеты. Здесь я пролил вино ей на платье и, пытаюсь исправить содеянное, случайно дотронулся до ее груди. Ни слова не было сказано. Персуорден в это время – как чудно он говорил об Александрии и о горящей библиотеке! В комнате наверху исходил криком какой-то бедолага, менингит...

* * * * *

Сегодня, совершенно внезапно, прошел слепой весенний ливень, очистив воздух города от пыли, вернув ее земле, молотя по стеклянной крыше студии, где сидит Нессим над эскизами к портрету жены. Она позировала, сидя перед камином, с гитарой в руках, шея подчеркнута пятнистым шарфом; она поет, склонив голову. Отзвук ее голоса отдается в голове Нессима подобно магнитофонной записи землетрясения, запущенной наоборот. Невероятная траектория радуги над парками, где пальмы туго выгибаются назад; мифология желтогривых валов,

атакующих Фарос. Ночью в город приходят новые звуки, протяжное гудение и резкие выкрики ветра, поначалу они настораживают, пока не начинаешь ощущать, как город превращается в корабль и отзывается скрипом и стонами старых шпангоутов на каждый удар непогоды.

Вот такую погоду и любит Скоби. Лежа в постели, он любовно дотрагивается до подзорной трубы и обращает мечтательный взор на голую стену из осыпающихся необожженных кирпичей, за которой – море.

Скоби подбирается к семидесяти и все еще боится умереть; один из его постоянных кошмаров – он просыпается однажды утром и видит мертвое тело капитан-лейтенанта Скоби. Так что каждое утро начинается для него с тяжелого испытания, когда водоносы вопят под окнами и будят его еще до восхода солнца. Целую минуту, по его собственным словам, он не решается открыть глаза. Старательно зажмурившись (из страха, что открой он их – и узрят они духа небесного или хор распевающих гимн херувимов), он тянется к стоящему у кровати поставцу и хватает трубку. Трубка всегда набита с вечера, и рядом лежит открытая коробка спичек. Первая же затяжка крепкого матросского курева возвращает ему и самообладание, и зрение. Он набирает полную грудь воздуха, благодарный за воскрешение из мертвых. Он улыбается. Он удовлетворенно оглядывается. Натягивая до самых ушей тяжелую овчину, что служит ему на ложе покрывалом, он исполняет свой маленький благодарственный пеан утру голосом, скрипучим, как станиоль: «*Taisez-vous, petit babouin; laissez parler votre mère*»⁶⁶.

Его обвисшие, как у старого трубача, щеки розовеют от усилия. Критически оценив свое состояние, он приходит к выводу: у него неизбежная головная боль. Язык его шершав от вчерашнего бренди. Но, невзирая на все эти маленькие неудобства, перспектива еще одного дня жизни выглядит весомо. «*Taisez-vous, petit babouin*», – и так далее, с паузой, дабы отправить на место вставную челюсть. Он прикладывает сморщенную ладонь к грудной клетке, и звук работающего сердца доставляет ему тихую радость, ибо он поддерживает вялую циркуляцию в той самой венозной системе, все трудности которой (реальные или воображаемые – я так и не понял) можно с успехом преодолеть с помощью бренди в ежедневных и только что не смертельных дозах. Если вам посчастливится застать его еще в постели, он почти наверняка схватит вашу руку костлявой птичьей лапкой и предложит лично убедиться: «Силен как вол, а? Тикает что надо», – обычная его фраза, и бренди здесь не властен. Сделав над собой некоторое усилие, вы просунете руку за отворот его дешевой пижамы, чтобы ощутить смутное, тусклое, отдаленное биение жизни – сердце зародыша на седьмом месяце. С трогательной гордостью он застегнет пижаму и издаст нечто соответствующее его представлению о реве здорового животного. «Выпрыгиваю из постели, словно лев», – еще одна из его фраз. Вам не понять всей полноты очарования, свойственного этому человеку, пока вы не увидите воочию, как, согнутый ревматизмом едва не пополам, сей реликт ледниковой эры выбирается из-под бумажных уютных простыней. Лишь в самые жаркие месяцы года его кости оттаивают настолько, что он может достичь достойного прямохождения. Летними вечерами он гуляет в парке, и маленький его череп сверкает, подобно солнцу небольшого достоинства, вересковая трубка нацелена в зенит, челюсть скошена в жуткой гримасе, долженствующей означать почти неприличное здоровье.

Никакая городская мифология не может быть полноценной без своего Скоби, и Александрия многое потеряет, когда его иссушенное солнцем тело, завернутое в «Юнион Джек», будет в конце концов опущено в неглубокую могилку, что ждет его на римско-католическом кладбище возле трамвайной линии.

Скудной флотской пенсии едва хватает на то, чтобы платить за единственную густонаселенную тараканами комнату – он снимает ее в трущобах позади улицы Татвиг. Недостаток средств восполняет не менее скудное жалованье от египетского правительства, к жалованью

⁶⁶ Помолчите, крошка-егоза, дайте вашей матери сказать (*фр.*).

прилагается гордый титул Бимбаши Полицейских Сил. Клеа написала с него прекрасный портрет, в полной полицейской форме, с красной феской на голове и с огромной мухобойкой толщиной в конский хвост, которая изящно лежит поперек его костлявых колен.

Клеа снабжает его табаком, а я – восхищением, собственным обществом и, по возможности, бренди. Мы ходим к нему по очереди – рукоплещем его физической мощи и не даем ему упасть, когда в порыве энтузиазма по поводу последней он слишком сильно ударяет себя в грудь. Происхождение его туманно, его прошлое, подобно прошлому настоящего мифологического персонажа, вписано в историю доброй дюжины частей света. А настоящее настолько богато воображаемым здоровьем, что желать ему в общем-то и нечего – кроме разве что случайных поездок в Каир во время Рамадана, когда его контора закрыта и когда, предположительно, всякого рода преступная деятельность впадает по случаю праздника в спячку.

Молодость безборода, то же и второе детство. Скоби ласково теревит остатки некогда пышной и ухоженной остроконечной бородки, но очень осторожно, едва касаясь, из боязни, что выдернет ее окончательно и останется совершенно беззащитным. Он цепляется за жизнь, как устрица, и каждый год намывает новое колечко, незаметное невооруженным глазом. Его тело словно усыхает, съезживается с каждой новой зимой, и скоро череп его будет не больше черепа младенца. Еще год-другой, и мы сможем затолкать его в банку и замариновать навечно. Морщины становятся все глубже. Без зубов его лицо напоминает морду старого шимпанзе; над худосочной бородкой – вишнево-красные щечки, ласково называемые в обиходе «порт» и «лево руля», излучают в любую погоду тихое теплое сияние.

Его тело многим обязано поставщикам запасных частей. В тысяча девятьсот десятом падение с бизани сместило его челюсть на два румба с запада на юго-запад и продавило фронтальный синус. Когда он говорит, его вставная челюсть ведет себя словно складная лестница, описывая внутри черепа судорожные спирали. Улыбка его непредсказуема и может возникнуть где угодно, как улыбка Чеширского Кота. В девяносто восьмом он строил глазки чужой жене (это он так говорит) и одного из них лишился. Предполагается, что никто, кроме Клеа, об этом не догадывается, но в данном случае замена была достаточно грубой. В состоянии покоя это не слишком бросается в глаза, но стоит ему только чуть-чуть оживиться, и разница между двумя глазами становится очевидной. Существует и небольшая проблема чисто технического свойства – его собственный глаз почти постоянно красен. В самый первый раз, когда он испытывал меня вольным пересказом «Вахтенный, что там в ночи?», стоя в углу комнаты с антикварным ночным горшком в руке, я обратил внимание, что правый его глаз движется чуть медленней, чем левый. Тогда он показался мне увеличенной копией стеклянного глаза орлиного чучела, угрюмо вззирающего на мир из ниши в публичной библиотеке. Однако зимой именно вставной глаз совершенно непереносимо пульсирует, портит ему настроение и вводит во грех сквернословия – пока очередная рюмочка бренди не согреет его желудок.

Этот одноклеточный профиль я представляю себе выплывающим из дождя и тумана, ибо Скоби наделен странным свойством приносить с собой некоторое подобие английской погоды и нет для него большего счастья, чем сидеть зимой перед микроскопическим пламенем в камине и говорить. Память раз за разом пытается пустить в ход напрочь разлаженный механизм его несчастной головы, пока наконец не теряется окончательно – где-то в сумеречных глубинах. Я вижу за его спиной длинные серые валы Атлантики – они трудолюбиво и упорно смыкаются над его воспоминаниями, растирают их в водяную пыль, которая слепит ему глаза. Его рассказы о прошлом – серия коротких телеграмм – линия нарушена, погодные условия неблагоприятны для сеанса связи. В Доусоне десятеро пошли вверх по реке и замерзли насмерть. Зима обрушилась как молот и сразу отправила их в нокаут; виски, золото, смерть – это было похоже на новый крестовый поход в северные леса. В те же годы его брат упал с водопада в Уганде; во сне он видел крошечную фигурку, меньше мухи, падающую – и моментально расплюснутую желтой лапой воды. Нет, это было позже, когда он уже смотрел через прицел

карабина в самую черепушку какого-то бура. Он пытается вспомнить точно – *когда* это должно было случиться, роняя лысую полированную голову на руки, но снова вмешиваются серые валы бесконечных приливов и отливов, патрулирующие границу между ним и его памятью. Вот почему это слово пришло ко мне – *намывает* – вместе с образом старого пирата: его череп осязаемо обкатан, и только тончайший слой кожи отделяет его улыбку от улыбки занесенного песком скелета. Обратите внимание на эту черепную коробку, на отчетливые вмятины здесь и здесь; на хворостинки косточек под восковой кожей пальцев, на дряблое старческое сусло на месте икроножных мышц... И в самом деле, как заметила однажды Клеа, старина Скоби похож на какой-нибудь маленький древний мотор на колесах, чудом уцелевший с прошлого века, нечто умильное и жалкое вроде первой Стивенсоновой «Ракеты».

Он живет в своем перекошенном чулане, как анахорет. «Анахорет!» – вот еще одно из его любимых словечек; обычно, произнося его, он подпирает щеку пальцем, и томно закатывающийся глаз сразу же выдает в нем тщательно скрываемую женственность. Весь маскарад – исключительно ради Клеа. В присутствии «прекрасной дамы» он считает себя обязанным принимать защитную окраску, которая слетает с него, как только за Клеа закроется дверь. Действительность несколько печальнее. «Я ведь лет сто был вожатым у скаутов, – поверяет он мне свою тайну *sotto voce*⁶⁷, – в отрядах Хэгни. Это уже после того, как меня списали по инвалидности. Но мне нельзя было возвращаться в Англию, старина. Тяга была слишком сильна, вот что я тебе скажу. Каждую неделю я ждал, что увижу заголовок во “*Всемирных известиях*”: “Еще одна юная жертва грязной похоти вожатого”. В Хэгни-то все было в порядке. Мои мальчики словно родились в лесу – все умели. Истинные юные итонцы – это я их так называл. Вожатый, который был там до меня, получил двадцать лет. Этого достаточно, чтобы навести на Раздумья. Такие вещи заставляют шевелить мозгами. В общем, я как-то не прижился в Хэгни. Имей в виду, я, конечно, несколько поотстал от жизни, но я люблю, чтобы на душе у меня было спокойно – как раз в этом смысле. А в Англии сейчас человек уже не чувствует себя свободным, нет. Обрати внимание, они уже добрались до клириков, до уважаемых служителей церкви, и все такое. Я спать перестал. В конце концов уехал за границу, частным, знаешь, как его, губернатором, вот – Тоби Маннеринг, отец у него член парламента, кстати; так вот, ему захотелось попутешествовать. Ему сказали – тогда нужен губернатор. А на самом деле он хотел поступить во флот. Вот я и попал сюда. Я сразу понял, что жизнь здесь – что надо, без лишних хлопот. Сразу получил работу – в полиции нравов, у Нимрод-паши. Вот так, дорогой мой. И никаких жалоб, ты понимаешь? Обозревая с востока на запад эту плодородную дельту, что я вижу? Милю за милей ангельски маленьких черных попок».

Египетское правительство с той поистине донкихотской широтой, с которой Левант расточает деньги на любого иностранца, выказавшего хоть каплю внимания и благожелательности, предложило ему средства, вполне достаточные для того, чтоб прожить в Александрии. Говорят, что после его назначения в полицию нравов разврат приобрел такие угрожающие масштабы, что наверху сочли необходимым перевести его с повышением; однако сам он настаивает на том, что его перевод в заштатный отдел контрразведки был вполне заслуженным продвижением по служебной лестнице, – а у меня никогда не хватало смелости подшучивать над ним по этому поводу. Служба у него необременительная. Каждое утро он трудится пару часов в полуразвалившемся офисе в верхней части города, где блохи скачут по резным панелям его старомодного стола. После скромного ланча в «Лютении» он, если фонды позволяют, покупает там же яблоко и бутылку бренди для вечерней трапезы. Бесконечные послеполуденные часы удушливого пекла проходят в легкой дреме, в перелистывании газет, одолженных у дружественного торговца-грека. (Когда он читает, у него на макушке бьется родничок.) Зрелость – это все.

⁶⁷ Вполголоса (*um.*).

Меблировка его маленькой комнаты выдает дух в высшей степени эклектический; те немногие предметы, что скрашивают жизнь анахорета, обладают выраженными свойствами характера, словно все вместе они и составляют личность своего владельца. Портрет, написанный Клеа, именно потому и оставляет такое ощущение полноты и завершенности, что вместо фона она любовно выписала весь набор его стариковских сокровищ. Маленькое уродливое распятие на стене за кроватью, например; прошло уже несколько лет с тех пор, как Скоби обратился к Святой Римской Церкви за утешением в старости и в тех изъянах характера, которые успели за это время стать его второй натурой. Поблизости висит небольшая литография – Мона Лиза, чья загадочная улыбка всегда напоминала Скоби о его собственной матери. (Что до меня, то эта знаменитая улыбка всегда казалась мне улыбкой женщины, только что за обедом отравившей собственного мужа.) Как бы то ни было, но и этот предмет каким-то образом встроился в процесс существования Скоби, войдя с ним в особые и весьма интимные отношения. Такое впечатление, что его Мона Лиза не имеет себе не то что равных, но даже подобных: этакий дезертир от Леонардо.

Далее, конечно же, следует старый поставец, который служит ему одновременно комодом, книжным шкафом и секретером. Клеа удостоила сей предмет мебели собственноручного ремонта, чего он, вне всяких сомнений, заслуживает, расписав его с микроскопической дотошностью. У него четыре яруса, и каждый окаймлен неширокой, но изящной полочкой. Скоби он стоил девять пенсов с фардингом на Юстон-роуд в 1911 году и с тех пор дважды объехал вместе с ним вокруг света. Скоби поможет вам насладиться лицезрением этого чуда безо всякого следа иронии или самодовольства. «Чудесная вещица, а?» – произнесет он ненавязчиво, складывая ветошку и вытирая пыль. Верхний ярус, объяснит он вам любовно, был предназначен для тостов, намазанных маслом; средний – для песочного печенья; нижние – для «двух сортов пирожного». В настоящее время, однако, поставец выполняет иные функции. На верхней полке лежат подозренная труба, компас и Библия; средний ярус предназначен для почты, каковая состоит из одинокого конверта с пенсией; на нижнем ярусе с непрошибаемой серьезностью расположился ночной горшок, именуемый не иначе как «фамильная ценность», а еще с ним связана какая-то таинственная история, которую он мне как-нибудь непременно расскажет.

Комната освещается единственной дохлой электрической лампочкой и выводком масляных коптилок, обитающих в нише; там же гнездится и глиняный кувшин, всегда наполненный прохладной питьевой водой. Одинокое незавешенное окошко слепо глядит на унылую облупленную глинобитную стену. Он лежит на кровати, и смутный чадный свет коптилок отражается в стекле компаса – он лежит на кровати за полночь, бренди пульсирует в его голове, и больше всего он напоминает мне доисторический свадебный торт, который только и ждет, чтобы кто-нибудь наклонился и задул все свечи разом.

Последняя его реплика перед сном, когда ты уже довел его без приключений до постели и заботливо подоткнул одеяло, – помимо вульгарного «Поцелуй меня, не бойся», сопровождающего кокетливо подставленную щечку, – более серьезна. «Скажи мне честно, – говорит он. – Я выгляжу на свои годы?»

Если честно, Скоби выглядит на чьи угодно годы; древнее, чем рождение трагедии, моложе, чем афинская смерть. Он начал жить в икринке, прилепившейся к ковчегу после того, как встретились на нем случайно и случились устрица с медведем; он вылупился раньше срока, когда киль ковчега душераздирающе заскрежетал о гребень Арарата. Скоби выпрыгнул прямо из чрева в инвалидной коляске на резиновом ходу, одетый в охотничью шляпу и красный фланелевый набрюшник. На цепких обезьяньих ножонках – самая блестящая в мире пара ботинок с резиновыми задниками. В деснице – ветхая фамильная Библия, на форзаце которой начертаны слова «Джошуа Сэмюэль Скоби 1870. Чти отца твоего и мать твою». К этим сокровищам прибавьте глаза как мертвые луны, недвусмысленный изгиб пиратского спинного хребта и поразительную осведомленность во всем, что касается галер. Нет, вовсе не кровь текла

в жилах Скоби, но зеленая морская вода, из самых глубин океанских. Его походка – плавный, медлительно-мучительный притоп святого, разгуливающего по Галилее. Его речь – соленый морской жаргон, выщелоченный в водах пяти океанов, – антикварная лавка салонных побасенок, ошетилившихся секстантами, астрольбиями, румбами и изобарами. Когда он поет, что случается довольно часто, поет он голосом Старого Морехода. Он, подобно святому заступнику, разбросал по всему миру маленькие кусочки собственной плоти – Занзибар, Коломбо, Тоголенд, Ву Фу, – как молочные зубы, как осенние листья, роняет он их от века, старые олени рога, запонки для манжет, зубы, волосы... И вот отхлынувшие с отливом воды оставили его на высоком и сухом берегу над быстрыми водоворотами времени – Джошуа, несостоятельный должник погоды, островитянин, анахорет...

* * * * *

Клеа, нежная, милая, загадочная Клеа – лучший друг Скоби и уделяет старому пирату изрядную долю свободного времени; она покидает свою сотканную из паутинок студию, чтобы заваривать для него чай и внимать нескончаемым монологам «за жисть», давно уже канувшую в Лету, утратив жизненные соки, чтобы остаться и бродить невнятным эхом в лабиринтах памяти.

Ну, а сама Клеа; стоит ли винить одно мое воображение в том, что написать ее портрет кажется делом почти безнадежным? Я часто думаю о ней – и при этом замечаю, что вся моя писанина только мешает мне видеть ее такой, какая она есть. Может быть, вот в чем трудность: между ее привычками и настоящим ее характером вроде бы не существует прямой связи. Если бы я, не дай бог, принялся описывать внешние формы ее жизни – столь обезоруживающе простые, изящные и самодостаточные, – возникла бы реальная опасность выставить ее либо монашенкой, променявшей весь спектр человеческих страстей на тягостный поиск собственного внутреннего «я», либо разочарованной девственницей – если понимать последнее слово как врожденный талант либо как профессию, – отринувшей мир по причине общей психической неуравновешенности или в результате некой непреодолимой детской душевной травмы.

Все связанное с ней окрашено в теплые золотисто-медовые тона; светлая, решительной рукой подрезанная челка, длинные волосы на затылке, заколотые в простой узел под нежным пушком шеи. Чистые линии лица, лица младшей музы с улыбочивыми серо-зелеными глазами. Спокойные, точные в движениях руки, ловкие и красивые, – доходит до тебя однажды, когда ты застаешь ее за делом, держит ли она кисть или вправляет сломанную лапку воробушка, зажав ее между игрушечными лубками из половинок спичек.

Надо бы измыслить что-нибудь вроде: еще теплой влили ее в тело юной грации; имеется в виду: в тело, от рождения лишенное инстинктов и страстей.

Она красива; у нее достаточно денег, чтобы обеспечить себе полную независимость; она талантлива – недурное приданое, подающее завистливым и отчаявшимся повод считать, что ей просто незаслуженно улыбнулось счастье. Но вот вопрос, недоумевают и те, кто завидует ей, и те, кого она просто интересуется: почему она отказывает себе в замужестве?

Она живет достаточно скромно, хотя и не бедно, в мансарде, в удобной студии, где почти нет мебели, кроме железной кровати да нескольких потрепанных шезлонгов, которые летом она без посторонней помощи перевозит в свою маленькую купальню в Сиди Бишре. Ее единственная роскошь – выложенная блестящей плиткой ванная, в углу которой она соорудила крохотную кухонную плиту, дабы обеспечить себя плацдармом для кулинарных изысканий, буде ей придет в голову что-либо подобное; еще там есть книжный шкаф, чьи до предела забитые полки недвусмысленно говорят о том, что ему ни в чем не бывает отказа.

Она живет без любовников и без семейных связей, без врагов и без домашних животных, целомудренно сосредоточившись на живописи, – к живописи она относится всерьез, но не

слишком. В работе ей тоже сопутствует удача: ее дерзкие и вместе с тем элегантные полотна лучатся мягким юмором. Они преисполнены чувства игры – как любимые дети.

Да; перечитал написанное и споткнулся о фразу достаточно нелепую – будто она «откалывает себе в замужестве». Представляю, как бы она взбеленилась, услышав такое: я помню, она сказала мне как-то раз: «Если хочешь, чтобы мы были друзьями, ты не должен думать или говорить, что я чем-то себя в жизни обделила. Одиночество ничуть не делает меня беднее, да я и не смогла бы жить иначе. Я хочу, чтобы ты знал: у меня все в порядке – и не считал меня скопищем скрытых комплексов. Что же касается любви – *cher ami*, – я уже говорила тебе, что любовь интересовала меня весьма недолгое время – а мужская любовь и того меньше; у меня было... у меня была всего одна связь, которая меня по-настоящему задела, и то была связь с женщиной. И я все еще живу счастьем этой чудесным образом *состоявшейся* связи: любая физическая замена показалась бы мне сейчас ужасно пустой и вульгарной. Только не придумывай себе, Христа ради, будто я страдаю какой-нибудь модной разновидностью любовного сплина. Отнюдь. Весьма забавно, но я чувствую, что наша любовь только выиграла оттого, что мы расстались, физическое воплощение словно мешало ей расти в полную силу, раскрыться по-настоящему. Похожа я на страдалицу, а?» Она рассмеялась.

Мы шли, я прекрасно помню, вдоль по вылизанной дождем Корниш, осенью, под медленно темнеющим полумесяцем облачного неба; она говорила, а потом порывисто взяла меня под руку и улыбнулась мне так нежно, что случись нам навстречу прохожий, он бы, вне всяких сомнений, принял нас за влюбленную парочку.

«А еще, – продолжала она, – есть такая вещь: может, ты бы и сам скоро до этого додумался. Есть в любви что-то – не скажу убогое, потому что убогость эта от нас же самих; но мы чего-то главного в ней не поняли. Ну, смотри, сейчас ты любишь Жюстин, и это вовсе не новая для тебя любовь к новому человеку, это все та же твоя любовь к Мелиссе пытается пробиться сквозь Жюстин. Любовь – жутко стабильная штука, и каждому из нас достается по кусочку, не больше и не меньше, своего рода рацион. Она способна принимать бесконечно разнообразные формы и связать тебя с бесчисленным числом людей. Но рацион есть рацион: она затаскается, сносится, потеряет товарный вид, так и не дождавшись истинного своего предмета. Потому что пункт ее назначения расположен где-то в самых труднодоступных дебрях души, и там она должна осознать себя как любовь к самому себе – та самая почва, на которой мы строим наше так называемое душевное равновесие, здоровье души. Я вовсе не об эгоизме, не о нарциссизме говорю».

Именно такие разговоры – разговоры, забредавшие порой далеко за полночь, и сделали нас с Клеа друзьями, научили меня доверять ее силе, выплавленной из рефлексии и самоанализа. Дружба, завязавшаяся тогда, позволяла нам делить на двоих наши тайные заботы и помыслы, пробовать их друг на друге, как на оселке, – так свободно и искренне, что, будь мы связаны узами чуть более прочными, воздушный замок рассыпался бы; ведь узы эти, как ни парадоксально, как ни противится тому настойчивый голос чисто человеческих иллюзий, разделяют куда сильнее, чем соединяют. «Ты прав, – помню, сказала она как-то раз, когда я поделился с ней этим странным наблюдением. – В каком-то смысле я ближе тебе, чем Мелисса, ближе, чем Жюстин. Видишь ли, Мелиссина любовь чересчур доверчива: это ослепляет. А Жюстин с ее трусливой мономанией просто не позволит тебе не быть похожим на некую демоническую личность, ей самой подобную. Ну-ну, не играй в оскорбленное достоинство, пожалуйста. В том, что я говорю, нет ни капли издевки».

Да, помимо собственной живописи Клеа, я просто обязан упомянуть и о том, что она работает на Бальтазара. Она у него – клинический художник. В силу некоторых обстоятельств друга моего не удовлетворяет обычный способ регистрации медицинских аномалий посредством моментальной фотосъемки. Он придерживается им самим, очевидно, выдуманной теории, согласно которой пигментация кожи на разных стадиях его излюбленных недугов сугубо

значима для врача. Так, например, у Клеа есть целая серия, посвященная разрушительному воздействию сифилиса, на всех его стадиях – большие цветные рисунки, необычайно ясно и с любовью выполненные. В каком-то смысле это настоящие произведения искусства; чисто утилитарный предмет освободил живописца ото всяких порывов к самовыражению; она занялась простой регистрацией; несчастные человеческие члены, истерзанные пыткой и закосневшие во мраке, – Бальтазар отслеживает их изо дня в день в длинной унылой очереди в приемной палате (так человек выбирает из бочки сгнившие яблоки) – обладают всем необходимым для жесткой портретной графики: животы, как будто изрезанные автогеном, с гроздьями наплавленных бусин металла, лица со сморщенной кожей, шелушащейся, как штукатурка, карциномы, рвущие резиновые пленки, что сдерживают их... Помню, как в первый раз я увидел ее за работой; я забежал к Бальтазару в клинику за какой-то бредовой справкой, срочно необходимой мне, чтобы отвязаться от администрации школы, где я тогда работал. Проходя мимо стеклянных дверей хирургического отделения, я случайно увидел в унылом больничном саду под засохшим персиковым деревом – Клеа, в то время я еще не был с ней знаком. На ней был белый больничный халат, краски свои она аккуратнейшим образом разложила под рукой на мраморном пеньке от колонны. Перед ней на плетеном стуле в странной позе сидела девушка из феллахов, большегрудая, с лицом сфинкса; юбку она задрала выше пояса, дабы явить миру некий избранный предмет изысканий моего ученого друга. Был чудесный весенний день, и даже на таком расстоянии ветер доносил шорох торопливых шагов моря. Ловкие невинные пальцы Клеа сновали взад-вперед по белой поверхности бумаги, уверенно, проворно, с мудрой поспешностью. Лицо ее выражало сосредоточенность и увлеченность – радость специалиста, кладущего мазок за мазком в цветовой гамме некой редкой разновидности тюльпана.

Когда Мелисса умирала, она просила именно Клеа сидеть с ней; именно Клеа ночи напролет развлекала ее рассказами и ухаживала за ней. Что касается Скоби – у меня бы просто не стало смелости сказать, что существует какая-то скрытая связь между его и ее извращенностью, глубокая, как подводный кабель, связывающий два континента, – это было бы несправедливо по отношению к обоим. Ясное дело, старина Скоби ни о чем подобном и не догадывается; она же, со своей стороны, с присущим ей тонким чувством такта, никогда не даст ему почувствовать, насколько нелепы все эти истории о его любовных подвигах. Они прекрасно подходят друг другу и совершенно счастливы теми отношениями, которые между ними установились как-то сами собой: отец и дочь. Один-единственный раз я слышал, как Скоби подшучивает над ней по поводу того, что она никак не выйдет замуж, – и милое лицо Клеа стало вдруг круглым и плоским, как у школьницы, и откуда-то из глубин напускной серьезности, мигом загнавшей в тень проблеск чертовщинки в серых ее глазах, она изрекла в ответ, что просто ждет, когда же ей наконец повстречается мужчина, который был бы ее достоин; на что Скоби отреагировал глубоким медленным кивком и согласился, что это весьма разумная линия поведения.

Именно в ее студии я как-то раз выудил на свет Божий из хаоса пыльных холстов, грудой сваленных в углу, голову Жюстин – полупрофиль, выполненный мелким импрессионистическим мазком и явно незаконченный. Клеа на секунду задержала дыхание и уставилась на него со страдательным взглядом матери, которая знает, что ребенок у нее – урод, но никогда не признает этого перед посторонними. «Это такая древность», – сказала она; и после долгих раздумий подарила его мне на день рождения. Теперь он стоит на старой сводчатой каминной полке, напоминая мне о захватывающей дух, о лезвийно острой красоте этой темной и любимой женской головки. Губы только что выпустили сигарету, и сейчас она скажет что-то, уже обретшее в ней форму, но едва успевшее подняться к ее глазам изнутри. Губы приоткрылись, готовые облечь мысль словом.

* * * * *

Мания самооправдания в равной мере присуща и тем, чья совесть нечиста, и тем, кто ищет философского обоснования своим поступкам: и в том, и в другом случае это приводит к самым странным формам мысли. Идея не спонтанна, ее выносят на поверхность подводные токи воли. У Жюстин подобная мания вызвала к жизни непрерывный поток идей, раздумий о поступках прошлых и настоящих; текучая эта субстанция давила на нее изнутри, словно мощное течение на стены дамбы. Слишком явной была маниакальная изошренность ее самокопания – как же можно было доверять результатам раскопок, тем более что с каждым новым заходом ее мысль текла по новому руслу, неспособная оставаться в сколь-нибудь привычных берегах. Теории о себе самой создавались и разрушались, она роняла их, бессчетные, лепесток за лепестком. «Не кажется ли тебе, что любовь состоит из одних парадоксов?» – спросила она однажды у Арноти. Едва ли не тот же самый вопрос, помню, задала она и мне, и густой ее темный голос наделил его оттенком ласки – и злого умысла. «Представь себе на минуту, что я вдруг скажу тебе: я позволила себе с тобой сблизиться, только чтобы спасти саму себя от опасности и бесчестия – от опасности влюбиться в тебя по уши? Я спасала Нессима каждым подаренным тебе поцелуем». А теперь попробуйте отыскать здесь мотив для той, хотя бы, невероятной сцены на пляже. Ни минуты без сомненья, ни минуты без сомненья. В другой раз она выбрала иной угол зрения, и вышло, пожалуй, не менее правдоподобно: «Мораль, это – а что такое, собственно, мораль? Не были же мы с тобой просто-напросто обжорами, как ты думаешь? А уж этот наш роман сполна оплатил все, что нам наобещал, – по крайней мере мою долю. Вот мы встретились, и случилось самое худшее с тем самым лучшим, что у нас есть, – с твоей женщиной, с моим мужчиной. Ну, пожалуйста, не смейся надо мной!»

Я же оставался лишь одурманенным и безмолвным созерцателем невероятных горизонтов, проблескивающих сквозь ее слова; и напуганным – так непривычно и непросто казалось обсуждать испытанное нами в подобной похоронной терминологии. По временам я, как и Арноти в подобных же случаях, доходил окончательно и кричал: «Бога ради, остановись ты наконец, выберись из этой проклятой мании быть несчастной – или мы и в самом деле плохо кончим! Ты высосешь всю кровь из наших судеб прежде, чем мы успеем попробовать их прожить». Конечно же, я отдавал себе отчет в полной бессмысленности подобных призывов. Есть в этом мире люди, рожденные для самоуничтожения, и любые разумные доводы здесь бессильны. Что до меня, то Жюстин всегда напоминала мне сомнамбулу, которую застигли ступающей по скользким перилам высокой башни; любая попытка пробудить ее криком может привести к несчастью. Оставалось лишь молча идти за ней следом в надежде постепенно увести ее от черных провалов, смутно маячивших по сторонам.

Однако вот что странно: именно эти недостатки характера – ошибки души – и обладали для меня наибольшей притягательной силой в этой невероятной женщине. Мне кажется, что они каким-то образом соответствовали моим собственным слабым местам, но только мне повезло, и я обрел способность латать дыры куда надежнее, чем она. Я знал: постель для нас была лишь малой частью той буйной оргии сливающихся душ, которая, что ни день, пускала свежие побеги и все сильнее оплетала нас зеленью. Как мы говорили! За вечером вечер в неряшливых маленьких кафе на берегу моря (тщетно пытаюсь скрыть от Нессима и прочих общих знакомых нашу преступную привязанность). Мы говорили, и мало-помалу сближались наши тела, пока не соединялись руки, пока мы не приходили в себя – только что не друг у друга в объятиях: и причиной тому была не просто чувственность, привычная болезнь всех влюбленных, – так нам было легче, как будто телесная близость могла хоть немного смягчить боль от погружения в недра души.

Конечно же, это самая что ни есть несчастная форма любви из всех, на какие только способно человеческое существо, – отягощенная чем-то столь же изматывающим душу, как пресловутая грусть после соития: примешанная к каждой ласке, мутноватая взвесь в чистой воде поцелуя. «Легко писать о поцелуях, – говорит Арноти, – но там, где страсть должна была бы дать нам на выбор сотни ключей и отмычек, там она лишь притупляла нашу мысль. Она не отворяла окон свету. У нее было чем поживиться и помимо того». И в самом деле, только в постели с ней я начал по-настоящему понимать, что он имел в виду, когда писал о Проклятии – «то изнурительное чувство, будто лежишь рядом с прекрасной мраморной статуей, неспособной ответить на ласку обнимающей ее человеческой плоти. Есть что-то утомительное и извращенное в любви, способной любить столь искусно и в то же время – так мелко».

Вот спальня в бронзовом сумеречном свете, в зеленой тибетской урне тлеет вайда, пропитывая комнату запахом роз. Возле кровати мучительный запах ее пудры, тяжело повисший под балдахином. Туалетный столик, закупоренные баночки кремов и притираний. Над кроватью – Птолемея Вселенная! Настоящий пергамент и стильная тяжелая рамка: сделано ей на заказ. Эта гравюра навечно останется висеть над кроватью, над иконами в кожаных окладах, над философами в боевом строю. Кант в ночном колпаке ощупью поднимается по лестнице. Юпитер Громовержец. Есть некая выморочность в сей шеренге великих – в ряды которых был допущен и Персуорден. Видны по крайней мере четыре из его романов, хотя кто знает, может быть, они ненароком попали сюда сегодня утром (мы обедаем все вместе), не знаю. Жюстин в кругу философов – как больной среди лекарств: пустые склянки, ампулы и шприцы. «Поцелуйте ее, – это снова Арноти, – и можете не сомневаться, глаз она не закроет, напротив, они раскроются шире, медленно наполняясь сомнением и сумасшествием. Бессонница рассудка, бесстрастно изучающего каждый плод плоти, – паника, когда касается кожи холодный металл. Ночью мозг ее тикает, как дешевый будильник».

На задней стенке висит пустоголовый божок с электрической лампочкой внутри, и для этого топорного ментора есть у Жюстин свое особое действие. Представьте факел, втиснутый скелету в горло, чтоб осветить желтоватый свод черепа и возжечь слепое пламя в задумчивых впадинах глазниц. Бьются в висках пойманные в ловушку тени... Когда отключают электричество, в это странное бра вставляется огарок свечи: тогда Жюстин встает, обнаженная, на цыпочки, чтобы достать горящей спичкой до глазницы Бога. И вот проявляется контрастное фото – бороздки на нижней челюсти, высокие залысины на лбу, тонкая тростинка переносицы. Она не может спать, если сны ее не досматривает сей таинственный гость издалека. Прямо под ним лежат игрушки, их мало, и они дешевые – целлулоидная кукла, морячок, – я никогда о них ее не спрашивал, не хватало смелости. Именно для этого идола сочиняются ее самые блестящие диалоги. Очень может статься, звучит голос Жюстин, что, когда ты говоришь во сне, тебе сочувственно внимает такая вот мудрая маска, – в которой она постепенно привыкла видеть то, что называет своим Благородным Я. И добавляет, опасливо улыбаясь: «Оно ведь и на самом деле есть, сам знаешь».

Я смотрю на нее, говорю с ней и вижу перед собой страницы Арноти. «Лицо, иссушенное изнутри пламенем страхов. В полной темноте – я давно уже сплю – она просыпается и перекачивает в голове какую-нибудь брошенную мною походя фразу о нас с ней. Я просыпаюсь и застаю ее страшно занятой, сосредоточенной; она сидит у зеркала голая, курит сигарету и выстукивает босой ступней о дорогой ковер». Странно, но, когда я читаю его, я всегда вижу Жюстин только в этой спальне – она ведь не могла бывать здесь, пока не поселилась у Нессима. Только здесь я могу представить себе – ее – в жутких постельных сценах, описанных у него. «Нет боли, сравнимой с мукой любить женщину, чье тело отвечает каждому твоему движению, но чье истинное “я” для тебя недоступно – она просто не знает, где его искать». Как часто, лежа с нею рядом, я размышлял над этими словами, которые для обычного читателя могли остаться незамеченными в общем ритме приливов и отливов подобных же идей в *Moeurs*.

Она не ускользает от поцелуев в сон – в дверь вертограда заключенного, – как Мелисса. В теплом бронзовом свете ее бледная кожа становится еще бледнее – меркнет свет, и красные съедобные цветы расцветают на ее щеках и не дают свету окончательно уйти. Она откинет платье и скатает по ноге чулок, чтобы показать темный шрам над коленкой, между двумя бороздками от подвязки. И как доверить примитивной материи слова то, что я почувствовал, увидев этот шрам, – словно персонаж, выпавший из книги, – я ведь знаю, откуда он. В зеркале – черноволосая головка, – теперь она моложе и красивее оригинала, она пережила оригинал – оставшееся отражение молодой Жюстин; словно обызвествленный отпечаток папоротника в меле: уже утраченная, как ей кажется, юность.

Нет, невозможно поверить, она просто не могла полноценно существовать ни в какой другой комнате; и идолу не висеть в другом месте, в иной обстановке. Да разве отрекусь я от виденного мной: она поднимается по высокой лестнице, пересекает галерею – безделушки и папоротники в кадках и – открывает маленькую дверь в самую запретную из комнат. Фатима, черная горничная-эфиопка, следует за ней. Раз за разом Жюстин опускается на кровать и вытягивает перед собою руки с унизанными перстнями пальцами, и, как будто в мягком полусне, негритянка снимает за кольцом кольцо с ее длинных пальцев и опускает в маленькую, обитающую на туалетном столике каскетку. В тот вечер, когда мы, Персуорден и я, обедали с ней, она пригласила нас вернуться к ней домой. Мы обошли огромные холодные приемные покои, и тут Жюстин внезапно развернулась и повела нас наверх, в поисках нужной обстановки, способной заставить моего приятеля – она его боялась и восхищалась им – расслабиться.

Персуорден был решительно невыносим весь вечер – что ж, на него время от времени наезжало. Он целеустремленно надирался, и ничто, кроме крепких напитков, не способно было привлечь его внимание. Маленький ритуал с Фатимой, казалось, избавил Жюстин от всякой стесненности; она обрела свободу быть естественной, ходить по дому с «характерным дерзким выражением лица, как будто в легкой истерике, способная выругать платье, зацепившееся за дверцу буфета», или остановиться перед огромным, в форме меча, зеркалом, чтобы бросить себе в лицо пару слов. Она рассказала нам о маске, добавив печально: «Я знаю, это отдает дешевой и театром: когда я ложусь спать, я поворачиваюсь к стене и говорю с маской. Я прощаю себе свои грехи, как прощаю согрешивших против меня. Иногда я психую и стучу кулаком в стену; когда вспоминаю некоторые глупости – они ничего не значат для посторонних, да и для бога – если бог есть. Я говорю с кем-то, кто, как мне кажется, живет в зеленом и тихом месте, как в 23-м Псалме ⁶⁸». Она подошла, положила мне голову на плечо и обняла меня: «Вот потому-то я и прошу тебя так часто: будь со мной чуть-чуть нежнее. Я строила башню, и камень дал трещину. Мне хочется, чтобы меня тихо гладили и говорили ласковые слова, ты же делаешь это для Мелиссы; я знаю, ты любишь ее, не меня. Разве можно меня любить?»

Персуорден, как мне показалось, был застигнут врасплох естественностью и очарованием этих слов – он отошел в дальний угол комнаты и уставился на книжные полки. Увидев собственные книги, он сперва побледнел, потом покраснел, хотя я так и не понял – от стыда или от злости. Он обернулся к нам, хотел что-то сказать, но передумал. Он повернулся еще раз, с видом виноватым и раздосадованным, чтобы снова очутиться лицом к лицу с непристойной книжной полкой. Жюстин сказала: «Если вы не сочтете меня бестактной, мне бы очень хотелось попросить вас надписать для меня одну из них», – но он не ответил. Он стоял абсолютно неподвижно, уставившись на полку, со стаканом в руке. Потом развернулся на пятках, и вдруг оказалось, что он совершенно пьян; он произнес каким-то звенящим голосом: «Современный роман! Куча дерьма, и навалили ее негодяи в тех самых местах, где грешили!» Он тихо зава-

⁶⁸ В православной традиции – 22-й Псалом («Господь пасет меня и ни в чем не даст мне нуждаться / на месте, где зелень обильна, – там Он меня поселил, у воды спокойной воспитал меня...»).

лился на бок, аккуратно поставив в падении стакан на пол, и немедленно погрузился в глубокий сон.

Засим последовавший диалог состоялся уже над бездыханным телом. Мне казалось – он спит, на самом же деле он притворился, ибо некоторое время спустя кое-что из сказанного тогда Жюстин обернулось злой сатирической новеллой, немало почему-то позабавившей саму Жюстин, хотя меня она неприятно задела. Он списал с натуры ее черные глаза, полные непролитых слез, – она говорит (сидя у зеркала, расчесывая волосы, а волосы похрустывают под гребнем и шепчут исступленно – ее голосом): «Когда я встретила Нессима в первый раз и поняла, что влюбляюсь в него, я решила спасти нас обоих. Я нарочно завела себе любовника – одного шведа, этакое скучного скота – в надежде причинить ему, Нессиму, конечно, боль и заставить его погасить в себе всякое ко мне чувство. Шведская жена шведа бросила, и я ему тогда сказала (я на все была готова, лишь бы он не распускал соплю): “Расскажи, как она себя ведет, а я тебе ее сыграю. Когда темно, мы все просто мясо на ощупь, какого бы цвета ни были волосы, как бы ни пахла кожа. Ну давай, рассказывай, я тебе обещаю улыбку невесты – и упаду в твои объятия горою шелка”. И все это время я повторяла про себя снова и снова: “Нессим, Нессим”».

Я как раз вспомнил, весьма кстати, одно замечание Персуордена, оно, пожалуй, могло бы подвести черту под тем, как он видел наших общих друзей. «Александрия! – произнес он (это было во время одной из наших долгих прогулок при луне). – Евреи с их трактирной мистикой! Что, и вы хотите все это выразить словами? Это место, этих людей?» Может статься, в тот самый момент он и замыслил свою злую новеллу, так и эдак примеряясь к нам всем. «Есть сходство между Жюстин и ее городом – у них обеих сильный запах при полном отсутствии какого бы то ни было настоящего характера».

Я припоминаю, как мы бродили вместе той последней (навсегда) весной, пьяные мягким оцепенением, разлитым в воздухе города, тихими пассажами воды и лунного света – они полировали город, будто большую шкатулку. Эфирный сомнамбулизм одиноких деревьев на темных площадях и длинные пыльные улицы, протянутые из полуночи в полночь, голубые, как кислород, только еще более голубые. Проплывающие мимо лица становятся все отрешеннее, как драгоценные камни, – булочник замешивает в чане фундамент завтрашней жизни, любовник спешит вернуться домой, гвоздем вколоченный в серебряный шлем смятения, шестифутовые тумбы киноафиш воруют мертвенное величие месяца, – а месяц – он брошен на нервы, словно тугой гнутый смычок.

Мы сворачиваем за угол, и мир становится сетью налитых серебром артерий, неровно обрезанной по краям тьмой. В здешнем дальнем закоулке Ком-эль-Дика нет в этот час ни души, и лишь назойливый бродячий полицейский слоняется по улицам, как виноватая мысль в мозговых извилинах города. Наши шаги вызывают тротуар с мертвой мерностью метронома, двое мужчин, каждый в собственном времени и в собственном городе, отрешенных от мира, шагающих так, как ступали бы первопроходцы по мрачным каналам Луны. Персуорден говорит о книге, которую он всегда хотел написать, а еще – о той преграде, что возникает перед горожанином, стоит ему только встретить произведение искусства.

«Если представить себя спящим городом, к примеру... а, каково? Можно сидеть тихо-тихо и слушать, как течет жизнь, струйками, множеством струек; желание, страсть, воля, познание, вождение, желание желать. Вот так, словно бежит миллионом ног тысяченожка с телом, не вольным с ними совладать. Просто трупом ложишься, пытаешься этаким Магелланом замкнуть бесконечность в шар. Мы никогда не бываем свободны, мы, писатели. Если бы сейчас рассвело, я говорил бы куда более стройно. Хотел бы я быть музыкален, душой и телом. Мне нужны – стиль, гармония. Не эти тонкие струйки, что сочатся сквозь барабанный бой рассудка. Это ведь болезнь века, разве нет? Потому и плещут вокруг нас тяжелые валы оккультизма. Ну вот, Кружок, Бальтазар. Он никогда не поймет, что ни с кем не нужно быть столь осторожным, как с Богом, ведь Он так властно апеллирует ко всему что ни на есть самому *низменному* в при-

роде человеческой – к нашему чувству собственной ничтожности, к страху перед неизвестностью, перед неуспехом, и прежде всего – к нашему чудовищному эгоизму, склонному даже в венце мученика видеть атлетический приз. Истинная, сокрытая сущность Бога должна быть свободна от всяких определений: стакан родниковой воды, без вкуса, без запаха, только свежесть; и конечно же, зов ее снизойдет к немногим, очень немногим истинно посвященным».

«Что же до большинства – они все это носят в себе, да только ни за что на свете в том не признаются, не станут копать вглубь. Я не верю в системы, в доктрины, даже лучшие из них способны лишь – и это максимум, на который они способны, – извратить изначальную идею. Да и вообще, все попытки означить Бога словами, идеями... Никакая частность не в состоянии объяснить полноты бытия; хотя полнота бытия время от времени просвечивает именно сквозь частности. Господи, какой же я пьяный. Если Бог захотел бы воплотиться, он стал бы искусством. Скульптурой или медициной. Вот только безумный рост знаний в разнесчастную нашу эпоху вконец отбил у нас природный нюх – нам уже не учуять нужных запахов, не взять след.

Знаешь, если закроешь свет свечи ладонью, на стену падает сетчатая тень кровеносных сосудов, живая карта внутреннего тока крови. И даже этой тишины недостаточно. Никогда там, внутри, не наступает мертвый штиль: никогда не приходит тишина, которой питается Трисмегист. Всю ночь напролет лежишь и слушаешь, как пульсирует кровь в артериях головного мозга. Чресла мышления. И ты послушно забредаешь в ловушки примеров из истории, причин и следствий. И не отдохнуть тебе, не отречься, не глянуть в магический кристалл. Ты ползешь сквозь плоть, сквозь тело, мягко раздвигая перед собой сплетения мышц – мышцы гладкие, мышцы полосатые; следишь глазами кольчатые извивы пламени на внутренностях, брюшная полость, бледные цукаты плоти, корчится в приступе удушья печень, словно засорившийся фильтр, мешок с мочой – пузырь, красный расстегнутый пояс кишечника, мягкий стынущий коридор пищевода, голосовая щель, сочащаяся слизью, мягкая, мягче сумки кенгуру. О чем я? Ты – в поисках принципиальной схемы, ты ищешь синтаксис Воли, чтобы именем его установить раз и навсегда незыблемый порядок и заглушить во рту металлический привкус безысходности. Тебя бросает в холодный пот, стылые порывы паники – когда, сокращаясь снова и расслабляясь, мягко дотрагиваются до тебя занятые своей повседневной работой внутренности, и нет им дела до человека, наблюдающего за ними, и человек этот – ты. Целый город, в постоянном движении, фабрика экскрементов – господи, прости, – ежедневное жертвоприношение. Ведешь человека к алтарю и попутно приглашаешь его в туалет. Как одно с другим соотносится? Где отыскать соответствие? Во тьме под открытым небом у железнодорожного моста ждет женщина, ждет любимого человека, а в крови ее и плоти – все то же неопишное кишение; плещется вино в невидимых миру сосудах, привратник желудка срыгивает как младенец, непостижимый, иррациональный мир простейших множится в каждой капле семени, слюны, мокроты, мускусом пахнущего пота. Он заключает в объятия спинной хребет, протоки, полные аммиака, сеющие пылью оболочки мозга, мерцает роговица в маленьком своем тигле...»

И он смеется вызывающим мальчишеским смехом и откидывает голову назад, пока не взблескивает лунный свет на великолепных белых зубах под аккуратными усиками.

В одну из таких ночей ноги принесли нас к порогу Бальтазара, и, увидев свет в его окне, мы постучали. Той же ночью из трубы допотопного граммофона (с чувством столь сильным, едва ли не с ужасом) я услышал любительскую запись голоса старого поэта, читающего строки, которые начинаются так:

Родные голоса... но где же вы? —
одни давным-давно мертвы, другие
потеряны, как если бы мертвы.
Они порой воскреснут в сновиденьях,

они порой тревожат наши мысли...⁶⁹

Эти беглые воспоминания ничего не объясняют, ни за что не в ответе: но они возвращаются снова и снова, лишь стоит мне вспомнить о моих друзьях, – как если бы сами наши привычки, оттенки наших голосов были пропитаны тем, что мы чувствовали тогда, затверженными когда-то ролями в давно сыгранных спектаклях. Скольжение шин по желтым валам пустыни под небом голубым и стылым, зимой; или же летом, пугающая сила лунного света обращает море в фосфор – тела отблескивают жестью, раздробленные во прах, в шипящие пузырьки электричества; прогулки к последнему клочку песка возле Монтазы, сквозь плотную зеленую тьму Королевских садов, крадучись, мимо дремлющего на часах солдата, туда, где море вдруг теряет силу, покалеченное сушей, и соленые валы ковыляют по песчаной отмели. Или – держась за руки, вдоль по длинной галерее, сумеречной в столь ранний час из-за странного желтого зимнего тумана за окнами. Рука ее замерзла и потому скользнула в мой карман. Она сегодня абсолютно бесстрашна, оттого и говорит, что любит меня, – раньше мне этого слышать не доводилось. Сквозь высокие узкие окна внезапно врывается шорох дождя. Темные глаза, спокойные и удивленные. Вселенский центр тьмы подрагивает и меняет очертания. «Я с недавних пор начала бояться Нессима. Он стал другим». Мы стоим перед китайскими акварелями из Лувра. «Значимость пространства», – произносит она неприязненно. Исчезли формы, размыты цвета, канул в небытие хрусталик глаза – лишь зияющий пролом, через который льется в комнату бесконечность; голубой залив, где было прежде тело тигра, изливается в суетливый воздух студии. Потом мы поднимаемся по темной лестнице на самый верх, чтоб повидать Свеву, поставить пластинку и потанцевать. Миниатюрная модель разыгрывает разбитое сердце, потому что Помбаль бросил ее после «ураганного романа» длиною едва ли не в целый месяц.

Мой друг и сам слегка удивлен силой чувства, способного заставить его думать об одной и той же женщине столь бесконечно долгое время. Он порезался во время бритья, и лицо его выглядит гротескно с наклепленными на верхнюю губу усами из пластыря. «Это город для буйнопомешанных, – повторяет он со злостью. – Я ведь едва не женился на ней. С ума сойти можно. Слава тебе, господи, в конце концов пелена упала с глаз, на том спасибо. Я просто увидел ее голой перед зеркалом. Такое, знаешь, внезапное чувство неприязни – хотя умом я не мог не признать некоторого даже ренессансного, что ли, величия: обвисшая грудь, восковая кожа, впалый живот и маленькие крестьянские лапки. Я просто приподнял вдруг голову с подушки и сказал себе: “Бог ты мой! Это же просто маленький слоник, тоскующий по слою штукатурки!”»

И теперь вот Свева тихо хлопает в платочек, рассказывая о тех экстравагантных перспективах, которые рисовал перед нею Помбаль и которым не воплотиться теперь во веки веков. «Весьма странная и небезопасная привязанность для легкого на подъем мужчины» (слышу голос Помбаля, он оправдывается). «Такое было чувство, будто ее холодное убийственное милосердие выгрызло напрочь все мои двигательные центры, парализовало нервную систему. Слава богу, я снова свободен и могу наконец заняться работой».

На работе у него нелады. Слухи о его привычках и общих взглядах на жизнь стали эхом доходить и до консульства. Лежа в постели, он планирует широкомасштабную кампанию, которая обеспечит ему орден и выдвижение на более перспективную должность. «Я пришел к выводу, что я просто обязан получить мой крестик. Я хочу устроить несколько тщательно продуманных вечеринок. Рассчитываю на тебя: мне понадобится парочка потрепанных джентльменов для начала, дабы вызвать в моем боссе отеческие чувства и беспокойство за мой социальный статус. Он, конечно, чистой воды парвеню и выдвинулся за счет состояния

⁶⁹ Перевод с новогреческого Р. Дубровкина.

жены и того, что мыслит здраво и не прочь вылизать время от времени пару высокопоставленных задниц. Но что печальнее всего – у него выраженный комплекс неполноценности в отношении моего происхождения и родословной. Он еще не решил до конца, стоит ли меня свалить; но уже забрасывал удочки на Кэ д'Орсэ, дабы проверить, насколько сильная у меня там лапа. А с тех пор, как умер мой дядюшка и мой епископ-крестный оказался замешанным в том самом грандиозном скандале вокруг борделя в Реймсе, я, конечно, уже не так уверенно стою на ногах. Надо вызвать в этом скоте покровительственные чувства по отношению ко мне, чтобы ему захотелось утешить меня, вывозить меня в свет. Уф-ф! Для начала убогую вечеринку с одной-единственной знаменитостью. Ну зачем я пошел служить? Почему у меня нет маленького такого, кругленького состояния?»

Я слышал все это сквозь наигранные слезы Свевы и, спускаясь по насквозь продуваемой ветром лестнице, снова держа ее руку в своей, думал не о Свеве и не о Помбале, но о том фрагменте из Арноти, где он пишет о Жюстин: «Похожа на женщин, думающих неким биологическим чутьем, без участия разума. Отдать себя подобной женщине – смертельная ошибка; всего-то навсего легкий чавкающий звук, как будто кошка перекусила мышинный хребетик».

Зеркальная поверхность влажных тротуаров под ногами и воздух, плотный от влаги, которой столь вожделенно ждут деревья в общественных парках, статуи и прочие перелетные птицы. Жюстин уже думает о чем-то совсем другом, медленно, в славном своем шелковом платье и в темной мятой накидке, опустив голову. Она останавливается перед освещенной витриной, и берет меня за руки так, что я оказываюсь лицом к лицу с ней, и глядит мне в глаза. «Я подумываю об отъезде, – произносит она тихим озадаченным тоном. – С Нессимом что-то случилось, и я пока не знаю – что». Затем внезапно слезы выступают у нее на глазах, и она говорит: «В первый раз в жизни мне страшно, и я не знаю – почему».

Часть 3

Пришла весна, наша вторая весна, а с ней пришел хамсин, какого не доводилось мне видеть ни прежде той весны, ни позже. Еще до восхода солнца пустынное небо приобрело коричневатый клеенчатый оттенок, затем постепенно темнело, набухало кровоподтеком, покуда наконец не проступали очертания облака, титанические охряные октавы, стекающие с неба Дельты мощно и неумолимо, словно лава по склону вулкана. Город плотно запирали ставни, как будто перед бурей. Несколько выдохом ветра и редкий холодный дождь – предшественники тьмы, готовой заслонить свет небес. И вот, невидимый во мраке закупоренных комнат, возникает из небытия всепроникающий песок, непостижимым образом являясь в складах запертой в сундуках одежды, в книгах, на картинах и на чайных ложках. В замочных скважинах, под ногтями на руках. Колючий удушливый воздух безнадежно сушит носоглотку, отдает глаза на растерзание бесчисленным конъюнктивитам. Облака сухой крови бродят по улицам, как немые пророчества; песок оседает на поверхности моря, словно пудра на локонах несвежего парика. Засорившиеся ручки, сухие губы – и тонкая светлая ретушь вдоль филе-нок жалюзи, будто пороша в начале зимы. Призрачные фелюки, скользящие каналом, с командами из упырей с заматанными лицами. Время от времени безумный ветер падает вертикально сверху и закручивает вихревым кружением город, и тогда кажется, что все живущие в нем: деревья, минареты, статуи и люди – попали в гигантский водоворот и дальнейшая их судьба однозначна: они будут втянуты пустыней, из которой поднялись когда-то, чтоб снова вернуться к безличной пластике барханов, кануть в застывшие волны песка...

Не стану отрицать, к этому времени души наши были выжаты до капли, лишь отчаяние, лишь безрассудство, лишь томление духа. Вина всегда стремится к своему пределу, к наказанию: только в наказании она обретает завершенность. Скрытая жажда хоть какого-то искупления заставляла Жюстин даже в безумии поступков давать мне фору; а может, мы оба смутно почувствовали, скованные вместе по рукам и ногам, что только какой-нибудь всеобъемлющий переворот сможет каждому из нас вернуть его обыденный здравый смысл. Дни и ночи полнились знаками и предзнаменованиями, и наше нетерпение питалось ими.

Одноглазый Хамид рассказал мне однажды о таинственном посетителе, велевшем ему повнимательнее приглядывать за хозяином, ибо хозяину грозит великая опасность, исходящая от одного из сильных мира сего. По его описанию, человеком этим вполне мог быть Селим, Нессимов секретарь; но с таким же успехом – и любой другой из 150 000 жителей провинции. Тем временем изменилось и отношение самого Нессима ко мне, трансформировавшись в заботливую до приторности нежность. Обращаясь ко мне, он употреблял теперь непривычные ласковые обороты и любовно брал меня за рукав. По временам он внезапно краснел, говоря со мной; бывало, что у него на глазах выступали слезы, и он отворачивался, чтобы скрыть их. Жюстин взирала на все это с участием, что само по себе производило на меня тягостное впечатление. Мы ранили его, и нас снадали унижение и угрызения совести, но, как следствие, мы становились лишь ближе друг другу – сообщники. Иногда она поговаривала об отъезде, иногда уезжать собирался я. Но ни один из нас был не в состоянии сдвинуться с места. Мы принужденно ждали развязки с безнадежностью и безразличием – жуткое чувство.

Несмотря на явственные сигналы опасности, мы не стали безумствовать меньше: скорее наоборот. Кошмарное чувство неотвратимости конца воцарилось над нашими поступками – и опасная бездумность. Мы даже (вот потому-то я и понял, что окончательно потерял голову) не надеялись избежать того, что ожидало нас, каких бы петель и ловчих ям ни поберегла для нас судьба. Единственное, чего мы опасались, – лишь бы нам не пришлось пережить грядущие катаклизмы порознь, лишь бы они нас не разлучили! Перед лицом неприкрытых соблазнов мученичества я понял, что наша любовь обернулась не лучшей своей стороной, самой пустой,

самой ущербной. «Какой я, наверно, кажусь тебе мерзкой, – сказала однажды Жюстин, – со всей моей непристойной кучей пожирающих друг друга идей: болезненная сосредоточенность на Боге и полная неспособность подчинить себя элементарнейшим моральным нормам, от меня же, изнутри исходящим, вроде необходимости быть верной мужчине, если уж ты его обожаешь. Меня в дрожь бросает, так я за себя боюсь, просто бросает в дрожь. Я же классическая истеричная еврейка, клинический случай для учебника по невропатологии, куда мне деваться... Если бы я только могла счистить ее с себя, как кожуру с яблока».

В то время, когда Мелисса была в Палестине – она проходила там курс лечения (деньги, чтобы отправить ее туда, я занял у Жюстин), – мы несколько раз едва не влипли. Так, например, однажды мы, Жюстин и я, были у них дома, в большой спальне. Мы только что приехали с пляжа и приняли холодный душ, чтобы смыть с кожи соль. Жюстин сидела на кровати, нагая под купальным полотенцем: она устроила из него некое подобие хитона. Нессим был в Каире, он должен был выступить в радиопередаче, посвященной какой-то благотворительной акции. За окном кивали пыльными ветвями деревья, и сквозь них доносился время от времени отзвук транспортной суеты с Рю Фуад.

Тихий голос Нессима тек из маленького черного радиоприемника, стоявшего подле кровати, обращенный стараниями микрофона в голос малознакомого, прежде времени состарившегося мужчины. Пустые, бессмысленные фразы висли в воздухе, в нашем молчании, пока вся комната не пропиталась запахом банальности. Но голос был красив, голос человека, ценою долгого кропотливого труда избавившего себя от всякого намека на чувства. За спиной Жюстин была открытая дверь в ванную. В дверной проем видна была сквозь стерильной чистоты стекло еще одна дверь, выходящая на пожарную лестницу, – дом был выстроен вокруг двора-колодца так, чтобы все его кухни и ванн комнаты могли быть соединены между собой паутиной металлических лестниц наподобие той, что облепляет стены машинных отделений океанских кораблей. Внезапно, пока голос еще звучал и пока мы внимали ему, лучиком света в комнату проник дробот легких шагов по железным ступенькам за дверью, ведущей в ванную: сомнений быть не могло, по лестнице поднимался Нессим – или любой другой из 150 000 жителей провинции. Взглянув через плечо Жюстин, я увидел, как показались в матовой стеклянной панели наружной двери голова и плечи высокого стройного мужчины в мягкой фетровой шляпе, низко надвинутой на глаза. Он проявился из тьмы, как снимок в кювете фотографа. Фигура помедлила, задержав руку на дверной ручке. Жюстин, заметившая направление моего взгляда, обернулась. Она обняла меня голой рукою за плечи, и вдруг нас окутало облако абсолютного спокойствия, в основании которого, словно бьющееся сердце, трепетало лихорадочно бесплодное сексуальное возбуждение: мы сидели и смотрели на застывшую между двумя мирами темную фигуру, словно прорисованную на рентгеновском экране. Он застал бы нас неестественно застывшими, как перед фотокамерой в ожидании вспышки, с выражением не вины, нет, но невинного облегчения на лицах.

Невообразимо долго человек за дверью стоял без движения, как будто в глубоком раздумье, может быть, он просто прислушивался. Затем он качнул головой, один раз, неторопливо; еще секундой позже он повернулся с видом смущенным и растерянным и медленно стек со стекла. Уходя, он, как мне показалось, сунул что-то в правый карман плаща. Мы выслушали медленно утихающий звук шагов по железной лестнице в колодце – унылая гамма, все ниже, ниже и ниже. Не произнеся ни слова, мы с томительным вниманием обернулись к маленькому черному радиоприемнику, из которого все так же ровно лился мягкий, интеллигентный голос Нессима. То, что он мог одновременно находиться в двух разных местах, казалось сверхъестественным. И только когда диктор проинформировал нас, что речь его передавалась в записи, до нас дошло. Почему он не открыл дверь?

Вероятнее всего, он просто был охвачен той головокружительной нерешительностью, которая у натур миролюбивых непременно следует за побуждением к действию. Некая суб-

станция накапливалась в нем все это время, зернышко к зернышку, куда вес возведенных насыпей не стал невыносимым. Он осознал происшедший в нем глубокий внутренний слом, где-то в самом центре, в фундаменте души, которая наконец стряхнула с себя затянувшийся паралич лишенной силы и воли любви, доселе руководившей всеми его поступками. Мысль о простом законченном действии, о четком векторе воли, к добру ли, ко злу, предстала перед ним с опьяняющей новизной. Он почувствовал себя (или мне так показалось) азартным игроком, готовым поставить скудные остатки промотанного состояния на один отчаянный бросок костей. Но решимость его еще не обрела формы. По которой из дорог сделать первый шаг? Коловращение фантастических видений, беспокойные сны.

Позволю себе предположить, что в самой этой решимости слились воедино два основных потока: с одной стороны, досье, собранное его агентами на Жюстин, достигло таких объемов, что игнорировать его и дальше было бы просто немыслимо; с другой стороны, его преследовала неожиданно выросшая в опасное и злобное существо мысль: Жюстин наконец-то готова влюбиться по-настоящему. Казалось, меняется сама дозировка основных компонентов ее личности; впервые в жизни он видел ее задумчивой, рассудительной и переполненной отголосками нежности, какими женщина всегда может позволить себе оделить мужчину, уже нелюбимого. Видите ли, он ведь тоже вынюхивал ее следы на страницах Арноти.

«Сначала я думал: надо дать ей шанс пробиться ко мне сквозь чашобу Проклятия. Когда бы ни наступала меня жалищая мысль об ее изменах, я говорил себе – она не охотница до наслаждений, она ищет боли, чтобы найти себя – и меня. Я считал, что, если какой-нибудь мужчина окажется в состоянии освободить ее от себя самой, она станет доступной для каждого, а уж у меня-то прав на нее больше, чем у кого бы то ни было. Но вот я увидел, как она медленно оттаивает, подобно заснеженным верхушкам гор летом, и страшная мысль посетила меня: тот, кто снимет с нее Проклятие, тот и останется с ней навсегда, ибо даст ей покой, которого она так неистово ищет, продираясь сквозь наши тела и судьбы. В первый раз мной овладела ревность, и не без помощи страха». Так он мог бы описать свои чувства.

Но мне всегда казалось невероятным то обстоятельство, что даже и теперь он ревновал ее к кому угодно, только не к истинному предмету интереса Жюстин – не ко мне. Невзирая на все более и более веские доказательства, он едва ли осмеливался заподозрить меня. Нет, не любовь слепа, но ревность. Сколько еще времени утекло, прежде чем он заставил себя поверить бесчисленным свидетельствам, нагроможденным его агентами вокруг нас, вокруг наших встреч, наших жестов и реплик. Но зато уж теперь факты столь ясно говорили сами за себя: ошибки быть не могло. Возникла проблема: как от меня избавиться – ведь речь идет не только и не столько о моей брэнной плоти. Ибо я стал всего лишь неким бесплотным образом, застывшим ему свет, стоявшим на его дороге. Я мог умереть, мог уехать. Он еще не решил. Эта неопределенность пьянила его. Конечно, я всего лишь предполагаю, реконструирую.

Были и другие проблемы – оставшиеся в наследство от Арноти, так и не сумевшего их решить; с чисто восточным любопытством Нессим подхватил их и не упускал из виду все эти годы. Он уже почти добрался до человека с черной повязкой на глазу, близко, никто из нас не подходил к нему ближе. Вот и еще одна забота для знающего слишком много – как развязать этот узел? Если Жюстин и в самом деле постепенно освобождается от его власти, что толку мстить живому телу таинственного обитателя ее подкорки? Да, но если я вдруг займу вакантное место, что тогда?..

Я спросил Селима прямо, не заезжал ли он ко мне домой, чтобы предупредить одноглазого Хамида. Вместо ответа он опустил голову и произнес еле слышно: «Мой хозяин сам не свой последнее время».

Между тем мои собственные обстоятельства приняли вдруг нелепый и неожиданный оборот. Как-то ночью раздался оглушительный стук в дверь, я открыл, и в комнату мою вошел щеголеватый египетский армейский офицер в сияющих сапогах и роскошной феске, под мыш-

кой у него была гигантская мухобойка с рукоятью из черного дерева. Звали его Юсуф-бей, по-английски он говорил почти безупречно, небрежно роняя уголком рта за словом тщательно подобранное слово, у него были открытое угольно-черное лицо и ослепительно-белые ровные зубы, как две нитки отборного мелкого жемчуга. В него невозможно было не влюбляться с первого взгляда, как в говорящий арбуз, прямым парходом из Кембриджа. Хамид принес ему обязательный кофе с липким ликером, и, поверх кофейной чашечки, он сообщил мне, что один мой большой друг, занимающий весьма высокопоставленную позицию, очень желал бы встречи со мной. Я сразу подумал о Нессиме; но этот мой друг, авторитетно заявил арбуз, англичанин и – официальное лицо. Большого сказать он не имеет права. Его миссия носит конфиденциальный характер. Не хочу ли я проехать с ним, дабы навестить моего друга?

Я полон был дурных предчувствий. Александрия, столь добродушная с фасада, в действительности не самое безопасное место для христианина. Только лишь на прошлой неделе Помбаль явился домой с историей о шведском вице-консуле, чья машина сломалась на Матругском шоссе. Он оставил в автомобиле жену, одну, чтобы дойти до ближайшей телефонной будки, позвонить в консульство и попросить их прислать другую машину. Когда он вернулся, ее тело сидело, как и положено, на заднем сиденье – без головы. Вызвали полицию, прочесали всю округу. Среди прочих решили допросить и бедуинов из лагеря неподалеку. Пока они старательно отрицали всякую свою причастность и уверяли, что даже слыхом ни о чем подобном не слыхали, недостающая голова выкатилась из передника одной из их женщин. Они позарились на золотые зубы, столь откровенно портившие ее официальную улыбку. Подобные происшествия были не такой уж редкостью, чтобы вдохновить нормального человека на визит в незнакомый квартал после захода солнца, так что я без особого воодушевления проследовал за офицером к служебной машине, устроился на заднем сиденье за спиной одетого в униформу шофера и принялся наблюдать в окошко, как меня увозят в сторону самых значных районов города. Юсуф-бей поглаживал тоненькие нитяные усики с предупредительным видом музыканта, настраивающего инструмент. Задавать вопросы было бессмысленно: у меня не было никакого желания обнаруживать свои страхи. Так что я сдался в душе на милость победителя, прикурил сигарету и устался на бегущую мимо длинную размытую полосу Корниш.

Но вот машина высадила нас, и Юсуф-бей повел меня пешком через заворот маленьких улочек и переулков неподалеку от Рю де Сёр. Если они хотели, чтобы я окончательно отчаялся вернуться сегодня домой хотя бы живым, они своего добились почти сразу. Юсуф-бей шагал впереди легкой, уверенной походкой, тихо мурлыча себе под нос. В конце концов мы вышли из теснин на просторы какой-то окраинной улицы, сплошь застроенной торговыми складами, и остановились перед массивной резной дверью; он сперва позвонил, а затем распахнул ее настежь. Внутренний дворик с чахлой пальмой посередине; пересекавшая его дорожка была освещена парой тусклых фонарей с засыпанными гравием основаниями. Мы миновали двор и поднялись по лестнице туда, где замороженная груша электрической лампочки бесстрастно освещала высокую белую дверь. Он постучал, вошел и отдал честь – одним движением. Я шагнул следом и попал в большую, достаточно элегантно обставленную, залитую теплым светом комнату с отполированным до блеска полом, украшенным вдобавок чудесными арабскими коврами. В дальнем углу, угнездившись за высоким инкрустированным столом, с видом гнома, едущего верхом на грошике, восседал Скоби, и на лице его чопорность знающего себе цену государственного мужа боролась с ласковой улыбкой. «Господи!» – выдохнул я. Старый пират издал смешок в духе Друри Лейн и сказал: «Наконец-то, старина, наконец-то!» – но с места не встал, словно стараясь получше освоиться на неудобном стуле с высокой спинкой: феска на голове, мухобойка на коленях, общий вид слегка потертый, но впечатляющий. Я заметил, что на погонах у него прибавилось по звездочке, знаменуя бог весть какой скачок в силе и славе. «Садись, старина», – произнес он, сделав нелепый, смутно похожий на манеру жестикуляции времен Второй империи, жест рукой, как будто отпилил кусочек воздуха. Юсуф-бей был ото-

слан и, ухмыляясь, удалился. Мне показалось, что Скоби не слишком-то уютно чувствует себя в столь шикарной оправе. У него был вид человека, готового в любой момент встать в оборонительную позу. «Я попросил их взять тебя, – сказал он, понизив голос до театрального шепота, – имея на то чрезвычайно веские причины». На столе у него покоились несколько зеленых папок и стеганный чехольчик для чайника – у этого последнего вид был до странности развоплощенный. Я сел.

Он быстро встал и открыл дверь. Снаружи никого не было. Он отворил окно. На карнизе тоже никого не оказалось. Он накрыл чехольчиком телефонный аппарат и снова сел на место. Затем, наклонившись вперед и уставясь на меня стеклянным глазом, он сказал с мрачной миной профессионального заговорщика, тщательно подбирая слова: «Только никому ни слова, старина. Поклянись, что не скажешь никому ни единого слова». Я поклялся. «*Они сделали меня главой Секретной службы*». Страшная фраза по капле стекла сквозь его искусственную челюсть. Я удивленно кивнул. Он глубоко, едва не всхлипнув, вдохнул, словно скинув с плеч некое бремя, и продолжил: «Старик, война уже не за горами. Информация для служебного пользования». Он приставил к виску длинный указательный палец. «Вот тут-то и начнется заваруха. Враг работает день и ночь, старина, прямо среди нас». Не согласиться с этим было невозможно. Все, на что я был годен теперь, – так это дивиться на нового Скоби, сидевшего передо мной, этакой картинкой из бульварного журнала. «Ты можешь помочь нам пустить их на дно, старина, – продолжал с непрошибаемой серьезностью чревоушастый Скоби. – Мы хотим взять тебя в штат». Это звучало куда более дельно. Я стал ждать подробностей. «Самая опасная шайка окопалась именно здесь, в Александрии, – старина Скоби скрежетал и завывал уже во весь голос, – и ты оказался в самой середке. Все они – твои друзья».

Сквозь насупленные брови и раскоординированный от возбуждения стеклянный глаз я увидел вдруг Нессима, – короткая вспышка, как по наитию, – сидящего за массивным столом в холодном сплетении стальных трубок, в конторе, не спускающего глаз с телефона, и на лбу его крупные бисерины пота. Он ждал сообщения о Жюстин – еще один поворот ножа. Скоби покачал головой. «Нет, речь не столько даже о нем, – сказал он. – Он замешан в деле, конечно же. Но командует человек по имени Бальтазар. Смотри, что перехватила наша цензура».

Он извлек из папки открытку и протянул ее мне. У Бальтазара изысканный почерк, и руку я узнал немедленно; но я не смог сдержать улыбки, когда увидел на обороте открытки всего лишь шахматную диаграмму *бустрофедона*. Маленькие квадраты, заполненные греческими буквами. «У него хватает наглости, черт его дерит, даже не запечатывать их в конверты». Я изучил диаграмму и попытался вспомнить то небольшое в оккультном счислении, чему успел научиться у моего друга. «Система девятого уровня сложности, – сказал я. – Слишком сложно для меня». – «Они устраивают регулярные сходки, старина, обмениваются информацией, – сказал Скоби, снова перейдя на ультразвук. – Это я знаю наверняка». Я тихо взвесил открытку кончиками пальцев, а в ушах моих эхом отдавался голос Бальтазара: «Долг мыслителя – навести на мысль; долг святого – молчать о постигнутом».

Скоби откинулся на спинку стула, не пытаясь скрыть самодовольной улыбки. Он надул щеки – этакий зобастый декоративный голубь. Он снял с головы феску, оглядел ее милостиво и покровительственно – и надел сверху на чехольчик для чайника. Затем он поскреб костлявыми пальцами изрытый извилинами череп и продолжил: «В общем, мы никак не можем их расшифровать. Их у нас дюжины, – он показал мне папку, полную фотокопий таких же точно открыток. – Наши дешифровщики головы над ними повывихнули: а ведь у нас есть даже университетские старшекурсники, гении в математике. И все по нулям, старина». Тоже мне удивил – подумал я, опуская открытку на пачку фотокопий и возвращаясь к созерцанию Скоби-контрразведчика. «Вот здесь-то в игру включаешься ты, – сказал он, скорчив рожицу, – если, конечно, ты согласен, старина. Нам нужен ключ к шифру, сколько бы времени у тебя это ни заняло. Мы дадим тебе чертовски хорошее жалованье, а? Что скажешь?»

Что я мог сказать? Идея была чересчур хороша, чтобы дать ей погибнуть. К тому же за последние несколько месяцев я настолько запустил свои школьные дела, что пребывал в полной уверенности – в конце семестра контракта со мной не возобновят. Я постоянно являлся в школу прямо со свидания с Жюстин и, понятное дело, постоянно опаздывал. До тетрадок я вообще перестал дотрагиваться. С дирекцией, а заодно и с коллегами-учителями стал вести себя просто по-хамски. И вдруг – возможность полной независимости. В голове моей возникла фраза, сказанная Жюстин, ее голосом: «Любовь наша стала подобна постыдной оговорке в общеизвестном афоризме», – я подался вперед и кивнул. Скоби испустил счастливый вздох и облегченно расслабился, а расслабившись, снова вдруг стал – пиратом. Он перепоручил свою контору невидимому Мустафе, обитавшему, очевидно, где-то в кишочках черного телефонного аппарата, – Скоби всегда глядел в телефон как в глаза собеседнику. Мы вышли вместе и снизошли до услуг служебного автомобиля, мигом умчавшего нас обратно к морю. Дальнейшие детали моего трудоустройства можно было с не меньшим успехом обсудить за маленькой бутылочкой бренди, припасенной на случай в нижнем ярусе его поставца.

Мы любезно позволили высадить нас на Корниш и прошли остаток пути пешком, миропомазанные пряным великолепием лунного света, глядя, как распадается на составные части и снова собирается воедино город в вяло текших синусоидах вечерней дымки – набрякнув инертной ленью лежащих вокруг пустыни и Дельты, зеленой аллювиальной Дельты; ленью, ввевшейся в самое его нутро, альфой и омегой всех его ценностей. Скоби всю дорогу болтал, перескакивая с пятого на десятое. Я помню, он клятвенно уверял меня в том, что остался сиротой едва ли не во младенчестве. Его родители погибли вместе и при весьма драматических обстоятельствах – позже он почерпнул в их смерти немало пищи для размышлений. «Мой отец был одним из автомобильных пионеров, старина. Первые гонки, бешеные скорости: миль, наверное, двадцать в час – ну и все такое. Было у него свое собственное ландо. Как сейчас, его вижу, за рулем, с большими усами. Полковник Скоби, кавалер Военного креста. Служил в кавалерии, улан. И мать тоже сидит с ним рядом, старина. Никогда не расставались, даже во время гонок. Она у него была за механика. В газетах вечно публиковали их фотографии, вместе, на старте, на лицах густые такие сетки, как у пасечников, – бог знает, зачем пионеры носили эти сетки. Может, пыль».

Из-за сеток они и погибли. На крутом повороте во время гонок по маршруту Лондон – Брайтон на старом Брайтонском тракте сетку его отца, сидевшего за рулем, затянуло в переднюю ось. Его вышвырнуло на дорогу, а машина пролетела вместе с матерью чуть дальше и врезалась в дерево. «Он, правда, всю жизнь именно о такой смерти и мечтал, единственное утешение. Они на четверть мили опережали ближайшего соперника».

Нелепые истории с трагическим концом всегда приводили меня в восторг, и я лишь ценою титанических усилий сдерживал приступы смеха, пока Скоби живописал сей прискорбный случай, зловеще вращая стеклянным глазом. И все же, пока он говорил, а я внимал ему, половина моих мыслей бежала по обходной дорожке, пробуя на вкус мою новую работу, пытаюсь выразить ее в терминах долгожданной свободы. В тот же вечер, но позже, Жюстин должна была ждать меня неподалеку от Монтазы – шикарный автомобиль тихо гудит, будто бражник, в овеваемой пальмами полутьме у дороги. Как она на это посмотрит? Конечно, она будет рада моему освобождению от кандалов нынешних моих способов зарабатывать деньги. Но будет и легкий шок, неприметная гримаса неудовольствия – ведь эта свобода сделает возможным дальнейшее взаимопроникновение душ: и разрастание лжи, а еще – поможет нашим судьям поймать нас с поличным. Вот и еще один парадокс любви: та самая вещь, что сблизила нас, – *бустрофедон* – может, овладей мы теми качествами, которые за ней стояли, разлучить нас навсегда, едва лишь мы, ослепленные друг другом, переступим черту дозволенного.

«А между тем, – слышу я голос Нессима, тихий, без напряжения голос человека, которому случилось любить по-настоящему, но не получить любви взамен, – я между тем пребывал

в головокружительном возбуждении, и единственный способ расслабиться был – действовать, но природы достаточного и необходимого действия я никак не мог распознать. Дикие вспышки самонадеянности чередовались с приступами депрессии, столь глубокими, что я думал – не выберусь. Со смутным чувством, будто я готовлюсь к состязаниям – как атлет, – я стал брать уроки фехтования и тренироваться в стрельбе из карманного пистолета. Я одолжил у доктора Фуад-бея учебник токсикологии и углубился в штудии химического состава и воздействия различных ядов». (Я выдумал слова – не смысл слов.)

Мало-помалу он стал замечать за собой движения души, анализу не поддающиеся. Периоды опьянения сменялись вяло текущими днями, когда он в полной мере чувствовал тяжесть одиночества, в первый раз в жизни: дух его бился в агонии, а он никак не мог найти выхода, ни в живописи, ни в деятельности – хоть какой-то. Он постоянно думал о своем детстве и юности: дом матери, прохладный среди пуансеттий и пальм Абукира, плещет вода между бастионами старого форта, волна за волной, вымывая к ногам день за днем из самого раннего детства, и лепит из них, как из глины, единое ощущение детскости, рожденное зрительной памятью. За эти воспоминания он цеплялся со страхом и ясностью видения, ранее ему неизвестными. И все это время под шелковым покровом нервного истощения – ибо незавершенное, несовершенное действие, обертон его бессонниц, жгло его изнутри, как *coitus interruptus*⁷⁰ – плодился вирус возбуждения: Нессимов разум был против него бессилён, более того, он отказывался сопротивляться. Его словно подстрекали изнутри подойти ближе, еще ближе... к чему? Он не знал; но здесь его охватывал издревле знакомый страх безумия, чувство равновесия покидало его, и время от времени нападали приступы головокружения, заставлявшие вслепую раскидывать в стороны руки в поисках – стула? дивана? – чтобы сесть. Он садился, дыхание едва заметно учащалось, и на лбу понемногу проступал пот; и первое чувство после приступа было – чувство облегчения: внутренняя его борьба осталась незаметной постороннему глазу. Еще он стал замечать, что невольно повторяет вслух фразы, которым отказывался внимать его разум. «Прекрасно, – услышала как-то раз Жюстин его замечание, обращенное к одному из зеркал, – ты становишься неврастеником!» Чуть позже, когда он окунулся в искристый, пронизанный серебряными иглами звезд воздух, Селим, сидевший за рулем, услышал продолжение: «Не кажется ли тебе, что эта еврейская лиса сожрала твою жизнь?»

Иногда ему хотелось – не то чтобы помощи – элементарного человеческого тепла; доктор, который ушел и оставил его стоять среди комнаты с рецептом в руках; тонизирующие и режим; лекарств он пить не стал, режиму не следовал. Однажды он увидел колонну монахов-кармелитов, пересекавших церемонным маршем Неби Даниэль, – их тонзуры сияли, как павианьи задницы, – и ему пришла в голову мысль возобновить давным-давно увядшую дружбу с отцом Павлом, казавшимся когда-то столь искренне счастливым человеком, ибо религия облегла его, как футляр бритву. Он выслушал положенный набор утешений от этого добродушного, довольного собой и миром, лишённого всякого намека на воображение хряка – и его едва не стошнило.

Как-то ночью он опустил себя у себя в спальне на колени – чего не делал с тех пор, как ему минуло двенадцать, – и заставил себя молиться. Он простоял так достаточно долго, в полном оцепенении, тупо и немо глядя в одну точку, не в силах связать ни единой мысли, не в силах вымолвить хоть слово. Это было похоже на ступор. Стоял он до тех пор, пока не понял, что больше не может, что еще минута – и он задохнется. Тогда он забрался в постель и укрылся с головой, шепча несвязные обрывки молитв и едва ли не заклинаний, совершенно ему неизвестных.

Внешне, однако, метания эти никак на нем не сказывались: речь его оставалась сухой и выверенной, несмотря на скрытую лихорадку мысли. Доктор поздравил его: отличные

⁷⁰ Прерванное соитие (лат.).

рефлексы, в моче ни капли лишнего белка. Побаливает изредка голова? – что ж, вот и еще одно доказательство: вы всего-то лишь навсего подвержены легким мигреням – или другим подобным же недугам, характерным для тех, кто богат и празден.

Сам он был готов страдать сколь угодно долго, пока страдание остается подконтрольным его сознанию. Единственное, что его пугало, так это состояние полного и безысходного одиночества – подобную реальность, и он сам прекрасно это понимал, ему ни за что на свете не передать, не сделать доступной ни для друзей, ни для врачей, к которым можно было бы обратиться за консультацией по поводу имеющихся поведенческих аномалий: они примут их всего лишь за симптомы какого-нибудь незначительного расстройства.

Он судорожно ухватился за живопись – но толку не вышло и здесь. Творить по наитию уже не получалось, он обдумывал каждую деталь, и картины выходили безжизненными и унылыми. Даже работать кистью стало тяжело – невидимые пальцы навязчиво хватили за рукав, мешали, советовали, сводя на нет свободу и легкость движения.

В таком вот сумеречном состоянии души он вновь возвратился, тщетно пытаясь вернуть утраченное самообладание и спокойствие духа, к мысли о завершении работ в Летнем дворце: несколько лет назад он в шутку назвал так горстку арабских сараюшек в Абузире. Когда-то давно он ехал верхом вдоль пустынного берега моря – ехал далеко, в Бенгази – и наткнулся на небольшую ложбину в песках, меньше чем в миле от моря, и в этой ложбине пробивался сквозь толстую шкуру песка родник: тонкая струйка воды петляла между дюнами, прежде чем окончательно среди них затеряться. Бедуины, охваченные, очевидно, внезапным приступом ностальгии по зеленому цвету, столь близкой сердцу каждого обитателя пустыни, посадили здесь фиговое дерево и пальму; деревья принялись, и корни их уверенно вцепились в невидимый глазу слой песчаника под песком, откуда и пробивалась наружу вода. Нессим дал роздых себе и лошадям в тени двух молодых деревьев и, сидя на песке, с радостным удивлением охватил глазами заброшенный арабский форт вдалеке и длинный белый шрам безлюдного пляжа, где медленно и мощно, как лошади-тяжеловозы, играли океанские валы, день и ночь. Песчаные дюны вылепили здесь из пустоты изящных очертаний долину, как будто из глины кувшин; и его воображение уже принялось заселять ее потрескивающими на ветру стволами пальм и фиговых деревьев, которые, как всегда вблизи воды, сплели бы тень, густую и прохладную, как мокрое полотенце, брошенное на раскаленный лихорадкой лоб. Он не стал торопиться, он дал плоду вызреть; целый год он ездил сюда в разные времена года, в различную погоду и оценивал декорации. Он не говорил никому ни слова, но в глубине души уже решил построить здесь летний загородный дом для Жюстин – крохотный оазис, где она смогла бы держать троих своих чистокровных арабов и проводить самые жаркие месяцы в любимых развлечениях: купание и верховая езда.

На месте родника вырыли колодец, выложили камнем и отвели воду в мраморную емкость в самом центре маленького внутреннего дворика, вымощенного необработанным песчаником; вокруг двора стали постепенно вырастать дом и стойла. Вода прибывала, и зелень прибывала с ней вместе; от пятен тени отделились абстрактные зубчатые формы кактусов и сочные фонтанчики маиса. Со временем удалось разбить даже и бахчу – этакий экзотический переселенец откуда-нибудь из Персии. Конюшня в арабском стиле из неотесанного камня повернулась спиной к зимнему ветру с моря, появился и дом в форме латинского L, скопище кладовых и маленьких жилых комнат с металлическими ставнями на зарешеченных окнах.

Две или три крошечные спаленки, похожие на кельи средневековых монахов, выходили в просторную, приятных продолговатых очертаний комнату с низким потолком, служившую гостиной и столовой одновременно; перемычки дверей и окон были расписаны узором, скопированным с арабской керамики, – и в дальнем конце камин, массивный и белый. У противоположной стены стоял каменный стол с каменными же скамьями, будто в монастырской трапезной у пустынных отцов-отшельников. Излишняя суровость комнаты скрашена была богатыми

персидскими коврами и парой огромных резных сундуков с затейливым золоченым орнаментом на массивных запорах и боках, обитых полированной кожей. Продуманная простота, высший сорт великолепия. На неоштукатуренных чисто выбеленных стенах между окнами – узкими пейзажами пустыни и пляжа – несколько трофеев хозяина дома, охотника и мыслителя: значок с арабской пики, буддийская мандала, несколько ассегаев в изгнании, длинный лук (все еще в боевой готовности, с ним охотились по временам на зайцев), вымпел с яхты. Ни единой книги, кроме старого Корана с крышками из слоновой кости и тусклыми металлическими застежками, – но несколько карточных колод на полках и среди них Таро для любительских гаданий и комплект «Счастливых семей»⁷¹. В одном из углов стоял старинный медный самовар, верный пособник в присущей им обоим страсти к чаепитиям.

Работа продвигалась медленно и раздумчиво, когда же наконец, не выдержав постоянной борьбы с желанием поделиться тайной, он привез туда Жюстин – она бродила по дому, по уютным его комнатенкам, от окна к окну, цепляя взглядом то изумрудное море, набегающее на песок, то сплавленное на востоке с небом безбрежие барханов, закрученных, как раковины, – и в глазах у нее стояли слезы. Затем она, как всегда порывисто, села перед огнем и сквозь треск горящих веток колючего кустарника стала слушать чистый, мягкий рокот моря на длинном пляже, смешанный с фырканием лошадей в новых стойлах напротив, с перестуком их копыт. Была поздняя осень, и в сырых угасающих сумерках засновали вокруг светляки, доставив им радость думать, что их оазис уже населен, уже успел для кого-то стать домом.

Нессим начал, Жюстин довершила. Маленькая терраса под пальмой была продолжена к востоку и обнесена стеной, дабы сдерживать равномерный натиск песка, – за зиму песок продвинулся и покрыл булыжник во дворе слоем толщиной в шесть дюймов. Можжевельная поросль, насаженная против ветра, внесла свою первую тускло-медную лепту в будущий перегной, в почву, которая позже даст жизнь и опору кустарнику и другим, более высоким деревьям.

Предупредительность за предупредительность – и Жюстин постаралась воздать должное тогдашнему его увлечению – астрономии. В одном из углов L-образного дома она оборудовала маленькую обсерваторию и поселила в ней тридцатикратный телескоп. За ночью зимнюю ночь проводил здесь Нессим, одетый в ржавого цвета абайю, – отыскивал в небе Бетельгейзе или, отрешенный от мира, склонялся над столбиками цифр, более всего похожий на средневекового предсказателя. Друзья дома также могли полюбоваться в телескоп луной либо, чуть изменив угол наклона, поймать мимолетный дымчатый отблеск жемчужного цвета облаков над городом: его дыхания, часто различного издалека.

Хозяйство, конечно же, нуждалось в присмотре, и они нимало не удивились, когда появился из ниоткуда Панайотис и поселился в крошечной камерке подле конюшни. Этот старичок с окладистой бородой и глазами-буравчиками лет двадцать проработал школьным учителем в Даманхуре. Затем принял постриг и девять лет провел в синайском монастыре Св. Екатерины. Что привело его в оазис, не знал никто, ибо на каком-то из этапов его жизни, на первый взгляд лишенной всякой событийности, ему отрезали язык. На вопросы он отвечал малопонятными знаками, но вроде бы он просто проходил мимо – шел пешком на запад, поклониться раке Св. Мены – и наткнулся на оазис. Как бы то ни было, в его решении остаться здесь они не заметили ничего странного. Он словно и жил здесь всегда и за небольшую плату принял на себя обязанности бессменного сторожа и садовника. Крепкий еще, невысокого роста старик, подвижностью напоминавший паука, ревниво опекавший каждую травинку, жизнью обязанную его трудолюбию и упорству. Именно он убедил остаться в живых дынные плети на бахче и уговорил виноградную лозу пуститься наконец в путь вверх по косяку главного входа. Вместо смеха он издавал невнятное кудахтанье и прятал лицо в обтрепанном рукаве старой сутаны.

⁷¹ Игра с картами, на которых изображены члены разных воображаемых семейств с говорящими «профессиональными» фамилиями. Цель игры – собрать семью полностью.

Греческая разговорчивость, запруженная немотой, искрилась и плясала в его глазах, стоило ему услышать хоть слово. Чего еще желать от жизни, казалось, говорил он, если ты получил в подарок оазис у моря.

И в самом деле – чего еще? – думал Нессим из раза в раз, сидя в летящем сквозь пески автомобиле с ястребиноликим Селимом, неподвижно застывшим за рулем. За несколько миль до арабского форта дорога перестает слепо следовать линии берега и поворачивает в глубь материка: чтобы добраться до оазиса, нужно съехать с гудронированного шоссе и держаться далее хрящеватого каменного обнажения – взблескивают прожилки слюды, как белок разбитого яйца. Машину бросает из стороны в сторону, колеса, кажется, вот-вот увязнут в песке, но под слоем песка они непременно находят ломкий песчаник, спинной хребет мыса. До чего же было здорово лететь, взбивая песчаный бурун, сквозь белое хрусткое море, как яхта при попутном ветре.

Нессиму не в первый раз приходила в голову мысль – изначально идея принадлежала Персуордену – отплатить Панайотису за преданность единственно возможным способом, который не оттолкнет старика и будет ему понятен: и в полированном Нессимовом кейсе сегодня ехало особое разрешение Патриарха Александрийского на постройку и освящение небольшой часовни в память Св. Арсения, прямо в доме. Выбор святого был, как то и должно, совершенно случаен. Клеа отыскала его икону – восемнадцатый век, со вкусом написанную – среди всяческого барахла на задворках магазинчика Муски в Каире. И подарила Жюстин на день рождения.

Эти-то сокровища и предстали беспокойному, как у базарного торговца, взгляду Панайотиса. Некоторое время потребовалось, чтобы объяснить ему, в чем дело, ибо на арабский он не реагировал, а греческого не знал Нессим. Но, подняв наконец глаза, вникнув в рукописный текст официальной бумаги, он стиснул ладони, и лицо его прострелила улыбка; казалось, еще чуть-чуть, и он пойдет ко дну под грузом чувств, его обуревавших. Он понял. Теперь до него дошло, зачем Нессим часами осматривал дальше стойло, делая время от времени наброски карандашом. Он прижал руки к груди и закудаhtал. Нессим едва сумел подавить приступ черной зависти: столь искренней и всеобъемлющей была эта радость. Откуда-то изнутри камера-обскура его потаенных мыслей внимательно изучала седого человека в старой сутане, словно для того, чтобы еще раз поразиться, при более детальном рассмотрении, прямодушию, источнику счастья старого грека, источнику спокойствия его духа.

«Ну, наконец-то, – думал Нессим, – я выстрою хоть что-то своими руками, спокойно, ни о чем не думая», – и он принялся разглядывать задубевшие руки старика с восхищением и завистью и подумал о том, сколько времени убили эти руки, работая на него, сколько времени они сэкономили для него – чтобы он мог думать. Он вычитал в них знаки ушедших годов здорового физического труда, закабаляющего мысль, сводящего рефлексию на нет. И все же... – кто знает? Годы учительства; годы монастырской жизни; и теперь – долгое одиночество зимой, оазис посреди пустыни, где только пушечные залпы морских валов да хлесткие удары пальмовых листьев аккомпанируют мысли... Дух цветет где хочет, думал он, упрямо размешивая цемент с сухим песком в деревянной бадье для раствора.

Но даже и на этот раз у него не получилось остаться одному, ибо Жюстин, тоже одержимая одиночеством, безумным и виноватым, одержимая тоской по мужчине, которого она любила и вместе с тем копала под него как могла, объявилась вскоре с тройкой своих арабов и расположилась в оазисе на летние квартиры. Беспокойная, подверженная резким сменам настроения, знакомо возбужденная. А вслед за тем и я, измученный жуткими приступами, возникшими сразу по ее отъезде, контрабандой переслал ей записку и попросил либо вернуться в город, либо же убедить Нессима пригласить меня в Летний дворец. В должное время прибыл Селим на машине и увез меня в пустыню, просидев всю дорогу за рулем в сочувственном молчании, не осмеливаясь добавить в него даже каплю презрения.

Нессим, в свою очередь, принял меня с заученной любезностью; может статься, он был даже рад поселить нас у себя под рукой, выпутав из детективной стилистики донесений своих агентов, и самому убедиться, в самом ли деле мы... что? «Влюблены»? Но это слово подразумевает полную сконцентрированность на предмете любви, а у любимой моей женщины ничего подобного и в помине не было; она неуловимо напоминала мне античных богинь, чья суть не была сконцентрирована в едином и единственном свойстве, которое можно было бы любить или не любить, но равномерным слоем краски покрывало все их существо, всю жизнь. «Желание», «обладание», с другой стороны? – нет, слишком сильно: мы все ж таки были живые люди, не бумажные шаржики в духе Бронте. Нет в английском языке нужного слова (в современном греческом – есть), чтобы обозначить любовь-страсть.

Не говоря уже обо всем этом, мог ли я, не зная ни направления, ни смысла Нессимовых дум, успокоить его, развеять его тайные страхи, сказав ему просто-напросто: Жюстин с маниакальным упорством разыгрывает со мной ту же партию, что ход за ходом записана у Арноти. Ее страсть была заболеванием воли и, поскольку питаться она могла лишь самою собой, должна была рано или поздно угаснуть, как лампа, – если прежде кто-нибудь ее не задует. Подобные мысли бродили тогда разве что на самых дальних задворках моего сознания, но именно в пустыне я обнаружил в их союзе брешь, пролом в стене. Союз сей не был основан на доверии и покое. И все же какая волшебная жизнь – какая женщина, сколько ума, сколько очарования, – как мог я влюбляться прежде, мало того, чувствовать себя счастливым?

И в то же время я испытывал немалое удивление, натываясь время от времени на собственную ипостась, на некую часть себя, сохранившую верность Мелиссе, – здесь текла своя, параллельная жизнь, уверенно и неприметно посвященная иной богине, хоть и не желавшая ее возвращения. Она писала мне письма – веселые, жизнерадостные, не испорченные ни тенью упрека или жалости к себе; и в каждом написанном ею слове я замечал, насколько уверенней она стала держаться. Маленький санаторий, где она жила, доктора, пациенты – это были записки отпускника, забавные и меткие. Казалось, она выросла – на бумаге – и стала совершенно другой женщиной. Я отвечал, я старался как мог, однако замаскировать хоть как-то жуткую неразбериху, царившую в ту пору в моей жизни, было почти невозможно; ссылаться на мою одержимость Жюстин также не имело смысла – мы двигались по расходящимся траекториям, мы жили в мире иных цветов, идей и книг, в мире, совершенно чуждом для Мелиссы. Ворота закрылись, и привратник, щелкнувший щеколдой, звался не недостатком чутья, но средой и воспитанием. «Бедность бьет по рукам, – сказала Жюстин однажды, – а богатство запирает двери». Однако сама она умела дышать воздухом обоих миров, мира нужды и мира изобилия, и в результате дышала свободно.

При всем том здесь, а оазисе, можно было по крайней мере тешить себя призраком блаженства, невозможным в городе. Поднимались мы рано и строили часовню, пока жара не заворачивала всерьез, затем Нессим удалялся со своими деловыми бумагами в обсерваторию, а мы с Жюстин скакали по невесомому песку барханов к морю, дабы убить остаток дня в плавании и разговорах. Примерно в миле от оазиса море выбило в песке огромную с неровными краями чашу, мелководную лагуну, на берегу которой, уютно пристроившись на груди песчаной дюны, стояла камышовая хижина с крышей из пальмовых листьев, служившая нам тен-том и кабинкой для переодевания. Там мы и проводили вдвоем большую часть дня. Смерть Персуордена все еще была свежей новостью, насколько я помню, и мы говорили о нем уважительно и даже с некоторым священным трепетом, словно в первый раз пытались реально оценить человека, чьи общеизвестные качества служили лишь для маскировки его истинной сути. Было такое чувство, будто, умерев, он и в самом деле сбросил земную оболочку внешности и характера и вырос до грандиозных пропорций собственных его творений, которые все более и более заслоняли его прижизненный, крошечный, тающий в отдалении силуэт. Смерть задала иной угол зрения, наделила новым статусом знакомого нам человека – то скучного, то осле-

пительного, то зануду, то неудачника, – с которым нам всем приходилось мириться. Теперь его можно было разглядеть разве что через кривое зеркало анекдота, либо же сквозь пыльную призму памяти. Позже мне доводилось слышать, как люди спрашивали, был Персуорден высок или низок ростом, носил он усы или нет: эти-то простейшие воспоминания и давались труднее всего и с наименьшей степенью достоверности. Кое-кто из знавших его близко утверждал, что глаза у него были зеленые, другим же он вспоминался кареглазым. . . Просто поразительно, насколько быстро истаял облик человека, замещенный, как в кинематографе, – наплывом, – мифологическим образом самого себя, созданным им в трилогии «*Шутник ты мой, Боже*».

В те ослепительные дни, переполненные солнечным светом, мы говорили о нем, мы пытались сохранить расплывшуюся на глазах материю человеческой памяти, пока на смену ей не пришло растущее могущество мифа; мы говорили о нем, доказывали, и отрицали, и сравнивали, словно пара тайных агентов, отрабатывающих легенду, ибо – в конце концов – подверженная тлению природа человека принадлежала *нам*, тогда как миф был собственностью мира. Тогда же я узнал о его фразе, брошенной Жюстин однажды вечером, когда они смотрели на танцующую Мелиссу: «Если бы у меня была хоть капля надежды на успех, я завтра же предложил бы ей выйти за меня замуж. Но ведь она настолько невежественна, ум ее столь безнадежно деформирован нищетой и неудачами, что она откажет мне просто из осторожности».

Но за нами шаг за шагом крался Нессим со своими страхами. Как-то утром я обнаружил слово «Берегись» (Προσοχή), написанное палкой на влажном песке у купальни. Греческое слово недвусмысленно указывало на Панайотиса, хотя и Селим превосходно владел греческим.

Следующее предупреждение коснулось меня непосредственно: случайность, имевшая место буквально через несколько дней. В поисках листа бумаги (я собирался написать Мелиссе) я зашел в Нессимову маленькую обсерваторию и принялся рыться у него на столе. Внезапно я заметил, что труба телескопа опущена вниз, так что линзы его глядели теперь не в небо, а туда, где дремал за барханами город, окутанный шелками жемчужных облаков. Ничего необычного в этом не было, ибо одним из любимых здешних развлечений была охота за изысканными телодвижениями едва различимых в телескоп минаретов сквозь плотное летнее марево. Я сел на трехногий стул и наклонился к окуляру, дабы дать возможность изменчивому, безостановочно текущему, переливчатому пейзажу усладить мой глаз. Треножник телескопа твердо стоял на каменном полу, увеличение было достаточно сильным, но жара сказывалась и на сильных приборах, одевая линзы легким флером и заставляя изображение тихо, нерегулярно дышать. И с удивлением увидел – изображение подрагивало и скакало, но было отточенным и четким, как острие булавки, – маленькую камышовую хижину, где час назад мы с Жюстин лежали друг у друга в объятиях и говорили о Персуордене. Яркое желтое пятно на песке было обложкой карманного «Короля Лира», я захватил его с собой и забыл принести обратно; если бы воздух не дрожал так сильно, я, вне всякого сомнения, смог бы прочесть заглавие на обложке. Я посмотрел в глазок еще раз, бесконечно долгое мгновение, и мне стало страшно. Как будто в знакомой темной комнате, заведомо пустой, возникла вдруг из тьмы рука и легла на плечо. Я на цыпочках вышел из обсерватории с бьюаром и карандашом в руках и опустился в кресло, с видом на море, размышляя о том, что бы такое написать Мелиссе.

* * * * *

Осенью, когда мы снялись с лагеря и вернулись в город к началу зимнего сезона, ничего еще не было решено; мало того, ощущение кризиса даже притупилось. Мы тихо покачивались в перенасыщенном растворе повседневности, из которого рано или поздно должно было выкристаллизироваться будущее, какие бы повороты сюжета ни ждали нас впереди. Мне пришлось браться за работу – теперь я работал на Скоби – и заниматься расшифровкой треклятого *бустрофедона*, безо всякой надежды на успех, между тем как Бальтазар, в перерывах между

шахматными партиями, продолжал наставлять меня в тайнознании. Я честно пытался следовать голосу совести и перво-наперво выложил людям из конторы Скоби всю как есть правду: Кружок – это безвредная секта приверженцев герметической философии, и деятельность ее не имеет к шпионажу ровным счетом никакого отношения. В ответ мне сухо разъяснили, что в мои обязанности входит не пересказ официальной легенды шпионской группы, а дешифровка кода. Затем потребовали детальных отчетов о собраниях, каковые я в должное время и представил, перепечатав на машинке рассуждения Балтазара об Аммоне и Гермесе Трисмегисте с некоторым даже стервозным удовольствием, ибо перед глазами у меня живо стояли изможденные государственные служащие, продающиеся сквозь абсолютно для них непонятный текст в сырых полуподвалах за тысячу миль отсюда. Но мне платили, и платили хорошо; в первый раз я смог послать немного денег Мелиссе и даже предпринял слабую попытку вернуть долг Жюстин.

Небезынтересно было вдобавок ко всему узнать, кто из моих знакомых работал на ту же контору. Мнемджян, к примеру: его парикмахерская была общегородской явкой, и выбор в данном случае был безупречен. Свои обязанности он исполнял с невероятным тщанием и осторожностью и вдобавок ко всему взял моду брить меня бесплатно; мне еще предстояла горечь разочарования, когда я узнал, много позже, что разведсводки свои он прилежно переписывал в трех экземплярах и продавал копии другим – не английским – спецслужбам.

У новой моей работы оказалась и еще одна забавная особенность: можно было с полным правом учинить налет на квартиру любого из приятелей. Особенно большое удовольствие я получил от обыска в апартаментах Помбаля. Бедняга имел пагубное обыкновение приносить официальные документы домой и работать с ними по вечерам в тиши и удобстве. Так что в наши руки попала целая кипа бумаг, приведших старину Скоби в неописуемый восторг, ибо среди прочего там оказались развернутый меморандум о французском присутствии в Сирии и полный список французских агентов в самом городе. В одном из списков я обнаружил имя старого меховщика, Коэна.

После обыска Помбаль долгое время не мог опомниться и около месяца ходил по городу, поминутно оглядываясь в поисках хвоста. Еще он вбил себе в голову, что одноглазого Хамида подкупили с целью его, Помбаля, отравить, и ел приготовленную дома пищу лишь после того, как я ее попробую. Он все еще надеялся получить крестик и повышение по службе, а потеря папок с документами, как он вполне разумно рассудил, нимало тому не способствовала; но мы предусмотрительно оставили ему обложки с номерами, и ему удалось незаметно поставить их на место, вложив вовнутрь записку с уведомлением, что содержимое уничтожено «согласно инструкции».

Последнее время его тщательно продуманные вечерние коктейли, куда он порой приглашал представителей самых что ни на есть постыдных профессий, вроде проституток или писателей, делались все удачнее и удачнее. Они были мучительно роскошны и скучны, и я помню, как однажды, совершенно подавленный, он попытался объяснить мне – почему: «Сам по себе коктейль – как то понятно из смысла слова ⁷² – изобрели собаки. Это просто обнюхивание, введенное в ранг церемонии». Тем не менее он упорно ставил на одну и ту же карту и был в конце концов вознагражден благосклонным вниманием генерального консула, который, помимо презрения, до сих пор вызывал в нем едва ли не детское чувство священного ужаса. Ему даже удалось убедить Жюстин, после долгих забавных в своей серьезности увещаний, показаться на одном из приемов с целью облегчить ему крестный его путь. Нам же взамен предоставил возможность поближе познакомиться с Пордром и прочими представителями не слишком мно-

⁷² Если вторая часть этого составного слова по-английски достаточно однозначна – «хвост», то о первой этого никак не скажешь. Помимо центрального в данном случае значения – «петух», «петушиный» и глагола, связанного с любым почти движением вверх, существует множество других, и среди них то самое, которое по-русски удачно замещается также давно уже не эвфемизмом «хрен».

гочисленной популяции александрийских дипломатов – эти люди по большей части казались нарисованными пульверизатором, до того бесцветны и призрачны, на мой взгляд, были их протокольные души.

Сам Пордр был похож скорее на шарж, чем на живого человека. Прирожденная мишень карикатуриста. Длинное порочное лицо, оттененное великолепной седой шевелюрой, предметом его трепетной заботы – так ливрейный лакей заботится о медных ручках на дверцах кареты. Его вопиющая неестественность (преувеличенная забота и дружелюбие по отношению к едва знакомому человеку) не могла вызвать во мне ничего, кроме раздражения, и помогла по достоинству оценить девиз, изобретенный моим приятелем для французского дипломатического корпуса, – те же слова, уже в качестве эпитафии, он мечтал увидеть на могильном камне шефа. («Посредственность его была его спасеньем».) В приглушенном свете Помбалевых приемов он сиял, как листик золотой фольги, – поверхностный блеск подобающей по долгу службы, а потому затверженной наизусть культуры.

Апогеем той вечеринки стало приглашение на обед, полученное Пордром от Нессима, – старый дипломат буквально светился от счастья, на сей раз совершенно ненаигранного. Было общеизвестно, что сам король был довольно частым гостем за столом у Нессима, и старичок явно уже строчил про себя депешу в Париж, где во первых строках стояло: «Обедая на прошлой неделе с королем, я перевел разговор на вопрос о... Он сказал... Я ответил...» Губы его шевелились, взгляд застыл, и он погрузился в характерный тихий транс, вздрогнув через несколько минут, дабы прийти в себя и одарить недоуменно умолкших собеседников глуповатой смущенной улыбкой: так улыбается треска в витрине у рыбного торговца.

Что до меня, то я испытывал странное ностальгическое чувство в маленькой, похожей изнутри на цистерну квартире, где прошли два года моей здешней жизни: вспомнив, что именно в этой комнате я в первый раз встретил Мелиссу... Квартира очень изменилась стараниями последней Помбалевой любовницы. Она заставила его обить стены панелями, крашенными в серовато-белый цвет, и пустить понизу каштанового цвета плитус. Старые кресла, сеявшие вот уже который год из прорех в боках желтоватой трухой, были заново обиты блестящей камкой с узором из геральдических лилий; три же древних дивана и вовсе исчезли, и комната стала чуть просторнее. Конечно, их уже давно продали, а то и просто выбросили вон. «Бог знает, – подумал я цитатой из старого поэта. – Бог знает, где теперь вся эта мебель»⁷³. Сколь беспощадна память, и как жестоко запускает она когти в сырой материал повседневности.

Мрачная Помбалева спальня приобрела невнятный аромат *fin de siècle*⁷⁴ и сияла чистотой, как новенькая булавка. Оскар Уайльд увидел бы в ней идеальную декорацию для первого акта. Моя собственная комната тоже изменилась, но кровать все так же стояла у стены неподалеку от жестяной раковины. Желтая занавеска, конечно, исчезла, на ее месте висела какая-то белая тряпка из плотной шерсти. Я положил руку на ржавую каретку кровати и едва не задохнулся от боли, вспомнив ясные глаза Мелиссы, обернувшейся ко мне в сумеречном полумраке комнаты. Удивление и стыд – подобного я от себя не ждал. Жюстин зашла в комнату следом за мной, я захлопнул дверь и принялся целовать ее часто-часто, губы, волосы, лицо, стиснув ее изо всех сил, она едва не задохнулась: чтобы только не дать ей заметить слез на моих глазах. Но она поняла, сразу, и, возвращая мне поцелуи в самоотверженном запале дружеского участия, прошептала: «Я понимаю. Понимаю».

И, мягко высвободившись из моих рук, увела меня из комнаты, закрыла дверь. «Мне нужно кое-что рассказать тебе. О Нессиме, – сказала она тихо. – Слушай. В среду, за день до отъезда из Летнего дворца, я поехала покататься на лошади к морю, одна. У берега были чайки, целая туча, а потом я заметила машину, она ползла сквозь дюны – к морю, за рулем

⁷³ Строка из стихотворения К. Кавафиса «Послеполуденное солнце» в переводе С. Ильинской.

⁷⁴ «Конца века» (*фр.*), стиль рубежа XIX—XX веков.

был Селим. Я никак не могла сообразить, что они делают. Нессим сидел сзади. Я думала, они застрянут, но машина выкарабкалась в конце концов на берег, на твердый песок, и понеслась вдоль кромки в мою сторону. Я была не на пляже, а в ложбинке, метрах в пятидесяти от воды. Когда они поравнялись со мной и чайки разом поднялись в воздух, я заметила, что у Нессима в руках старая магазинная винтовка. Он поднял ее и стал стрелять в чаек, раз за разом, пока не кончились патроны. Три или четыре упали в море, бились на поверхности воды, но машина не остановилась. Они так и уехали на полной скорости. Наверно, где-то можно выехать с длинного пляжа на песчаник, неподалеку от шоссе, потому что, когда я через полчаса вернулась домой, машина уже была там. Нессим сидел в обсерватории. Дверь была заперта, и он сказал, что занят. Я спросила у Селима, что они делали на пляже, он пожал плечами и указал на дверь обсерватории. «Он отдает приказы», – больше я от него ничего не добила. Но, дорогой мой, если бы ты видел, с каким лицом Нессим поднимал винтовку...» И, вспомнив, она невольно коснулась длинными пальцами скул и щек, словно пытаясь воспроизвести это выражение в собственных своих чертах. «У него было лицо сумасшедшего».

В соседней комнате шел вежливый разговор о международной политике, о ситуации в Германии. Нессим грациозно облокотился о спинку стула Пордра. Помбаль старательно глотал зевки, которые самым огорчительным образом возвращались в виде отрывки. Я все еще думал о Мелиссе. Днем я послал ей немного денег, и мысль, что она потратит их себе на платье, на хорошее платье – или даже просто глупейшим образом их растратит, – грела меня. «Деньги, – услышал я игривый голос Помбаля, он обращался к хорошо пожившей женщине с лицом кающейся верблюдицы. – Никогда не следует забывать о доходах. Ибо только лишь с помощью денег можно делать новые деньги. Мадам, вне всякого сомнения, известна арабская поговорка, гласящая: “Роскошь купит роскошь, нищете же не купить и поцелуя прокаженного”».

«Нам пора», – сказала Жюстин, и, глядя в ее теплые темные глаза, пока мы прощались, я понял, что она догадалась, насколько полны мои мысли Мелиссой; и ее рукопожатие стало еще более теплым и дружеским.

Сдается мне, в тот же самый вечер, когда она переодевалась к обеду, в комнату к ней вошел Нессим и обратился к ее отражению в мечевидном зеркале. «Жюстин, – сказал он твердо, – мне придется задать тебе один вопрос, не то у меня возникнут серьезные сомнения в собственной вменяемости; итак – Бальтазар когда-либо был тебе больше чем другом?» Жюстин как раз вставляла золотую цикаду в мочку левого уха; она подняла на него глаза, помолчала и ответила в тон, так же спокойно и ровно: «Нет, дорогой мой».

«Спасибо».

Нессим долго смотрел на свое отражение, задумчиво и напряженно. Потом вздохнул и вынул из кармана смокинга маленький золотой ключ в форме анкха. «Я понятия не имею, как он ко мне попал», – сказал он, густо покраснев, и протянул ключ ей. Тот самый ключ, потеря которого так огорчила Бальтазара. Жюстин взглянула на ключ и снова перевела на мужа несколько настороженный взгляд. «Где ты его нашел?»

«В коробочке с запонками».

Жюстин вернулась к своему туалету, но медленнее, чем прежде, удивленно глядя на мужа. Нессим упорно, с показной сосредоточенностью изучал свое отражение в зеркале. «Надо придумать способ вернуть ему ключик. Может быть, он просто обронил его при встрече. Есть одно странное обстоятельство...» Он снова вздохнул. «Нет, ничего». Им обоим было совершенно ясно, что ключик он украл. Нессим повернулся на каблуках и сказал: «Жду тебя внизу». Как только дверь за ним закрылась, Жюстин посмотрела на ключ внимательно и удивленно.

* * * * *

Тогда же, осенью, пришла к нему длинная череда видений, снов о временах давно ушедших, об историческом прошлом, вытеснив сны о детстве; и в видениях этих, словно в сетях, бился сам Город – как будто искавший долго и наконец нашедший идеальной чуткости механизм, способный воспринять, осознать и выразить коллективную волю, коллективные страсти, стержневые линии его души, его культуры. Очнувшись ото сна, он видел башни, видел минареты, впечатанные в сухое, припорошенное пылью небо – а поверх, как в комбинированных съемках, гигантские следы исторической памяти, что таится под слоем воспоминаний личных, индивидуальных, ведет и направляет память каждого отдельного человеческого существа: даже и владеет ею всецело, ибо что есть человек, как не функция от духа места.

Они тревожили его, потому как далеко не всегда избирали для визита отведенные снам ночные часы. Они раздвигали узорчатый занавес реальности и заслоняли свет дневного солнца так, словно тонкая пленка рассудка рвалась – еще, еще и еще раз – и в отверстия проникали сны.

Бок о бок с циклопическими постройками снов – галерея мудрых образов, уходящих корнями в читанные когда-то книги и в долгие часы раздумий о собственном прошлом, – набегали все более и более яростные приступы необоснованной ненависти к самой редкой и нежно лелеваемой когда-то ипостаси Жюстин, преданного друга и самоотверженной любовницы. Они были кратковременны, но столь интенсивны, что, справедливо расценив их как оборотную сторону своей к ней любви, он стал опасаться не за нее, а за себя. Ему становилось страшно, когда он брлся по утрам в стерильной белизны ванной. Он стал ходить к Мнемджану, и тот несколько раз, расправляя складки укрывавшей Нессима белой простыни, замечал у него на глазах слезы.

Грезы о прошлом прочно обосновались на авансцене его мозга, но фигуры друзей и знакомых, осязаемые, живые, никуда не ушли: они бродили неприкаянно среди развалин древней Александрии, осваивая понемногу чужое пространство и время, подобные обретшим вдруг плоть и кровь литературным персонажам. Прилежно, как клерк в конторе актуария, записывал он все, что видел и чувствовал, – в дневник, заставляя затем бесстрастного Селима перепечатывать рукопись на машинке.

Он видел Мусейон, к примеру, а в нем – унылых, высокооплачиваемых художников, вышивающих гладью вдоль незыблемых, никогда не выходящих из моды узоров, которые когда-то придумали отцы-основатели; и позже среди одиночек и мудрецов – философа, загоняющего мир, как кобылу, в стойло с надписью «Для внутреннего пользования», – ибо на каждой стадии своего развития каждый человек находит мир заново, чтобы привести его опять в соответствие с собственной природой; и каждый мыслитель, каждая мысль оплодотворяет мир наново.

Буквы, врезанные в музейный мрамор, шептали ему вослед, шевелясь, как губы. В музее его ждали Бальтазар и Жюстин. Он пришел на свидание с ними, одурманенный лунным светом и влажной тенью колоннад. Он услышал их тихие голоса и подумал, складывая губы для свиста – был у них с Жюстин такой пароль: «Не вульгарно ли, если ты умен, верить столь безрассудно в незыблемость первопринципов – как Бальтазар?» И тут же услышал последнюю фразу Бальтазара: «А мораль – ничто, покуда она остается лишь формулой хорошего поведения».

Он медленно проходил арку за аркой, и голоса звучали все ближе и ближе. Мраморные плиты, иссеченные полосами тени и лунного света, как зебры. Они сидели на мраморной крышке саркофага, а снаружи, в безжалостной тьме двора, кто-то выхаживал взад и вперед по мягкому дерну, насвистывая одну и ту же фразу из Доницетти. Золотые цикады у Жюстин в ушах преосуществили ее в проекцию сна, и он вдруг в самом деле увидел их одетыми в тоги из лунного света. Бальтазар, голосом верующего, отдающего себе отчет в том, что вера его осно-

вана на парадоксе, сказал: «Конечно, в каком-то смысле даже проповедовать Слово Божие – грех. Сколь нелепа человеческая логика. По крайней мере, с силами тьмы связывает нас не Слово Божье, а тяга проповедовать его. Вот тем-то и полезен Кружок: здесь не учат ничему, кроме умения Правильно Слушать».

Они подвинулись, освободив ему место с собою рядом, но, прежде чем он успел присоединиться к ним, ось его разума снова сместилась, и перед глазами возникло Иное, тяжело и непреложно, презрев пространственные и временные соответствия, презрев необходимость хоть какой-то мотивации.

Он ясно увидел походный алтарь, воздвигнутый Афродите с Голубьями македонской пехотой на пустынном аллювиальном берегу. Они были голодны. Долгий марш довел их до ручки, до предела обострив ожидание смерти, постоянно живущее в душе солдата, – пока чувство это не оделось плотью и не засияло перед их глазами в непереносимой достоверности чуда. Вьючный скотдох от нехватки фуража, люди – от нехватки воды. Они не смели даже остановиться у отравленных родников и колодцев. Дикие ослы нахально бродили на расстоянии выстрела из лука – разве что на десяток локтей дальше, – и они сходили с ума, мечтая о мясе, мясе, которого никто из них и в глаза не увидит, пока колонна медленно тянется меж редких островков растительности вдоль богом проклятого берега. Им приказали идти к городу, не обращая внимания на знамения. Пехота шла нагишом, зная, что это безумие. Оружие ехало следом, на повозках, а повозки вечно отставали. Колонна оставляла за собой кислый запах немых тел – запах пота и стойла: македонские пращники пердели, как козлы.

Враги были легки и до неприличного элегантны – всадники в белых доспехах, они то собирались у них на дороге в боевом порядке, то снова облаками рассыпались по пустыне. С близкого расстояния были видны их пурпурные плащи, расшитые туники и узкие шелковые шаровары. Они носили золотые цепи на непостижимо смуглого оттенка шеях и браслеты на сросшихся с короткими копьями руках. Они были желанны, как стайка девушек. Их голоса: высокие и свежие. Как непохожи были они на своих, на пращников, на задубелых ветеранов, знающих только, как примерзают зимой сандалии к подошвам ног и как солнце сушит пропитанную потом кожу под ступней, пока она не станет тверже мрамора. Добыча, а вовсе не страсть привела их сюда, и они переносили все тяготы пути с профессиональным стоицизмом наемников. Жизнь уже давно превратилась в бесполою полоску кожи, подбородный ремень, все глубже и глубже врезающийся в плоть – и еще чуть глубже. Солнце высушило их и вылечило ото всех болезней, пыль лишила членораздельной речи. Бравые шлемы с гребнями из перьев, красовавшиеся у них на головах в начале пути, слишком легко накалялись на солнце, чтобы носить их днем. Африка казалась им продолжением Европы – общее море, общее прошлое, – но оказалась совершенно чужой: запретная для смертных страна тьмы, где крики воронов созвучны сухим восклицаниям здешних лишенных душ людей, а короткий, в несколько выдохов смех – верещанию бабуинов.

Иногда они кого-нибудь ловили – одинокого напуганного человека, вышедшего поохотиться на зайцев, – и удивлялись, видя, что он человек, совсем как они сами. Они срывали с него лохмотья и разглядывали вполне человеческие гениталии внимательно, сосредоточенно, непонимающе. Иногда по дороге им попадалось небольшое селение или одиноко стоящая у подножия гор усадьба какого-нибудь местного богача, и тогда они грабили, и на обед им доставались ломтики маринованного в кувшинах дельфиньего мяса (пьяные солдаты, пир в хлеву, меж жующих жвачку волов, гирианды из крапивы, солдаты пьют из сегодня же добытых золотых и роговых кубков). Все это было еще до пустыни...

На перекрестке дорог они принесли жертву Гераклу (и единым духом зарезали двоих проводников, просто на всякий случай); но с того самого дня все пошло наперекосяк. Втайне они знали: им никогда не дойти до города, не взять его. О боги! Пусть никогда не повторится зимняя стоянка в горах. Отмороженные носы и пальцы! Налеты по ночам! В памяти его

памяти до сих пор сохранился скрипучий и одновременно чавкающий звук солдатских сандалий о снег – всю зиму! Враги в тех краях носили на головах лисьи шкуры, эдакие островерхие шапки на разбойничьих рожах, и длинные одежды из шкур, закрывающие ноги. Они атаковали молча и, казалось, срослись, как искривленный здешний кустарник, с глубокими трещинами ущелий и захватывающими дух перевалами великого водораздела.

На марше память становится фабрикой грез, а общие лишения и тяготы сколачивают из грез общие мысли. Он знал, что тот вон отрешенный солдатик думает о розе, найденной в ее постели в день Игр. Идущий с ним рядом никак не может отвязаться от воспоминаний о человеке с рваным ухом. Кособокий софист, коего только нужда заставила пойти в солдаты, во время величайших битв скучал, как ночной горшок на симпозиис. А толстый, очень толстый человек, на всю жизнь сохранивший странный запах младенческого тела, шутник, над чьими остротами авангард всю дорогу покатывался со смеху? Он думал о новом египетском средстве для удаления волос, о знаменитых своей мягкостью кроватях с торговой маркой «Геракл», о белых голубях с подрезанными крыльями, порхающих вокруг пиршественного стола. Всю жизнь у дверей борделя его встречали раскатами смеха и бросали в воздух тапочки – ура! Кое-кто думал об удовольствиях не столь общепринятых – о волосах, припорошенных свинцовыми белилами, или о мальчиках, шагающих нагишом, по двое в ряд, на заре в школу Властителя Арф, сквозь падающий снег, густой, как похлебка. На вульгарных сельских Дионисиях несли огромный кожаный фаллос сквозь бурю непристойного хохота, но посвященный брал ритуальную щепоть соли и фаллос, и воцарялось трепетное молчание. Их грезы множились в его душе, и, едва заслышав невнятные их голоса, он открывал своему разуму сокровищницу памяти – жестом по-королевски щедрым, как будто вскрывал вену.

Странное чувство поднялось в нем, когда он, переборов едва не захлестнувшую его приливную волну памяти, сел рядом с теплым телом Жюстин, испещренный пятнами света осенней луны: он ощутил свое физическое тело, вытесняющее тонкую ядовитую материю грез одной лишь силой веса и плотности. Бальтазар подвинулся, уступая ему место, не переставая тихо говорить с его женой. (Они мрачно допили вино и выплеснули остатки себе на доспехи. Командиры только что сказали: им ни за что не пробиться, не выйти к городу.) И вспомнил необычайно ясно, как Жюстин, едва успевшая высвободиться из-под его тела, садилась, скрепив ноги, на кровати и раскладывала старшие арканы Таро, – колода всегда лежала на полке между книгами, – словно пытаясь вычислить вероятную степень счастья, оставшегося им на двоих после этого, последнего погружения в ледяные воды подземного потока страсти, потока, не желавшего подчиняться ей и не утолявшего жажды. («Души, раздираемые зовом плоти, – сказал однажды Бальтазар, – не могут обрести покоя, пока старость и упадок сил не объяснят им наконец: молчание и тишина им не враждебны».)

Был ли диссонанс, воцарившийся в их судьбах, мерилom страстей, перешедших по наследству от города, от века? «О Господи, – едва не произнес он вслух, – что бы нам не уехать из этого города, Жюстин, поискать иных небес, не затененных призраками потерь и неприкаянности?» Строки старого поэта пришли ему на ум, опустились тяжело, как нога на педаль пианино, и зазвучали, закипели отпущенными на свободу струнами, густым туманом звуков обволакивая хрупкую надежду, едва пробудившуюся было от затяжного сна⁷⁵.

«Все дело в том, – сказал он еле слышно, сам себе, прикоснувшись ладонью ко лбу, чтобы проверить, нет ли жара, – что женщина, которую я любил, удовлетворяла меня целиком и полностью, не делаясь оттого счастливее либо несчастнее», – он задумался над виденным когда-то сном, странным образом отраженным реальностью. Он бил Жюстин, бил долго и страшно, пока не заболела рука и трость не переломилась пополам. Во сне, конечно. Однако, проснувшись,

⁷⁵ Перевод «Города» есть среди «Рабочих заметок».

ощутил в руке боль. Он закатал рукав пижамы – рука распухла. Чему верить, если реальность передразнивает воображение, кривляясь и обезьянничая?

Тогда же, вне всякого сомнения, он понял окончательно: страдание, как и любая болезнь, есть острая форма себялюбия, и учение каббалы пришло подобно свежему ветру, чтобы наполнить паруса его презрения к себе. Он слышал отдаленным эхом блуждающие в памяти города слова Плотина о необходимости не отказываться, но искать; не бегство от непереносимых мук временной обусловленности, но поиск нового света, нового Светлого Града. «Не спешите выйти за порог, это не дорога для ног. Загляните в себя, уйдите в себя и смотрите». И вот здесь-то был бессилён, он знал: никогда и ничего подобного у него не выйдет.

Я вспоминаю события тех дней и не могу не удивляться тому, сколь мало все эти внутренние пертурбации сказывались на полированной поверхности внешних форм его жизни – даже для тех, кто знал его близко. Не к чему было придраться – разве что легкое ощущение пустоты, отсутствия мелкой привычной детали – как если бы знакомый мотив играли где-то вдалеке, чуть изменив тональность. Та же осень дала начало и длинной череде приемов, вопиюще роскошных, – ничего подобного доселе не позволяли себе даже самые богатые семьи города. В особняке теперь никогда не бывало пусто. Огромная кухня, куда мы частенько забирались на ночь глядя, придя с концерта или из театра, чтобы сварить себе пару яиц или вскипятить стакан молока, – пребывавшая в пыли и запустении, – была в одночасье оккупирована полчищами угодливых вороватых поваров в хирургически чистых хламидах и припорошенных мукою колпаках, и гарнизон сей, судя по всему, окопался здесь надолго. Комнаты наверху, высокая лестница, галереи и залы, отзывавшиеся прежде лишь скорбному бою часов, заплетенные паутинками тихого тиканья, перешли отныне во власть круглосуточных патрулей черных слуг, чьи движения были царственны, как величавое скольжение лебедя, несущего под мышкой важный законопроект. Их белоснежное белье, благоухающее портновским утюгом, было безупречно – свободные одеяния подхвачены алым кушаком с золотой пряжкой в форме черепашей головы: своеобразный личный герб Нессима. Мягкие дельфины глаза влажно искрятся из-под обязательных алых цветочных горшков на головах, обезьяньи лапы затянуты белым шелком перчаток. Они были беззвучны, как смерть.

Если бы он не переплюнул – столь явно – величайшие фигуры египетского света роскошью своих приемов, можно было бы заподозрить его в стремлении потягаться с ними в широте вкусов. Стены особняка оведала то прохлада похожих на листья папоротника пассажей струнных квартетов, то раскаленные вихри саксофонов, стенающих в ночи, как обманутые мужья.

Изящные продолговатые приемные покои были дополнены, изрыты бесчисленными нишами и уголками для интимных бесед, в самых неожиданных местах; количество сидячих мест едва ли не удвоилось против обычного, и так уже, на мой взгляд, чрезмерного, и порою до двух-трех сотен гостей собиралось на тщательнейшим образом продуманные и совершенно бессмысленные званые обеды – чтобы подивиться на хозяина дома, с головою ушедшего в созерцание лежащей перед ним на пустом блюде розы. Но рассеянность его не вызвала раздражения, потому как если и случалась в общей светской беседе неудобная пауза, он заполнял ее обворожительнейшей из улыбок, и все присутствующие замирали вдруг в изумлении и отрешенности, подобно энтомологу, который машинально поднял перевернутый стакан и обнаружил под ним некое членистоногое чудо, чье научное название безнадежно затерялось в его многотомной памяти.

Что еще добавить? Легкая экстравагантность в одежде едва ли бросалась в глаза, если речь шла о человеке слишком богатом, чтобы носить напропалую старые фланелевые брюки и пальто из твида. Теперь же, в ослепительно-элегантном костюме из искусственного шелка, с широким алым кушаком, он казался именно тем, кем должен был быть всегда, – самым богатым и самым красивым из городских банкиров: этих воистину найденышей судьбы. Люди удовлетворенно перешептывались: наконец-то он стал самим собой. Именно так должен жить

человек с его положением и средствами. Одни лишь дипломаты унюхали за неожиданным всплеском расточительности некие подводные токи, скрытые мотивы, может быть, даже заговор против короля и зачастили к нему в гостиную с букетами заученных любезностей. За масками лиц, ленивых или фатоватых, ощутимо тикало любопытство, профессиональный азарт: докопаться во что бы то ни стало до истинных побуждений и скрытых планов хозяина дома – а как же иначе, ведь даже сам Король бывал теперь у Нессима запросто.

Господи, как далеко от настоящего эпицентра бури ходили эти волны! Нечто, задуманное Нессимом, вызревало медленно, как сталактит, и возникшую долгую паузу можно было заполнить чем угодно – расчерчивали бархатное небо искристыми хвостами ракеты, вонзаясь все глубже и глубже в прохладную ночь, где лежали, запертые друг у друга в объятиях и в мыслях, Жюстин и я. В тихом зеркале пруда всплески человеческих лиц, озаренных светом золотых и алых звезд, с шипением взлетевших в небо – как мучимые жаждой лебеди. Из тьмы, с теплой ладонью на моем запястье, я глядел на бьющееся в конвульсиях цветного света осеннее небо, спокойно и просто, как человек, чья обязательная доля незаслуженных страданий уже отмерена и боль растворяется и гаснет, – так покидает она больные члены, чтобы разлиться равномерно, заполнить без остатка все тело, – или мозг. Изящные спирали фейерверков на темном небе вливали в наши жилы ностальгическое чувство единения с необъятной вселенной любви, уже готовой выставить нас за ворота.

Небо в ту ночь по-летнему полыхало зарницами; еще не успел отплясать фейерверк, как захрустела где-то над пустыней, на востоке, черствая корочка грома, струпом разрастаясь в мелодичной ночной тишине. Брызнул легкий дождь, молодой и свежий, и в одно мгновение темнота заполнилась бегущими фигурами людей – назад, под укрытие освещенных изнутри домов; поднятые выше колен платья, и в голосах – прохладный перезвон радости. Фонари снимали отпечатки с обнаженных тел под мокрую насквозь одеждой – мы же, не сговариваясь, нырнули в беседку за сладко пахнувшей живой изгородью и легли на резную, из камня скамью в форме лебедя. Болтали и смеялись люди, пробежавшие мимо беседки дальше, к свету; мы покачивались в мягкой колыбели темноты, чувствуя, как покалывают наши лица ласковые иголочки дождя. Люди в смокингах подожгли запалы последних, ненужных уже зарядов, и сквозь ее волосы я увидел, как карабкаются в небо запоздалые бледные кометы. Я попробовал на вкус, с разноцветной круговертью радости перед глазами, теплый отчаянный рыбок ее языка, ее рук поверх моих. Сколь несоразмерно было счастье – мы даже не говорили, мы просто глядели друг на друга в темноте, глазами полными непролитых слез.

Из дома долетели сухой хлопок – открыли шампанское – и звуки смеха человеческих существ. «Ни единого вечера вдвоем».

«Что творится с Нессимом?»

«Я уже ничего не понимаю. Когда тебе есть что скрывать, поневоле станешь актером. И всем окружающим тоже придется играть».

Все тот же человек улыбался публике с фасада их семейного благополучия – как и прежде, уверенный в себе, пунктуальный, интеллигентный: внутри же царили хаос и смятение – его больше не было, он исчез. «Мы как-то потеряли друг друга», – сказала она угасающим шепотом и, пододвинувшись ближе, всадила в меня по самую рукоятку здравого смысла долгий поцелуй, как итог всего прожитого нами вместе, – еще с минуту отзвук поцелуя не покидал наших соединившихся тел, затем затих, истаял в непроглядной тьме вокруг – навсегда. И все-таки, лежа с ней рядом, я знал, о чем она думает, при каждом объятии: «Может быть, именно так, с такой болью, даже, наверное, желанной болью, – может быть, именно так я найду дорогу назад к Нессиму». Дикая тоска сдавила вдруг мое сердце.

Позже, бредя сквозь обветшалый туземный квартал, провожаемый штыковыми уколами фонарей и подзатыльниками резких запахов, я безнадежно гадал – как обычно, впрочем, – куда ведет нас время. И, как будто для того, чтобы проверить истинность чувства, вокруг кото-

рого мы нагромодили столько страстей и слов, я завернул в освещенную изнутри будку, украшенную обрывком киноафиши – громадное полулицо героя-любownika, бессмысленное, как брюхо дохлого кита на поверхности моря, – и уселся на стул для клиентов, словно в парикмахерской, в ожидании своей очереди. Из-за грязной занавески, делившей будку на две части, доносились невнятные звуки – казалось, там резвятся неведомые миру существа, не слишком отвратительные, возможно, в своем роде даже интересные, как интересны естественные науки тем, кто оставил всякую надежду развить в себе способность чувствовать. Я, конечно, был уже здорово пьян – отчасти Жюстин, отчасти легким, как воздушный змей, «Поль Роже».

На соседнем стуле лежала феска, и я рассеянно надел ее себе на голову. Она была еще теплой и липкой изнутри, и толстая кожаная подкладка тут же приклеилась ко лбу. «Я очень хотел бы знать, что все это значит», – сказал я своему отражению в зеркале, заклеенном вдоль трещин зубчатыми краешками почтовых марок. Я имел в виду, конечно же, невероятный кавардак, в просторечии именуемый сексом, акт физического проникновения в чужеродный организм, акт, имеющий власть заставить человека впасть в отчаяние ради нелепого существа с двумя грудями и *le croissant*⁷⁶, как это называется на живописном левантинском аргю. Шум за занавеской стал громче – застенчивые стоны и скрип, и к старческому скрежету древней деревянной кровати воодушевленно присовокупился сочный человеческий голос. Тот самый для всех одинаковый безличный акт, коим мы, Жюстин и я, привязаны были к миру и уравнены с ним. Какая разница? Как далеко уводили нас чувства от трезвой реальности простого, бездумного, животного акта? До которой степени вероломный разум – с вечным его *catalogue raisonné*⁷⁷ сердечных дел – в том виновен? Вопрос был бессмысленный, ответа все равно не будет; но мне так хотелось хоть какой-то определенности, и я убедил себя в том, что стоит мне только застать сей феномен физиологии врасплох, при условии, ежели я буду ведом не любовным, но научным стяжательством, ежели подойду к эксперименту безо всяких предубеждений, – и я, быть может, успею поймать за хвост некую истину о собственных моих желаниях и чувствах. В нетерпеливом желании поскорее отделаться ото всех неразрешимых вопросов на свете я поднял занавеску и тихо шагнул в кубической формы клетушку, освещенную с подobaющей случаю тусклостью единственной прикрученной на нет парафиновой лампы: лампа жужжала, огонек дрожал.

На кровати шевелилась бесформенная масса плоти, нечто вроде муравьиной кучи – движение возникало одновременно в нескольких местах, длилось, затухало. Через некоторое время мне все же удалось мысленно отделить бледные и густо волосатые члены немолодого мужчины от зеленовато-белого выгнутого тела женщины с головой боа-констриктора и с черными, слипшимися сосульками волос на голове, длинными, свисшими через край засаленного матраца. Мое неожиданное появление, вероятнее всего, означало полицейскую облаву, на кровати дернулись и затихли. Как будто внезапно опустел муравейник. Мужчина застенчиво застонал и чуть скосил в мою сторону глаз, а затем, словно пытаясь избежать опознания, спрятал лицо меж огромных грудей женщины. Объяснять им, что я всего лишь исследую акт, в который они вовлечены, – сам по себе, – было бессмысленно. Я твердо шагнул к кровати, стараясь не выглядеть слишком нахальным, и с видом, должно быть, чрезвычайно научным и сосредоточенным положил ладони на ржавую каретку и принялся глядеть вниз, не на них, нет, я вообще едва отдавал себе отчет в их существовании, но на себя и Мелиссу, себя и Жюстин. Женщина посмотрела на меня – глаза у нее были угольно-черные и абсолютно бесстыжие – и что-то сказала по-арабски.

Они лежали передо мной подобно жертвам какой-то жуткой катастрофы, неловко соединенные вместе, как участники авангардного эксперимента, впервые в истории человеческой

⁷⁶ Полумесяц; рогалик (фр.).

⁷⁷ Комментированный каталог (фр.).

расы додумавшиеся до столь странного способа общения. Поза их, неудобная и непродуманная, казалась репетицией, первой попыткой, из которой столетия проб и ошибок спустя может выйти взаиморасположение тел, столь же великолепное и безусловно законченное, как балетное па. И все же я понимал: данность сия непреложна и на все времена – эта от века трагичная и унижительная поза. Отсюда взрастали причуды любви, преображенные фантазией поэтов и сумасшедших в целую философию галантных градаций. Здесь брали начало болезнь и безумие; здесь же – прообраз унылых, покинутых искрою духа лиц тех, кто давно женат, связанных, говоря фигурально, спина к спине, словно собаки, что не могут разлепиться после случки.

Я хохотнул надтреснутым тихим смехом и сам удивился, но подопытные мои как-то вдруг приободрились. Мужчина приподнял на несколько дюймов лицо и стал внимательно слушать, словно желая убедить себя в том, что ни один полицейский на свете не станет так смеяться. Женщина еще раз уяснила про себя, кто я есть, и улыбнулась. «Подожди минутку, – громко сказала она, указывая белой прыщавой рукой в сторону занавески, – я недолго». Мужчина же, будто услышав в ее словах укор, сделал несколько конвульсивных движений, как паралитик, пробуя ходить, – движений, продиктованных никак не желанием получить удовольствие, но чистой галантностью. Черты его лица сложились в гримаску угодливой вежливости – как если бы в переполненном трамвае он встал и уступил место *mutilé de la guerre*⁷⁸. Женщина застонала и вцепилась пальцами в матрац.

Я отвернулся от них, нелепо слепленных вместе, и вышел, смеясь, назад на улицу, чтобы довершить свой обход квартала, живущего, словно в насмешку, до нелепого конкретной жизнью плоти. Дождь закончился, и влажная земля выдохнула мучительно нежный запах глины, человеческих тел и увядших цветов жасмина. Я медленно двинулся прочь, совершенно ошеломленный, пытаясь уложить в слова весь этот квартал Александрии: я знал, что скоро он исчезнет, совсем, что приходиться сюда станут лишь те, на чьи воспоминания наложил свои дрожание в лихорадке лапы сумасшедший наш город, превратив паутинки памяти в подобие давних запахов, навеки вьедшихся в рукава стареющих мужчин: Александрия, столица Памяти.

Улица из спекшейся, со сладковатым запахом глины, размякшей под дождем, но не мокрой. Во всю ее длину – шеренга размалеванных хибарок местных шлюх, и перед каждой дверью – зябкое мраморное тело, как перед входом в раку. Они сидят на трехногих табуретах как пифии, попирая уличную пыль разноцветными тапочками. Необычное освещение бросает на сей пейзаж отблеск бессмертной романтики, ибо вместо электрических фонарей – сверху – улица освещена стоящими прямо на земле пульсирующими светом карбидными лампами: лампы отбрасывают жадные прожорливые тени во все закоулки кукольных домиков, прячут их за карнизы; тени вползают в глазницы и ноздри здешних обитательниц, в податливую, пушистую меховую шубу тьмы. Я тихо иду вдоль неровной шеренги ярких цветов человеческой плоти, размышляя о том, что город, совсем как человек, собирает к старости целую коллекцию чудачеств, страстишек и страхов. Он медленно вырастает в зрелость, рождает пророков и погружается медленно в трясины старческого маразма либо одиночества – последнее, пожалуй, страшнее. Город умирал, а смертные его дети, о том не догадываясь, сидели себе на улице, освещенные карбидными лампами, похожие на кариатид, подпирающих тьму, и боли завтрашнего дня пушинками свисали с их ресниц; они глядели бессонно, охотницы за бессмертием, готовые гнать редкостного сего зверя сквозь роши пророчеств по плоским равнинам времени, бесконечно.

Вот будка, расписанная сверху донизу старательно и со знанием дела прорисованными голубыми королевскими лилиями, на персиковом фоне. У дверей – невероятных размеров девушка-негритянка, лет восемнадцати от роду, одетая в красную фланелевую ночную рубашку, бесформенную, как у сироток в миссионерском приюте. На черной мелкокучерявой

⁷⁸ Инвалиду войны (*фр.*).

голове – корона из ослепительных нарциссов. Руки, неловко сплетенные на коленях – фар-тук полон отрубленных пальцев. Похожа на кролика небесно-черного цвета, сидящего у входа в норку. У следующей двери женщина постарше, хрупкая как лепесток, за ней еще одна – химическая формула, промытая до полной стерильности малокровием и табачным дымом. И повсюду на красных облупленных стенах я видел главный в здешних местах талисман – отпечаток руки с раздвинутыми пальцами, долженствующий оберегать живущих здесь от страхов, жадной стаей кружащих во тьме вне стен освещенного города. Я проходил мимо женщин, и они издавали не жадные до денег человеческие восклицания, но монотонное голубиное воркование – и тихие их голоса наполняли улицу едва ли не монастырской умиротворенностью. Нет, они предлагали не тусклый секс в унылом уединении, в неровном свете коптилок, но, как истинные дочери Александрии, – глубокое забытье родовых схваток, круто замешенных на звучном зове плоти, без скидок, без жалости.

Кукольные домики дрожат и лопочут во тьме, когда налетает с моря ветер, выдавливая пузыри занавесок, расчлняя перегородки. У одной из хибарок вовсе не было задней стены, и, заглянув в раскрытую дверь, я увидел двор с карликовой пальмой посередине. В жестяной бадье горели стружки, три девушки в рваных кимоно сидели на табуретках вокруг, говорили еле слышно и протягивали кончики пальцев к крошечному огоньку. Далекие, отрешенные, они сидели – как у затерянного в степи костра, одни.

(На заднем плане я увидел вдруг ледяные торосы – сугробы искристого снега и Нессимовы бутылки шампанского в них, отблескивающие голубоватой зеленью, как древний карп в фамильном пруду. И, словно пытаясь воскресить ушедшее, я поднес к лицу рукава – левый, правый, – я искал следы запаха, запаха Жюстин.)

Я завернул в пустое кафе, где перетирал стаканы одинокий копт-саидянин, столь невероятно косоглазый, что каждый предмет под его взглядом, казалось, начинал двоиться, – и выпил чашку кофе. В дальнем углу, свернувшись на крышке сундука в калачик, тихо, – я даже не заметил ее, когда вошел, – сидела древняя старуха и курила *наргиле*; раз в несколько минут сквозь воду пробегал пузырек и лопался с мягким воркующим звуком. Я сел и попытался представить себе всю свою здешнюю жизнь, от начала до конца, еще с тех времен, когда я не был знаком с Мелиссой, и до необходимой, не столь уж далекой, наверное, точки, до трезвой обыденной смерти в городе, полностью слиться с которым мне так пока и не удалось; история эта предстала предо мной до странности завершённой, как будто она и не имела до меня никакого касательства, – просто нить из пестрого плетения александрийского ковра. Неотъемлемая часть городской истории, в полном соответствии со всем, что случилось прежде, и со всем, что придет потом. Дух места мягко увлек мое воображение в подводный свой мир, сделав невозприимчивым к личным, индивидуальным ходам мысли. Я утратил даже чувство самосохранения. Больше всего, помню, я сожалел о беспорядочной гряде рукописей; их непременно найдут в моей опустевшей квартире. Я всегда терпеть не мог незаконченности, фрагментарности. Я решил срочно их уничтожить, первым делом. Я вскочил – и тут меня осенило: мужчина, там, у проститутки, был Мнемджян. Как мог я не узнать его искореженной спины? Думая о Мнемджяне, я пошел обратно через весь квартал к широким, оживленным улицам у моря. Я шел сквозь фатаморгану узких извилистых переулков, как будто через поле битвы, где полегли друзья моей юности, все до единого; и удивлялся, радовался каждому звуку и запаху – счастье выжившего. На одном из углов стоял факир с лицом, поднятым вверх, и плевал в небо языками пламени – рот его чернел сквозь огонь, рыжие языки плясали у губ, а пламя пробивало в небе дыры. Время от времени он прикладывался к бутылке с горючим, затем снова закидывал голову и выдыхал шестифутовый столб огня. Во всех углах залегли фиолетовые тени, чреватые человеческим опытом, жестоким и поэтичным одновременно. Во мне больше не было места сентиментальной жалости к себе, лишь ожидание зова города, желание стать частью его

воспоминаний, обыденных и трагичных – если он того захочет. И я воспринял это чувство как симптом зрелости.

Понятное дело, когда я добрел наконец до маленькой своей квартирki и вытащил на свет божий серые тетрадки с записями, мне уже не захотелось с ними расставаться. Более того, я сел, включил настольную лампу и принялся писать, покуда Помбаль рассуждал о жизни из кресла напротив.

«Вернувшись домой, я молча сижу и вслушиваюсь в тяжелые аккорды ее аромата: запахи плоти, фекалий и трав, сотканые в плотную парчовую ткань ее существа. Странная любовь, у меня даже нет чувства обладания ею – да я и не хотел бы ею обладать. Мы словно соединились в само-обладании, товарищи по оружию, по одинаковой стадии роста. Если говорить откровенно, мы надругались над любовью, ибо признали: узы дружбы более сильны и значимы для нас. Для чего я это написал? Только лишь из усердия, из желания высказать как можно искреннее все, что знаю о мире, где был рожден и где делил минуты глубочайшего одиночества – минуты соития – с Жюстин. Ближе к правде мне не подобраться».

«Не так давно мы долго не могли увидеться в силу каких-то особенных обстоятельств, и я настолько истосковался по ней, что прошел пешком всю дорогу до Петрантония, лишь бы отыскать и купить бутылочку ее духов. Тщетно. Удивительно терпеливая барышня за прилавком позволила мне перепробовать все имевшиеся у нее в запасе ароматы, раз или два я даже обрадовался было находке. Но – увы! Постоянно чего-то не хватало – может быть, просто тела, запаха тела под легкую тканью духов. И только когда я в отчаянии помянул имя Жюстин, барышня тут же протянула мне искомый флакончик – мы, оказывается, пробовали его первым. “Что же вы сразу не сказали?” – спросила она так, словно я задел ее профессиональную гордость: весь город – звучало в ее тоне – знает духи Жюстин, кроме меня, недоумка. Узнать их я так и не смог. Духи эти, кстати (“*Jamais de la vie*”), оказались далеко не из самых дорогих или редких».

(Когда я принес домой маленький флакончик, обнаруженный кем-то в жилетном кармане покойного Коэна, призрак Мелиссы все еще обитал там в заточении. Я будто увидел ее, сразу.)

Помбаль читал вслух длинный жутковатый отрывок из *Moeurs*, озаглавленный «Кукла заговорила». «Случайность за случайностью выпадают на долю самца, но я ни разу не знал облегчения, каким бы испытаниям ни подвергалось мое тело – с моей же подачи. Я постоянно вижу в зеркале образ стареющей фурии, и она кричит: “*J’ai raté mon propre amour, – mon amour a moi. Mon amour-propre, mon propre amour. Je l’ai raté. Je n’ai jamais souffert, jamais eu de joie simple et candide*”»⁷⁹.

Помбаль остановился и сказал: «Если он прав, тебе твоя любовь пойдет только на пользу», – и его фраза ударила меня, словно топор в чьей-то могучей и бездумной руке.

* * * * *

Подоспело время большой ежегодной охоты на озере Мареотис, и на Нессима вдруг снизошло магическое чувство облегчения. Он понял наконец-то: все, чему надлежит случиться, произойдет именно сейчас, не раньше и не позже. У него был вид человека, счастливо переболевшего тяжелую болезнь. Неужели это возможно: так долго и так нелепо ошибаться, даже если полагаешься при этом исключительно на интуицию? Долгие годы после свадьбы он повторял изо дня в день: «Я так счастлив!» – с фатальностью старческого боя дедовских часов, едва способного раздвинуть плотные шторы тишины. Теперь он пробовал сказать – и не мог. Их общая жизнь была подобна кабелю, проложенному под толщей песка; но вот кабель вышел из

⁷⁹ «Я упустила свою настоящую любовь – мою любовь к самой себе. Самолюбие мое – моя любовь, и ничья больше. Я ее упустила. Я никогда не страдала, но радости, простой и невинной радости, у меня тоже не было» (*фр.*).

стройка, неведомо почему, место обрыва неизвестно, и объяла их обоих непривычная и непереносимая тьма.

Сумасшествие, естественно, не желает принимать в расчет ничьих обстоятельств. И строит мрачные свои замки, как оказалось, опираясь вовсе не на терзаемую сверх всякой меры личность, но на ситуацию, в которой личность оказалась. Если уж на то пошло, все мы были сумасшествию причастны, но лишь в Нессиме оно воплотилось, обрело способность жить и действовать. Краткий период в ожидании большой охоты на Мареотисе длился около месяца – едва ли дольше. И для людей, близко с ним не знакомых, опять же ничего не произошло. Однако в его дневниках записи галлюцинаций занимают столько места, что поневоле возникает ассоциация с раковой тканью, наблюдаемой в микроскоп, – здоровые на вид клетки, потеряв голову, размножаются с невероятной быстротой, забыв о необходимости сдерживать себя.

Он шел по городу, и встреченные по дороге таблички с названиями улиц являли собой серию адресованных ему зашифрованных сообщений, – весьма недвусмысленное свидетельство сверхъестественного вмешательства, полного угроз, чреватого возмездием – он только сомневался, кого будут наказывать, его или прочих. В витрине книжного магазина он увидел пожелтевший трактат Бальтазара, и *в тот же день*, проходя через еврейское кладбище, наткнулся на могилу его отца – характерные еврейские имена, вбитые в камень, как иероглифы вечной меланхолии европейского еврейства в изгнании.

Еще ему мерещились звуки в соседней комнате: нечто вроде тяжелого дыхания и затем, внезапно, бравурная игра на трех пианино сразу. Все это, он отдавал себе в том отчет, были вовсе не галлюцинации, но звенья оккультной цепи, логичной и постижимой лишь для умов, освободившихся от узких рамок причинно-следственных связей. Ему становилось все труднее носить маску нормальности – согласно общепринятым нормам поведения. Он шел путем *Devastatio*⁸⁰, описанного Сведенборгом.

Угли в камине взяли обыкновение причудливые формы. Он проверял себя, гасил и поджигал их снова – жуткие пейзажи и лица никуда не исчезали. Его беспокоила также и родинка на запястье Жюстин. Во время еды он вынужден был так яростно бороться с желанием прикоснуться к родинке, что бледнел как полотно, дело едва не доходило до обморока.

В один прекрасный день вдруг задышала скомканная простыня и продолжала дышать на протяжении получаса, принявши форму человеческого тела. Как-то ночью его разбудил легкий шорох крыльев, и он увидел похожее на летучую мышшь существо со скрипкой вместо головы, оно сидело на каретке кровати...

Затем противодействие сил добра – послание, принесенное божьей коровкой, она опустилась на страницу его записной книжки, когда он писал; музыка Веберова «Пана» в фортепьянном исполнении *каждый день* между тремя и четырьмя из окон соседнего дома. Он чувствовал, что его мозг стал полем битвы сил добра и зла и задача его – каждым нервом почувствовать и отделить свет от тьмы. Задача, мягко говоря, не из легких. Мир явлений принялся шутить с ним шутки, и пять его чувств уже готовы были обвинить в непоследовательности саму реальность, собственной персоной. Возникла серьезная угроза поражения.

Однажды его жилет, висевший на спинке стула, начал тикать на разные голоса, как будто в нем завелся целый выводок чужих сердец. Стоило взять его в руки, и он замолчал. Селиму, призванному в качестве свидетеля, жилет также отказался доставить удовольствие услышать хоть что-нибудь. В тот же день он увидел свои инициалы, выписанные золотом на облаке, отразившемся в витрине на Рю Сент-Саба. *И все встало на свои места.*

На той же неделе он зашел в кафе «Аль Актар», намереваясь выпить стопочку арака, – в дальнем углу, всегда зарезервированном для Бальтазара, сидела некая фигура и прихлебы-

⁸⁰ Опустошения (лат.).

вала *ego* арак. Незнакомец показался ему искаженной копией его самого: увидя в зеркале Нессима, он полуобернулся и отлепил в улыбке губы от белых зубов – в зеркале же. Нессим не стал ждать заказа и быстро ушел.

Прогуливаясь вдоль по Рю Фуад, он почувствовал, как тротуар становится губкой у него под ногами; пока наваждение не рассеялось, он успел увязнуть по пояс. Несколько часов спустя, в два тридцать пополудни, он очнулся от лихорадочного сна, оделся и снова отправился в город проверять истинность догадки, почему-то невыносимой, что ни у Паструди, ни в кафе Дордали нет ни единого человека. Так и вышло, и факт сей почему-то несказанно обрадовал его. Однако облегчение оказалось недолговечным: вернувшись домой, он вдруг почувствовал недомогание и боль – словно кто-то пытался выдрать сердце из его груди короткими механическими рывками – как воздушным насосом. Ему внезапно опротивела его собственная комната, он даже стал ее бояться. Он долго стоял и слушал, пока не возобновится звук – шорох размазываемых по паркету проволочек и придушенные крики маленького животного, как если бы его запихивали в сумку. Затем, совершенно отчетливо, звук защелкнутых чемоданных застежек и человеческое дыхание – человек стоит в соседней комнате у стены и тоже прислушивается к малейшему звуку. Нессим снял тапочки и на цыпочках прокрался в фонарь, пытаясь заглянуть в соседнюю комнату. Его убийца, так ему казалось, был стареющий человек с худыми заострившимися чертами лица и красноватыми запавшими глазами медведя. Никаких доказательств своим догадкам он отыскать не мог. Однако, пробудившись чуть свет утром того самого дня, когда нужно было рассылать приглашения на охоту, он выглянул в окно спальни и с ужасом увидел на соседней крыше двоих подозрительного вида мужчин, одетых по-арабски, они привязывали веревку к некоторому подобию лебедки. Один из них заметил Нессима и указал на него другому пальцем; они принялись тихо переговариваться. Затем они стали спускать вниз что-то тяжелое, завернутое в шубу, прямо на улицу. Его руки дрожали, когда он сел за стол и начал надписывать большие белые куски картона изящным летящим почерком, выбирая имена из длинного списка, с вечера оставленного Селимом на его столе. Тем не менее, стоило ему только вспомнить, сколько шума поднимает из года в год местная пресса вокруг сего знаменательного события, большой охоты на Мареотисе, – и губы его тронула улыбка. Голова у него была загружена до предела, и он решил ничего не пускать на самотек. Хотя Селим всегда был под рукой, готовый выполнить любое поручение, он поджал губы и настоял на том, что развезет приглашения лично. И вот одно из них предвестником беды уставилось на меня с каминной полки. Сквозь дымку алкоголя и никотина я тоже гляжу на него, и постепенно до меня доходит: неким непостижимым образом в этом кусочке картона – решение, к которому стремимся мы все. («Там, где кончается наука, начинаются нервы». *Moeurs.*)

«Конечно, тебе следует отказаться. Ты же не собираешься ехать?» – произнесла Жюстин так резко, что я понял: ее взгляд следовал за моим. Она стояла рядом, надо мной, в тусклом свете раннего утра и вслушивалась между фразами в тяжелое дыхание за дверью – призрак Хамида, ночной его эквивалент. «Не стоит искушать судьбу. Ты не согласен? Ну, что ты молчишь?» И, словно для пущей убедительности, она выскользнула из юбки и туфель и мягко упала ко мне на кровать – теплые губы и волосы, уклончивые движения тела, она прижалась ко мне, как к незажившей ране, осторожно и нежно. Мне просто казалось тогда – безо всякой бравады, – мне казалось, что я не имею права отказать Нессиму в сатисфакции, лишить его права на месть, а всю нашу историю – права на развязку. Внизу же, где-то еще глубже, билась тонкая жилка радости, до тех самых пор, пока я не увидел скорби на лице моего собрата по оружию. Она лежала, глядя сквозь невероятно красноречивые скорбные свои глаза, как сквозь окно в высокой башне памяти. Она глядела, я знал уже тогда, в глаза Мелиссы – в открытые, встревоженные глаза малознакомой женщины, которая с каждым днем, с каждым новым знаком опасности становилась ближе нам обоим. В конце концов, кому Нессимов удар, если Нессим собирался ударить, принесет больше боли, как не ей? Жюстин ковала железную цепь

поцелуев, и я медленно спускался – звено за звеном – в сумеречную глубину, подобно моряку, скользящему вдоль якорной цепи в темную бездну огромной стылой бухты: памяти.

Из всех возможных неудач человек выбирает наименее опасные для чувства самоуважения: хочется упасть помягче. Мой вариант: в искусстве, в религии, во взаимоотношениях с людьми. В искусстве я оказался беспомощен (мне только сейчас пришло в голову), потому что не верил в самостоятельно существующую человеческую личность. («Кто мог бы сказать с уверенностью, – пишет Персуорден, – что лица у людей одни и те же, постоянно? Может, они просто примеряют маску за маской со скоростью, недоступной глазу, создавая тем иллюзию неизменности черт лица – так подергивается лента в старом немом кино, а?») Я давно утратил веру в подлинность всякого сходства человека с самим собой – как мог я писать портреты? Вера? Что ж, я не встретил пока ни одного достойного учения, где жертва Богу не была бы отравлена чувством вины. *Pace Balthazar*⁸¹, все церкви и секты казались мне центрами самоподготовки по борьбе со страхом. Последняя и наихудшая моя неудача (я спрятал губы в темных, живущих тайной жизнью волосах Жюстин) – неудача с людьми. Причина была в постоянно возрастающей отчужденности духа: мне все проще становилось со-чувствовать людям, обладание же было мне заказано. Моя любовь необъяснимым образом делалась все менее совершенной с каждым разом, и все проще давалась мне труднейшая и наилучшая ее часть – отдавать себя. На эту наживку, я понял вдруг с ужасом, и клюнула Жюстин. С рождения наделенная женским инстинктом собственности, она была обречена на бесплодные попытки поймать меня там, где я был недосыгаем, в моем последнем убежище за прочными щитами смеха и дружеского участия. В итоге – ничего, кроме разочарования и отчаяния, ибо я был совершенно от нее независим; а страсть обладать, владеть, если морить ее голодом, делает человека существом абсолютно и безусловно зависимым – от предмета страсти. Как трудно разобраться в хаосе нитей, протянутых от человека к человеку под шероховатой кожей поступков и слов; ведь любовь есть всего лишь язык кожи, а секс – система терминов.

Стоит, однако же, воздать должное сей печальной истории, принесшей мне столько боли, – она заставила меня понять, что память только болью и питается; радость самодостаточна и кончается в себе самой – та боль и та радость завещали мне беспредельный запас душевного здоровья: животворного умения глядеть со стороны. Я был как электрическая батарея. Отсоединенный от цепи, я обретал полную свободу передвижения в мире мужчин и женщин, как хранитель законных прав любви – любви, которая не есть страсть и не есть привычка (то лишь атрибуты ее), но божественное шествие Бессмертного среди смертных – Афродита-во-Всеоружии. Я, помимо собственной воли, выковал себе оружие, и я весь был – в нем; весь – оно, хоть и страдал от него больше всех (как иначе?). И оружие было – безличность. *Вот что* любила во мне Жюстин, вовсе не мою неповторимую индивидуальность. Женщины – разбойники на большой дороге секса: она и пыталась выкрасть у меня волшебный дар отрешенности, жемчужину, вызревшую в голове живой жабы. Именно знаки отрешенности она искала и находила на полотне моей жизни – беспорядочной, несвязной и нелепой. Ценность моя заключена была не в том, чем я владел или чего достиг. Она сумела разглядеть внутри стержень, который невозможно было ни изогнуть, ни сломать, – за него и любила меня. Как могла она жить спокойно, если чувствовала: даже когда я был с ней, я только и хотел, что – умереть. Как могла она такое вытерпеть!

А Мелисса? Конечно, ей не под силу было копать столь глубоко. Ей довольно было знать, что на силу мою можно опереться там, где она слабее всего: во взаимоотношениях с внешним миром. Она ценила каждую мою человеческую слабость – привычку к беспорядку, неспособность делать деньги и тому подобное. Она любила мои слабости, ибо могла быть в свою очередь полезной мне; Жюстин же отметала их прочь, как недостойные ее внимания. Она искала иной

⁸¹ С дозволения Бальтазара (лат.).

силы. Я интересовал ее только лишь как обладатель собственности, которую она не могла ни получить от меня в дар, ни украсть. Здесь вся суть обладания – война до победного конца за черты несходства друг в друге, за золото души близкого человека. Но разве может подобная война не быть разрушительной и безнадежной?

И все же насколько запутанны порой мотивы человеческих поступков: почему именно Мелисса должна была изгнать Нессима из его убежища в царстве грез и повернуть его лицом к необходимости (весьма прискорбной и для нас, и для него) – нашей смерти. Ибо не кто иной, как Мелисса, одержимая несчастливым бесом, подошла как-то вечером к его столику – он задумчиво смотрел на кордебалет, и на столе перед ним стоял пустой бокал из-под шампанского – и, вспыхнув, спрятав под накладными ресницами глаза, выпалила шесть слов: «*Ваша жена больше вам не верна*», – и эта фраза дрожала с тех пор в его голове, как брошенный в стену нож. Конечно, его досье давно уже распухло от донесений на сей прискорбный счет, но те донесения были похожи на газетные сводки с места далекой катастрофы в чужой, незнакомой стране. Теперь же перед ним стоял очевидец, жертва, выживший участник катаклизма... Эхо единственной сказанной фразы вновь пробудило в нем способность чувствовать. Бесконечно длинная змея исписанной бумаги восстала вдруг из мертвых и закричала ему в лицо.

Уборной Мелиссе служил дурно пахнущий куб, где на стенах неукложе изгибались членистые трубы, дерьмопроводы с верхних этажей. Из мебели – только необработанная полоска зеркала и маленькая полочка под ней, одетая слоем белой бумаги: на такой бумаге кулинары воздвигают свадебные торты. На полочке – вечная мешанина пудр, теней и макияжных карандашей, с чьей помощью она умудрялась создавать жестокие шаржи на саму себя.

В этом зеркале и проявился из тьмы Селим, подрагивая в свете газовой горелки, как посланец загробного мира. Отточенность фраз, продуманность интонаций – казалось, устами его говорит сам Нессим; в прилежном копировании даже тональности голоса хозяина Мелисса услышала трогательную заботу о единственном человеческом существе, бывшем для Селима едва ли не богом: он готов был стать глиной в его руках.

Мелиссе стало страшно, ей ли было не знать, как в традициях Города наказывают задевших честь великих мира сего, – быстро и страшно. Она вспомнила сказанное, ахнула про себя и стала дрожащими пальцами снимать с век накладные ресницы. Отклонить приглашение было невозможно. Она надела свое жалкое парадное платье и пошла вслед за Селимом, придавленная усталостью и страхом, к великолепному авто, поджидавшему их в глухой тени. Селим помог ей сесть, и она оказалась бок о бок с Нессимом. Они медленно скользили сквозь тусклый александрийский вечер, и она была настолько напугана, что поначалу даже не понимала, куда ее везут. Они прокрались вдоль моря, отливающего сапфиром, и свернули в глубь трущоб, комкая переулком за переулком, в сторону Мареотиса и битумно-черных шлаковых отвалов Мекса: столб света автомобильных фар счищал слой за слоем бурой тьмы, вызывая из небытия крошечные сценки египетской частной жизни – поющего пьяницу, библейскую фигуру на ослике, с двумя детьми, они спасаются бегством от страшного царя Ирода, носильщик сортирует поклажу – быстро, как карта за картой вылетает из рук профессионального игрока. Знакомые виды вызвали в ней теперь острое чувство, ибо дальше лежала только пустыня – и отзывалась мотору гулким эхом пустоты, как морская раковина. За все это время ее спутник не проронил ни слова, а она не осмеливалась даже взглянуть в его сторону.

Когда поздняя луна высветила наконец чистые стальные линии барханов, Нессим остановил машину. Порывшись в кармане, он вынул чековую книжку и сказал чуть дрогнувшим голосом (в глазах его застыли слезы): «Сколько стоит ваше молчание?» Она повернулась к нему, разглядела в темноте печальную мягкость смуглого его лица, и на смену страху пришла жгучая волна стыда. Она почувствовала в нем – не слабину, – но слабость к доброте и поняла, что больше никогда не сможет причинить ему боли. Робко положив руку на его рукав, она сказала: «Мне очень стыдно. Пожалуйста, простите меня. Я не ведала, что говорю». Нахлынула уста-

лость, и чувство, готовое прорваться слезами, вылилось в глубокий зевок. Теперь они глядели друг на друга по-новому, и каждый узнал в сидящем напротив товарища по несчастью, невинную жертву. На минуту им показалось, что они друг в друга влюбились – из чистого чувства облегчения.

Машина снова набрала скорость – они молчали – и понесла их сквозь пустыню к стальному переблеску звезд, и невидимый прибор окрасил горизонт угольно-черным. Нессим, ощущая рядом с собой присутствие странного сонного существа, поймал себя на мысли, приходящей вновь и вновь: «Слава Богу, я не гений – ибо гению не на кого положиться».

Иногда он украдкой смотрел на нее, пытаясь разглядеть получше и – меня в ней. Был в ней особый шарм, который обезоружил и встревожил его, как и меня когда-то. Странные чувства вызывала ее красота, она словно рождена была, чтобы стать объектом разрушения. Может быть, он вспомнил занятую историю, рассказанную Персуорденом, разыскавшим ее, как и Нессим, в том же затхлом кабаре; но только в тот конкретный вечер она сидела среди наемных танцовщиц и продавала перед каждым танцем билетки. Персуорден, как и должно, был в глубоком и мрачном подпитии. Он пригласил ее на танец и, помолчав с минуту, обратился к ней величаво и печально: «*Comment vous defendez-vous contre la solitude?*»⁸² – спросил он. Мелисса подняла на него взгляд, прямой спокойный взгляд слишком опытной женщины, и ответила мягко: «*Monsieur, je sois devenue la solitude même*»⁸³. Персуордена ответ ее настолько поразил, что он не только дал себе труд его запомнить, но и разыграл впоследствии перед друзьями всю сцену от начала и до конца, добавив от себя: «Я вдруг подумал: вот женщина, в которую можно влюбиться». Однако, насколько я знаю, прийти туда еще раз он так и не рискнул. Его книга продвигалась хорошо, и во внезапной вспышке интереса к случайной женщине он усмотрел знакомый трюк самой безалаберной части его натуры – лишь бы не работать. Он как раз писал в то время о любви и не желал ставить под удар свои свежие по этому поводу идеи. («Я просто не могу влюбиться, – заставил он воскликнуть одного из персонажей, – ведь я принадлежу к древнейшему тайному обществу – Джокеров, Шутников!»; да, кстати, и еще где-то, рассуждая о собственной женитьбе, он написал: «Я заметил, что, вызывая в ком-то раздражение, я вызываю то же чувство и в себе; теперь я один, и мне некого доводить, кроме себя самого. Счастье!»)

Жюстин все еще стояла надо мной и глядела мне в лицо, пока я прокручивал про себя картины одна другой отраднее. «Ты что-нибудь придумашь, – повторила она хрипло. – Извинишься и не поедешь». Мне же согласие мое казалось predetermined заранее и безусловно. «Как я могу отказаться? – спросил я. – И ты тоже не сможешь».

Они ехали сквозь теплое, недвижимое пространство пустыни, Нессим и Мелисса, охваченные внезапным чувством взаимной симпатии, и молчали. Незадолго до поворота на Бургель-Араб он выключил мотор и дал машине тихо соскользнуть с трассы. «Пойдемте, – сказал он. – Я хочу показать вам Летний дворец Жюстин...»

Рука об руку они двинулись к домику в песках. Сторож спал, но у Нессима с собой был ключ. В комнатах пахло сыростью и запустением, однако в освещении недостатка не было – лунный свет, отразившись от белых песчаных дюн, свободно тек в комнаты через все окна сразу. Разжечь в камине огонь из веток кустарника было делом нескольких минут, он вынул из шкафа старую свою абайю, завернулся в нее, сел у огня и спросил: «Ну, Мелисса, а теперь скажите мне, кто вас ко мне подослал?» Он намеревался пошутить, но забыл улыбнуться – Мелисса залилась краской и прикусила губу. Так они и сидели, вдвоем, долго, отдавшись тихой радости огня и чувства сопричастности, – лишены надежды.

⁸² Как вы спасаетесь от одиночества? (фр.)

⁸³ Мсье, а что, если я и есть одиночество? (фр.)

Жюстин загасила сигарету и, поднявшись с постели, принялась мерно вышагивать взад и вперед по ковру. Ей было страшно, и я видел, что лишь усилием воли она удерживается от едва ли не привычной бесконтрольной вспышки. «Я столько всего понаделала за свою жизнь, – сказала она, глядя в зеркало. – Разного, ведь я не ангел, да? Но я ничего не делала просто так, невнимательно, походя. Я ошибалась, да? Ошибалась?» Обращалась она не ко мне – к Нессиму. Куда проще приставать к любовнику с вопросами, предназначенными мужу. «Кстати, о покойниках, – добавила она через минуту. – Мне всегда казалось, что мертвецы считают мертвыми нас. А себя – вернувшимися домой, к живущим, после сей краткой и пустой экскурсии в псевдожизнь». За дверью завозился Хамид, и она в панике бросилась к одежде. «Значит, ты все равно поедешь, – сказала она печально. – И мне придется. Ты прав. Нам обоим придется ехать». Затем обернулась к зеркалу, чтобы довершить несложный туалет, и сказала: «Еще один седой волос», – внимательно вглядываясь в вынырнувшее ей навстречу злое и высокомерное лицо.

Я смотрел на нее, пойманную на секунду редким солнечным лучом, облокотившуюся на грязный подоконник, и снова думал, не мог не думать о том, насколько дик и бесконтролен хищный зверь ее интуиции, объевшийся доморощенным самоанализом: ни образование, ни культура мысли не противостояли порывам сей необузданной души. Дар ее был сродни дару темных уличных гадалок. Все, что она выдавала за собственные мысли, было позаимствовано где-нибудь по случаю – даже последнее замечание о мертвых я уже встречал, в *Moeurs* – да и книг она обычно не читала, но тянула необходимые ей соки из блистательных порой рассуждений Бальтазара, Арноти или Персуордена об этих самых книгах. Она была ходячей выжимкой из всех мыслителей и литераторов, которых когда-то любила или просто уважала на расстоянии, – а впрочем, покажите мне умную женщину, чей ум питается иначе.

Нессим сжал руку Мелиссы между своими ладонями (они лежали там спокойно и без напряжения, как облатки) и стал выпрашивать ее обо мне с такой алчностью, как будто любил не Жюстин, а меня. Выбор любимого человека всегда провоцирует на любовь. Чего бы я только не дал, чтобы услышать ее тогдашний рассказ обо мне: я вижу, как она говорит, как разгораются глаза Нессима, очарованного ее искренностью и скрытым чувством слова, – как в немом кино. Я знаю только, что под конец она сморозила глупость: «Даже и теперь они несчастливы: жутко ссорятся; Хамид говорил мне, когда я видела его в последний раз». Уж она-то, с ее опытом, должна была угледеть в этих ссорах самую суть нашей любви. Мне кажется, она хотела видеть только эгоизм Жюстин – невероятное в своей откровенности отсутствие всякого интереса к другим людям, свойственное моему тирану. Врожденное милосердие, единственное качество, способное заставить Мелиссу составить о человеке доброе мнение, было ей совершенно чуждо. Она ведь в действительности и не принадлежала людской породе – как и любой человек, занятый исключительно собственным эго. Какого черта я в ней нашел? – задавался я в тысячный раз все тем же вопросом. Однако Нессим, начинавший уже понемногу понимать и влюбляться в Мелиссу, как в продолжение Жюстин, прекрасно почувствовал ситуацию. Мелисса станет искать в нем качеств, которые, по ее мнению, я находил в его жене. Мы четверо были, сами того не зная, безнадежно повязаны («Мы, много ездившие по свету и много раз любившие; мы, кто – я не скажу страдал, ибо в страдании всегда открывалась нам истина, – только мы способны заметить невероятно сложную природу нежности, только мы понимаем, как близки любовь и дружба»). *Moeurs*).

Они говорили теперь, как говорят, наверно, между собой приговоренные к смерти брат и сестра, с растущим чувством легкости, с радостью путника, нашедшего, с кем поделиться тяжелой ношей невыговоренных тягот. Где-то на заднем плане возникла вдруг тень желания, бесплотный призрак, побочное дитя успокоенности и доверия. Как предчувствие материализации их взаимной склонности: постель еще будет, и куда менее уродливая, чем у нас с Жюстин. Любовь много искренней, когда порождается не страстью, а симпатией; и она не оставляет ран.

Когда они наговорились вдоволь и, окоченевшие – огонь давно погас, – поднялись на ноги, расправляя затекшие члены, уже светало. В тусклом бледно-лиловом свете занимавшейся зари они дошли до машины. Мелисса обрела друга и покровителя; Нессим же – он преобразился. Новое, пробуждающееся чувство неким волшебным образом снова сделало его самим собой – то есть человеком, способным действовать (скажем, убить любовника жены, буде придет вдруг в голову такая мысль).

Они мчались вдоль пустынного, первобытного в своей пустынности берега моря, и первые осторожные усики солнца, подрагивая, раскручивались от горизонта к горизонту над темным задумчивым Средиземным морем, чьи могучие бока терлись одновременно о священный, затерявшийся в дальних веках Карфаген и о тот Саламин, что на Кипре.

Некоторое время спустя, там, где дорога ныряет между дюнами к морю, Нессим притормозил и, неожиданно для себя, предложил искупаться. Он переменялся, и ему вдруг захотелось, чтобы Мелисса увидела его обнаженным, оценила его красивое тело, долго-долго пребывавшее в забвении – как костюм от первого класса мастера, забытый ненароком в платяном шкафу на чердаке.

Смеющиеся, голые, они вошли рука об руку в ледяную утреннюю воду, чувствуя, как ласковые блики солнца застенчиво лижут им спины. Мир был сотворен словно бы заново, и они встречали первое утро. Мелисса, сбросившая вместе с одеждой последние крохи скованности, снова стала танцовщицей, танцовщицей от Бога; ибо нагота всегда возвращала ей чувство полноты и равновесия: именно то, чего ей так не хватало в кабаре.

Они долго лежали рядом в счастливом молчании, выискивая во тьме чувств тропинки навстречу друг другу. Он понял, что завоевал ее без боя, – и теперь она стала его женщиной – во всем.

Вместе они въехали в город, счастливые и встревоженные одновременно, – оба почувствовали озерцо пустоты в самом сердце вновь обретенного счастья. Им не хотелось отдавать друг друга во власть грядущей повседневности, и они медлили, машина медлила, медлило молчание в паузах меж ласковых слов.

Наконец Нессим вспомнил об одном полуразвалившемся кафе в Мексе, где можно было заказать вареное яйцо и кофе. Несмотря на ранний час, сонный грек, хозяин заведения, поставил для них стулья под высохшим фиговым деревом на заднем дворе, полном кур и скудного куриного помета. Вокруг громоздились фабрики, верфи и пристани, груды гофрированной стали. Было и море – но лишь в виде сырого затхлого запаха горячего железа и смолы.

В конце концов она указала ему угол, где ее посадить, и он ее посадил, попрощавшись с этакой «деревянной церемонностью», – опасаясь, быть может, нескромного глаза какого-нибудь из собственных служащих. (Последнее есть собственное мое предположение, рожденное ощущением полной в данном случае неуместности слов «деревянный» и «церемонность», слишком провонявших литературой.) Снова – и властно – заявила о себе механическая городская суэта, приговорив их, словно в наказание, к прежним занятиям и чувствам. Выйдя из машины, зевающая, сонная, она сразу же завернула в маленькую греческую церковь и поставила святому свечку, что было для нее абсолютно естественно. Она перекрестилась на православный манер и, наклонившись к иконе, придержала рукой прядь волос, впитывая сквозь медный привкус поцелуя утешение полузабытого детского обычая. Затем устало обернулась и прямо перед собой увидела Нессима. Он был смертельно бледен и смотрел на нее с обжигающе радостным удивлением. Она поняла сразу все. Они обнялись с чувством какой-то мучительной подспудной боли, не целуясь, – просто прижались друг к другу, тесно, и его тоже пробрала дрожь усталости. Зубы его стучали. Она затащила его на хоры, он сел и несколько невыносимо тягучих минут пытался что-то сказать, проводя рукой по лбу, как утопленник, с трудом возвращенный к жизни. Говорить ему было не о чем, но сама невозможность произнести хоть слово испугала его. «Так поздно уже, полседьмого», – прокаркал он наконец. Прижав

ее руку к щетинистой щеке, он с трудом поднялся и, словно глубокий старик, пошел обратно к выходу, к солнечному свету, опираясь рукой о стену. Мелисса сидела и смотрела ему вслед.

Никогда еще свет утреннего солнца так не радовал Нессима. Город сиял, как драгоценный камень. Резкие крики телефонов полнили большие здания из камня, в которых финансисты проводили большую – настоящую – часть своих жизней, и казались ему криками больших механических птиц, снесших каждая по яичку. Каменные стены сияли молодостью фараонов. Деревья в парке набрякли каплями после внезапного утреннего ливня. Они сверкали бриллиантовыми россыпями и были похожи на огромных кошек, занятых утренним туалетом.

Левитируя в лифте на пятый этаж, пытаясь нелепыми телодвижениями придать себе мало-мальски презентабельный вид (он потрогал рукой щетину на подбородке, перевязал галстук), Нессим вопросительно глядел на свое отражение в дешевом зеркале, озадаченный открывшейся ему новой областью чувств. Новые чувства рождали новые надежды. Но за радужными переливами красок подрагивали по тьме шесть сказанных Мелиссой слов, рождая боль, похожую на зубную или на боль в нарывающем пальце. У него возникло смутное ощущение: Жюстин уже мертва – вместо живого, яркого образа он видел теперь гравюру, медальон из тех, что годами носят на груди. Горько расставаться со старой жизнью ради новой – а каждая женщина приносит с собою новую жизнь, как туго набитый чемодан. Жюстин растаяла вдруг, испарилась. Он больше не хотел обладать ею, он хотел от нее избавиться. Из женщины она стала ситуацией.

Он вызвал Селима и, когда секретарь пришел, потрясающе спокойным голосом надиктовал ему несколько скучнейших деловых писем. Селим тщательнейшим образом записывал каждое слово скорописью, похожей на следы вороньих лапок, и руки у него дрожали. Наверное, он еще никогда так не боялся Нессима – хозяин возвышался над полированной поверхностью огромного стола перед шеренгой выстроившихся по ранжиру телефонных аппаратов.

Долгое время после той памятной ночи Нессим не встречался с Мелиссой, но он писал ей длинные письма – и все они отправились в унитаз. По какой-то необъяснимой причине ему представлялось совершенно необходимым оправдать и объяснить Жюстин перед Мелиссой, и каждое письмо начиналось с длинного упражнения в технике мазохизма на тему о прошлом Жюстин и о собственном прошлом. Без подобной преамбулы, казалось ему, было бессмысленно даже пробовать рассуждать о том, как Мелиссе удалось вообще появиться на его горизонте, тем более увлечь его. Конечно, не от Мелиссы он защищал свою жену, ведь Мелисса не сказала о ней ни единого дурного слова (если не считать первой фразы), но от собственных сомнений, ранее ему неведомых и рожденных именно в ту, пока единственную ночь. Встретив Жюстин, я заново увидел и оценил Мелиссу. Так и Нессим, глядя в серые Мелиссины глаза, стал свидетелем рождения нового, неожиданного лика Жюстин. Тревога его стала столь сильной, что он уже был готов возненавидеть любимую женщину. Он понял: ненависть есть всего лишь недооволенная любовь. И он позавидовал прямодушию покойного Персуордена, который со свойственной ему стержовностью написал на форзаце экземпляра своей последней книги, подаренного Бальтазару:

Персуорден о жизни

Н. В. Еда чтобы есть

Искусство чтобы делать искусство

Женщины чтобы...

Все

МЕСТО ОТРЫВА

А когда они встретились, позже, при совершенно иных обстоятельствах... Но у меня не хватит смелости продолжать. Я достаточно покопался в свое время в Мелиссе и умом, и серд-

цем, и мне трудно говорить о том, что нашел в ней Нессим: страница за страницей исправлений и подчисток. Страницы, вырванные мною из дневников и уничтоженные. Ревность на почве секса, пожалуй, самое странное из известных мне животных и может поселиться где угодно, даже в памяти. Я отворачиваюсь, чтобы не видеть застенчивых поцелуев Нессима, поцелуев Мелиссы, искавших в Нессиме лишь уст, ближайших к моим устам...

Из твердой на ощупь пачки я вытянул полоску картона (после долгих постыдных просьб, устав от собственной назойливости, я все же убедил соседа-печатника, берущего время от времени частные заказы, напечатать на них мое имя и адрес), взял ручку и написал:

*м. _____ с удовольствием принимает
любезное приглашение м. _____ на
утиную охоту на озере Мареотис.*

Теперь, мне кажется, самое время сделать пару важных умозаключений о странностях человеческой природы.

* * * * *

Осень осела наконец на землю холодным предзимьем. Высокая волна, набегающая на пустынную набережную Корниш. Перелетные птицы множатся на прибрежных мелководьях Мареотиса. Вода меняет цвет с золотого на серый, цвет зимы.

Охотники съезжаются к дому Нессима до самых сумерек – представительная коллекция шикарных машин. Бесконечная суета: пакуют и снова разбирают плетеные корзины, укладывают ружья в чехлы под аккомпанемент коктейлей и сэндвичей. Распускаются соцветия охотничьих костюмов. Сравнивают патроны, ружья, и завязывается разговор, неотделимый от ощущения охоты, бессвязный, бестолковый и мудрый. Наползает желтоватая безлунная тьма; солнечные лучи медленно карабкаются по стенам домов, как луч прожектора, и упираются в остекленелую лиловость вечернего неба. Свежий ветер, вечер прозрачен, как стакан с водой.

Я собираюсь, Жюстин помогает мне – мы движемся в паутине окунувшейся в хаос квартиры так, словно уже расстались. На ней знакомый вельветовый костюм – куртка с низко прорезанными и глубокими косыми карманами; и мягкая велюровая шляпа, надвинутая низко на глаза, – шляпа школьницы; высокие кожаные сапоги. Мы больше не глядим друг другу в глаза и произносим пустые, ненужные слова. У меня болит голова, буквально разламывается. Она всучила мне свое собственное запасное ружье – великолепную «Порди» двенадцатого калибра, идеальное оружие для новичка вроде меня.

Смех и аплодисменты – тянут жребий. Номера разбросаны по всему озеру, и тем, кому достанутся места на западной стороне, придется делать изрядный крюк через Мекс и пустыню за Мексом. Предводители команд по очереди тянут из шляпы бумажки с именами гостей. Нессим уже успел вытянуть Каподистрия; Да Капо щеголяет в ловко пригнанной кожаной куртке с бархатной отделкой, габардиновых брюках гольф цвета хаки и клетчатых гетрах. Сам он надел старую твидовую шляпу с фазаньим пером и весь обвешан туго набитыми патронташами. За Каподистрия следует Ралли, старый греческий генерал с жуткими серыми мешками под глазами и в заштопанных бриджах; Палли, французский торговый атташе в дубленке; и – я.

Жюстин и Помбаль попали в команду лорда Эррола. Что же, так и должно было случиться. Внезапно, увидев холодноватый блеск в бесстрастных глазах Нессима, я чувствую страх, в первый раз. Мы вытягиваем номера. Селим затягивает ремни на неподъемном свиной кожи саквояже для ружей. Руки у него дрожат. Последние распоряжения по дому, бормочут моторы авто, машины трогаются с места, и на звук автомобильных выхлопов из дверей выпархивает табунчик слуг с бокалами шампанского на подносах – прощальный кубок. Задержка

дает Жюстин возможность подойти к моей машине и под тем предлогом, что ей хочется снабдить меня пачкой патронов с бездымным порохом, сжать мне руку, один раз, крепко, и удерживать на полсекунды на моем лице свой взгляд: живые черные глаза, и в них – странное выражение, едва ли не радость, не облегчение. Я пробую скроить из губ улыбку.

Мы медленно трогаем с места, Нессим за рулем, и успеваем поймать последние лучи заходящего солнца за городом, скользя по шоссе вдоль плоских песчаных дюн Абукира. Все в прекрасном расположении духа, Ралли болтает за троих, Каподистриа забавляет публику салонными историями о своем легендарном безумном отце. («Первое, что он сделал, когда рехнулся, – затеял судебный процесс против собственных сыновей, двоих из нас, выдвинув обвинение в сознательной и злонамеренной незаконнорожденности».) Время от времени он дотрагивается пальцем до компресса под черной повязкой на левом глазу. Палли надел старую охотничью шапку с большими наушниками и выглядит в ней как задумчивый галльский кролик. Иногда в зеркальце заднего вида я ловлю взгляд Нессима, и он улыбается.

Когда мы прибываем на место, уже темнеет. У берега визжит и поскуливает старый гидроплан, он ждет нас. Задние сиденья завалены приманками. Нессим цепляет к двум длинноствольным ружьям треноги, прежде чем сесть с нами вместе в плоскодонную лодку с низкими бортами и тронуться в путь сквозь заросшие тростником протоки к одинокому охотничьему домику где-то там, на воде, где мы проведем ночь. Горизонт обрезан близкими кулисами камышей, и шумная наша посуда несется вдоль по быстро темнеющей протоке, распугивая ревом моторов местную живность; протока становится все уже, тростник – выше, и торчат из илистых кочек пучки осоки, там земля. Раз или два мы выныриваем на широкий водный простор – ненадолго – и ловим взглядом суматоху поднимающихся на крыло птиц: утки судорожно бьют крыльями, вспахивая перепончатыми лапами зеркальную гладь воды. Совсем неподалеку суетятся бакланы, длинноносые, сутулые, похожие на стайку эстетов в антикварной лавке. Повсюду, теперь уже со всех сторон, отходят ко сну неисчислимы птичьи стаи. Когда стихают моторы, тишина взрывается вдруг утиным гомоном.

Легкий, пахнущий зеленью ветер вспыхивает в воздухе и разбегается рябью по воде вокруг маленькой камышовой хижины на сваях. На помосте перед ней сидят арабы (они будут заряжать нам ружья и приносить дичь) и ждут нас. Как-то вдруг стемнело, и голоса в лодке звучат неестественно громко, резко и весело. Рожи у завтрашних наших помощников самые бандитские. Они скачут с кочки на кочку, подоткнув длинные свои галабеи, босые, нечувствительные к холоду. Они черны и огромны, словно выточены из ночи. Они втаскивают нас на помост и прыгают в лодку, чтобы набрать по охапке приманок, а мы бредем в комнаты, где уже горят парафиновые лампы. Из крохотной кухоньки просачиваются запахи ужина, и мы им благосклонно внимаем, освобождаясь от груза ружей и патронташей, скидывая сапоги. Те, кто поазартнее, садятся за триктрак и заводят бесконечные охотничьи байки, самый восхитительный и захватывающий мужской разговор на свете. Ралли натирает свиным салом старые, чиненные-перечиненные сапоги. Ужин удался на славу, а красное вино капнуло каплю неги в общее радужное настроение.

К девяти, тем не менее, все уже готовы ко сну; Нессим ходит снаружи, в крошечной тьме, и проводит последний инструктаж, затем ставит старый ржавый будильник на три утра. Один лишь Каподистриа не выказывает желания спать. Он сидит отрешенно, потягивает вино и дымит сигарой. Мы перебрасываемся несколькими пустячными фразами; внезапно он резко меняет тему и начинает рассуждать о третьем томе Персуордена (он только что поступил в продажу) емко и дельно. «Что удивительно, – замечает Да Капо, – он маскирует под банальности целую серию кардинальных духовных проблем – и иллюстрирует их, на каждую по персонажу. Я как раз думал над его Парром, сенсуалистом. Очень уж похож на меня. Его апология чувственности фантастически хороша – помните, он говорит, что люди видят в нас обычно лишь презрения достойное гусарство, движущее нами, но упускают возможность копнуть чуть

глубже и обнаружить жажду красоты. Незнакомое лицо способно порой перевернуть тебе душу – хочется просто съесть его, черточку за черточкой. Укладываешь в постель тело, довесок к лицу, и тщетно ищешь в нем забвения, отдыха. Что поделаешь, такими уж мы родились». Он тяжело вздыхает и погружается в воспоминания об Александрии, какой она была прежде. Он говорит, и мягкая улыбка смирения трогает его губы: давно ушедшие дни, он сам – подросток, затем молодой мужчина, движется в потоке времени так свободно, так безмятежно. «Я так и не понял до конца, что за человек был мой отец. Скептик, насмешник, хотя, может быть, он просто прятал таким образом собственную слабость. Фраза заурядного человека не в состоянии обратить на себя ваше внимание, тем паче претендовать на место в вашей памяти. Как-то раз мы говорили о женитьбе, и он сказал: “В браке узаконено отчаяние”, – и еще: “Каждый поцелуй есть преодоленное отвращение”. Я тогда понял: у него весьма занятные представления о жизни, целая философия, но вмешалось сумасшествие, и все, что у меня осталось в память о нем, – несколько фраз и забавных историй. Хотел бы я оставить после себя хотя бы столько».

Я лежу на узкой койке, гляжу в темноту и думаю о его словах: вокруг лишь тишина и тьма, и только снаружи – тихий быстрый голос Нессима, отрывистые фразы – он говорит с арабами. Слов я не слышу. Каподистрия сидит еще несколько минут на месте, докуривает сигару, затем грузно перебирается на койку у окна. Остальные давно спят, если судить по раскатистому храпу Ралли. Страх мой снова сменился смирением; на грани яви и сна я думаю о Жюстин, один лишь миг, куда память о ней не соскальзывает в сумеречный покой забвения, проницаемый лишь для отдаленных сонных голосов и торопливых вздохов воды под настилом.

Просыпаюсь я в кромешной тьме: Нессим осторожно трясет меня за плечо. Будильник нас подвел. Но комната уже полна людей, они потягиваются и зевают, выбираясь из-под одеял. Арабы спали снаружи, на помосте, свернувшись, как овчарки. Они зажигают парафиновые лампы, чтобы осветить наш торопливый завтрак: кофе и бутерброды. Я спускаюсь на мостки и умываюсь ледяной озерной водой. Темно, хоть глаз коли. Все говорят полупшепотом, словно придавленные тяжестью тьмы. Домик стоит на хилых жердях, воткнутых прямо в озерный ил, и каждый порыв ветра сотрясает камышовые стены сверху донизу.

Нам выдают по лодке и по арабу. «Возьмешь Фараджа, – говорит Нессим. – Он из них самый опытный и надежный». Я говорю: спасибо. Лицо черного варвара под замусоленным белым тюрбаном, без улыбки, без проблеска духа. Он собирает мое снаряжение и молча шагает в темную плоскодонку. Я шепотом прощаюсь, тоже забираюсь в лодку и сажусь. Гибкое движение, шест упирается в дно, Фарадж выталкивает нашу лодку в протоку, и мы скользим сквозь сердцевину черного алмаза. Вода полна звезд, плывет Орион, Капелла роняет вверх бриллиантовые капли. Мы крадемся по зеркальной глади, усыпанной самоцветами, долго-долго в полной тишине – слышен лишь приглушенный водой чавкающий звук ила, когда погружается шест, и затем – шепелявое лепетание капель. Мы круто сворачиваем в более широкий проход между черными стенами тростника, и мелкая рябь плещет о нос плоскодонки, и со стороны невидимого моря налетают легкие, пахнущие солью сквозняки.

В воздухе уже повеяло предчувствием утра, а мы все еще плывем через затерянный мир. Проходы к большой воде впереди ощетинились цепочкой островков, зубчатые бороды тростника и осоки. Со всех сторон доносятся теперь торопливая утиная скороговорка и резкие сдавленные крики крачек. Фарадж бормочет что-то себе под нос и сворачивает к ближайшему островку. Я вытягиваю руки в темноте, и они натываются на обод бочки, на ощупь ледяной, в бочку я осторожно перебираюсь из лодки. Укрытия для стрельбы состоят всего-навсего из пары сухих внутри деревянных бочек, связанных вместе и обставленных для маскировки высокими вязанками камыша. Фарадж удерживает лодку на месте, пока я достаю из нее свои охотничьи причиндалы. Вот и все, остается лишь сидеть и ждать, когда безлика черная тьма разродится зарей, которая, должно быть, где-то уже занимается.

Жуткий холод, и даже плотное пальто от него не спасает. Я уже сказал Фараджу, что ружья буду перезаряжать сам: мне не хочется, чтобы он возился с ружьем и патронами у меня за спиной. Когда говорил, было стыдно, но так мне будет спокойнее. Он кивнул безо всякого выражения на лице и стоит теперь в лодке в соседних зарослях, замаскированный под воронье пугало. Мы ждем, и лица наши обращены к востоку – кажется, уже не первую сотню лет.

Неожиданно в самом конце длинного облачного коридора мой глаз цепляется за прозрачный проблеск: тонкая бледно-желтая полоса ширится, ширится, и прорывается наконец первый солнечный луч – сквозь темную массу облаков на востоке. Невидимые птички стаи вокруг нас просыпаются окончательно. Медленно, с явным усилием, как раскрывается тяжелая полуприворенная дверь, восходит на небо заря, оттесняя тьму. Еще минута, и скользит с небес, ступенька за сияющей ступенькой, лестница из мягких лютиков, очерчивая горизонт, возвращая нам зрение, и разум, и чувство пространства. Фарадж широко зевает и чешет бок. Розовые, маренговые волны захлестнули мир, и сквозь них – жженое золото. Облака отблескивают желтизной и зеленью. Озеро – понемногу – стряхивает сон. Черный силуэт чирка чертит на востоке короткую кривую. «Пора», – шепчет Фарадж; но минутная стрелка моих часов считает иначе: еще шесть минут в запасе. В моей душе нетерпеливое ожидание борется за власть с ленивой инерцией ночи. Мы договорились: ни единого выстрела до половины пятого. Я медленно заряжаю ружье и кладу патронташ на ближний край бочки, прямо под рукой. «Пора», – снова говорит Фарадж, уже настойчивее. Совсем рядом, где-то в камышах, шлепают по воде и с шумом продираются сквозь заросли какие-то невидимые птицы. Прямо за ближайшим поворотом плавают на открытой воде пара лысух: они плещутся и задумчиво переговариваются между собой. Я открываю рот, чтобы что-то сказать, но с юга долетает ружейная перебранка – как отдаленное щелканье крикетных шаров.

Пролетают одиночки, первая, вторая, третья. Свет прибывает, становится ярче, разменивая красноту на зелень. Облака, толкаясь, расходятся в стороны, освобождая бездонные пропасти неба. Они ошкуривают утро, как яблоко. Ярдах в двухстах поднимаются и выстраиваются клином сразу четыре утиные семьи. Летят они прямо на меня четким выверенным строем, и я для пробы нажимаю на правую собачку, издалека. Как обычно, летят они быстрее и выше, чем кажется. Сердце тикает как часы. Невдалеке просыпаются еще несколько ружей, и все озеро приходит в движение. Утки летят теперь непрерывно, стайками, три, пять, девять; очень низко и быстро. Утиные крылья урчат по-кошачьи, крепкие тельца режут воздух, шеи вытянуты вперед. В вышине, между небом и землей, тоже пролетают утиные стаи, как воздушные армии, армады боевых машин, выстроившись против света, мягко вспахивая податливую голубую плоть. Ружья месят воздух, пробивают бреши в косых шевелящихся линиях, медленно дрейфующих в сторону моря. Еще выше, вне досягаемости, летят цепочки диких гусей, и заунывный гусиный крик звучит подобно камертону над солнечными уже водами Мареотиса.

Времени думать не остается: чирки и связы свистят надо мной, как с силой пущенные дротики, и я начинаю стрелять медленно и методично. Их невероятно много; порою просто не успеваешь выбрать мишень среди всплескивающих в небе силуэтов. Раз или два я ловлю себя на том, что стреляю наугад в середину стаи. Прямое попадание, птица замирает, переворачивается в воздухе и грациозно падает, как платок из дамской руки. Смыкаются камыши над коричневым тельцем, но Фарадж не ведает усталости, он носится как сумасшедший и кидает в лодку птицу за птицей. Иногда он с шумом погружается в воду, подоткнув галабею на груди. Лицо его дышит азартом. Время от времени он издает пронзительный вопль.

Теперь они летят отовсюду, под любым мыслимым углом, на любой скорости. Оглушительно и беспорядочно влаивают ружья, гоняя птиц над озером взад и вперед. Некоторые стаи, весьма проворные и ловкие на вид, явно поредели и порядком устали; бестолково мечутся отбившиеся от своих одиночки, окончательно потерявшие голову от страха. Утка, молодая и глупая, опускается прямо рядом с лодкой, едва ли не к Фараджу в руки; заметив опасность,

она судорожно машет крыльями, вспенивает воду и исчезает в зарослях. Признаться, дела мои идут не так уж плохо, хотя в охотничьем запале трудно заставить себя целиться тщательно. Солнце совсем встало, и ночная сырость рассеялась бесследно. Через час я буду обливаться потом. Солнце светит над встревоженными водами Мареотиса, летают птицы. Плоскодонки, должно быть, уже полны мокрых птичьих тел, каплет на днище алая кровь из разбитых клювов, потускнели перья – смерть.

Я экономлю патроны как могу, но уже в четверть девятого выпускаю свой последний заряд; Фарадж по-прежнему за работой, он прилежно выслеживает подранков в камышовых дебрях, целеустремленный и сосредоточенный, как ретривер. Я закурываю сигарету и в первый раз ощущаю свободу, свободу от знамений и знаков – свободу вздохнуть и собраться с мыслями. Невероятно, насколько прочно сковывает вольную игру ума перспектива смерти, как будто стальная решетка отгораживает напрочь все надежды и чаяния, коими только и питается будущее. Я трогаю тыльной стороной ладони щетину на подбородке и с вожделием думаю о горячей ванне и о завтраке, столь же горячем. Неутомимый Фарадж все еще прочесывает островки осоки. Ружья сбавляют темп, кое-где они и вовсе смолкли. С тягучей болью возвращается мысль о Жюстин, сейчас она где-то там, за залитыми солнцем водами. Особых причин беспокоиться о ней у меня нет, ибо подавать ей ружья должен мой верный Хамид.

Чувство радости и облегчения охватывает меня, и я кричу Фараджу, чтобы он кончал свои поиски и подогнал мне лодку. Он подчиняется с явной неохотой, и мы наконец-то трогаемся в обратный путь сквозь поросшие камышом протоки – домой.

«Восемь пар нехорошо», – говорит Фарадж, и перед глазами у него явно стоят туго набитые дичью ягдташи профессионалов вроде Ралли или Каподистриа. «Для меня это очень хорошо, – отвечаю я. – Стрелок из меня никудышный. Я никогда еще не брал так много». Мы углубляемся в густо заросшие травой протоки, которыми, как миниатюрными каналами, со всех сторон опоясано озеро.

Немного погодя я различаю против солнца еще одну плоскодонку, она движется в нашу сторону, и очертания сидящего человека складываются постепенно в знакомую фигуру Нессима. На голове у него старая кротовая ушанка, наушники завязаны наверху. Я машу ему рукой, но он не отвечает. Лодка движется, он задумчиво сидит на носу, обняв руками колени. «Нессим! – кричу я. – Как успехи? У меня восемь пар, и еще пару не нашли». Лодки почти поравнялись, мы подходим к устью последней протоки, за поворотом – домик. Нессим ждет, пока между нами не останется всего несколько ярдов, а потом говорит с каким-то странным спокойствием: «Ты слышал? Несчастный случай. Каподистриа...» – и сердце падает у меня в груди. «Каподистриа?» – заикаясь, переспрашиваю я. На лице Нессима все то же злое спокойствие, как у человека, только что выплеснувшегося до конца. «Он умер», – говорит Нессим, и вдруг заводятся с оглушительным ревом моторы глассера, совсем рядом, за тростниками. Он кивает на звук моторов и продолжает все так же ровно: «Повезли в Александрию».

Тысяча обычных банальностей, тысяча столь же обычных вопросов вертится у меня в голове, но я еще долго не могу произнести ни слова.

На помосте толпятся все прочие, на лицах тревога, едва ли не стыд; они похожи на кучку нашкодивших школьников, чья злая шутка обернулась вдруг смертью товарища. Воздух еще обернут меховой полостью шума лодочных моторов. Где-то в стороне, не очень далеко, раздаются крики, затем вступают двигатели автомобилей. Спрессованные утиные тушки, в иное время предмет для язвительных замечаний, разбросаны по полу и выглядят нелепо и не к месту. Смерть оказалась палкой о двух концах. Вступая в темные пределы озера с оружием наперевес, мы готовы были принять лишь определенную ее дозу. Смерть Каподистриа висит в неподвижном воздухе, словно дурной запах, словно дурная шутка.

Ралли ездил, чтобы забрать его после охоты, и нашел труп на мелководье, лицом вниз, рядом плавала черная повязка. Несчастный случай, совершенно очевидно. Ружья Каподистриа

перезаряжал пожилой араб, худой как баклан, теперь он сторбился над варевом из бобов на помосте. Требовать от него сколь-нибудь вразумительного отчета о происшедшем – занятие совершенно безнадежное. Родом он из Верхнего Египта, и на лице у него застыло усталое полу-безумное выражение пустынного отца-отшельника.

Ралли очень нервничает и рюмку за рюмкой пьет коньяк. Он по седьмому разу пересказывает, как он обнаружил Да Капо, просто чтобы хоть как-то успокоиться. Тело не могло пролежать в воде долго, но кожа напоминала кожу на ладонях прачки. Когда они вынули его из воды и стали укладывать в глассер, изо рта выпала вставная челюсть, с громким стуком ударилась о стлани и всех перепугала. Это происшествие, кажется, сильно на него подействовало. Внезапно на меня наваливается усталость, колени начинают дрожать. Я беру кружку горячего кофе и, скинув сапоги, забираюсь с нею вместе на ближайшую койку. Ралли говорит и говорит, с упорством идиота, и трепетно лепит свободной рукой из воздуха самые невероятные формы – очень выразительно. Прочие взирают на него с усталым и нелюбопытным удивлением, каждому хватает собственных мыслей. Араб все еще ест, громко чавкая, как изголодавшийся зверь, и щурится на солнце. Наконец показывается плоскодонка с тремя застывшими в неудобных позах полицейскими. Нессим разглядывает их гротескно искаженные физиономии с невозмутимостью, едва заметно приправленной чувством удовлетворения; такое ощущение, словно втайне он забавляется. Грохот башмаков и ружейных прикладов по деревянным ступенькам, они поднимаются вверх, чтобы снять с нас показания. С их приходом в домике воцаряется мрачная атмосфера подозрительности. Один из них заботливо надевает наручники на пожилого араба, прежде чем усадить его в лодку. Араб вытягивает ему навстречу руки, и на лице его – искреннее непонимание, как у старого шимпанзе, по команде имитирующего заученные когда-то человеческие жесты, но неспособного их осознать.

Полицейские оставляют нас в покое едва ли не к часу дня. Все, кроме нас, должно быть, уже вернулись в город, чтобы услышать новости о Каподистриа. Но и это еще не все.

Один за другим мы выбираемся на берег со всем своим барахлом. Машины ждут, арабы подходят, чтобы рассчитаться, неизбежный шумный торг; укладываются ружья, распределяется дичь; сквозь всю эту суету я вижу старого моего доброго Хамида, он неловко пробирается сквозь толпу и щурится против солнца. Мне кажется, что он ищет меня; он между тем подходит к Нессиму и отдает ему маленький голубой конверт. Дальнейшее стоит описать подробно. Нессим рассеянно берет письмо левой рукой, в то время как правая его рука нащупывает в салоне автомобиля коробку из-под перчаток и опускает в нее пачку патронов. Он невнимательно пробегает глазами надпись на конверте, затем внимательно ее перечитывает, очень внимательно. Затем, глядя Хамиду прямо в лицо, распечатывает конверт, втягивает в себя воздух и читает – несколько строк на половинке листа почтовой бумаги. Читает он около минуты вдоль и поперек, затем прячет письмо обратно в конверт. Он оглядывается вокруг себя, и на лице у него – растерянность, едва ли не паника; он похож на человека, застигнутого внезапным приступом морской болезни, – через минуту его вывернет наизнанку, и вот он ищет укромного места. Нессим идет сквозь толпу, касается лбом среза глинобитной стены, и из груди его вырывается короткий рыдающий выдох, как у задохнувшегося бегуна. Потом поворачивает назад к машине, полностью овладев собой, с сухими глазами, и вновь принимается паковать вещи. Никто из гостей этой маленькой сценки даже не заметил.

Машины вырывают на шоссе, поднимая тучи пыли; дикая орда лодочников и боев кричит, размахивает руками и дарит нас улыбками, словно вырезанными по темной коже арбузов – с проблесками золота и слоновой кости. Хамид открывает дверь машины и прыгает внутрь ловко, как обезьянка. «Что стряслось?» – спрашиваю я. Он прижимает ладони к груди умоляющим жестом, означающим здесь: «Да не будет наказан принесший злую весть», и произносит тихим голосом молящего о мире: «Хозяин, госпожа уехала. Дома письмо для вас».

Город как будто весь рухнул мне на голову; я медленно бреду домой, беспечно, как бродят, должно быть, выжившие после землетрясения, которое стерло их родной город с лица земли, в тихом изумлении – как могли перемениться столь знакомые места: Рю Пируа, Рю де Франс, мечеть Тербана (буфет, пахнущий яблоками), Рю Сиди Абу-эль-Аббас (фруктовый сок со льдом и кофе), Антучи, Рас-эль-Тин (Инжирный мыс), Икинга Марьют (собирали цветы вместе, уверенность, что она не может любить меня), конная статуя Мохаммеда Али на площади... смешной маленький бюст генерала Эрла, убитого в Судане в 1885-м... воздух перенасыщен ласточками... могилы Ком-эль-Шугафы, тьма и влажная земля, оба испугались темноты... Рю Фуад, старое Канопское шоссе, когда-то Рю Розетт... Хатчинсон прорыл каналы и изменил всю систему александрийских подпочвенных вод... Сцена в *Moeurs*, где он пробует читать ей книгу о ней же самой. «Она сидит на плетеном стуле, скрестив на коленях руки, так, словно позирует художнику, но с нарастающим чувством ужаса – заметно по лицу. В конце концов я не выдерживаю и швыряю рукопись в камин, кричу: “Чего они стоят, эти написанные кровью страницы, если ты так ничего и не поняла?”». Перед глазами у меня встает вдруг Нессим: он бежит вверх по роскошной лестнице, врывается в ее комнату и застает там совершенно опарашенного Селима, тупо взирающего на пустые шкафы и туалетный столик, опустошенный – как леопард ударил лапой.

В Александрийской гавани надрываются сирены. Корабельные винты рубят, месят зеленую, покрытую радужной пленкой воду на внутреннем рейде. Лениво раскланиваются яхты и дышат бездумно, словно бы в ритме систолы и диастолы самой земли, и целят рангоутом в небо. Где-то в самом сердце пережитого скрыты порядок, система соответствий, и мы сможем постичь его, если будем в достаточной степени внимательны, в достаточной степени терпеливы и если будем любить – в достаточной степени. Будет такое время?

Часть 4

Исчезновение Жюстин принесло много нового. Изменилась вся система наших взаимоотношений. Она словно вынула замковый камень из арки; и нам с Нессимом, стоя, так сказать, среди развалин, пришлось восстанавливать утраченные связи – она сама сочинила их, и в брошенных переходах поселилась теперь пустота, виноватое эхо, коему отныне суждено – думал я – сопровождать и даже опережать всякий жест доброй воли, любой оттенок чувства.

Он страдал, и трудно было этого не заметить. На выразительном смуглом лице – опустошенность и нездоровая бледность, как у святого мученика. Стоило мне увидеть его в те дни, и его лицо живо напоминало мне собственные мои чувства, когда я видел Мелиссу в последний раз, перед ее отъездом в клинику, в Иерусалим. Та искренняя мягкость, с которой она произнесла: «Все уже позади... Может, никогда и не вернется... Этот отъезд, по крайней мере». Голос ее стал шероховатым и влажным, размытые окончания слов. Она в то время была уже серьезно больна. Опять обнаружили каверну. «Пора себя переоценивать – всем нам... Если бы я была Жюстин... Я знаю, ты думал о ней, когда бывал со мной... Не отрицай... Я знаю, дорогой мой... Я ревную даже к твоим мыслям... Ужасно, когда вдобавок ко всему взваливаешь на спину еще и жалость к себе... Неважно». Она нетвердым движением выбила нос и попыталась улыбнуться. «Мне нужно отдохнуть, очень нужно... А теперь еще и Нессим в меня влюбился». Я прижал ладонь к ее бледным губам. Такси дрожало, будто в истерике. Мимо нас шли разнаряженные жены александрийцев, похожие на отполированных до блеска призраков. Шофер шпионил за нами в зеркальце. Чувства белых людей, думал, должно быть, он, выглядят странно и возбуждают похоть. Он смотрел на нас, как смотрят на кошачью любовь.

«Я тебя не забуду. Никогда».

«Я тоже. Пиши».

«Я вернусь, как только ты захочешь».

«Конечно. Выздоровливай, Мелисса, ты должна выздороветь, я буду ждать тебя. Все начнется заново. Ничего не кончено, все здесь, внутри. Я чувствую».

В такие минуты говорить нельзя, слова искажают смыслы. Только в молчании – та жесткая точность, что выведет к истине. Мы молчали, держась за руки. Она обняла меня и постучала водителю: пора ехать.

«Она исчезла, и город приобрел для него странные, сбивающие с толку очертания, – пишет Арноти. – Стоило ему завернуть за памятный угол – и она возникала из небытия, необычайно живо, просвечивая – руки, глаза – сквозь улицы и площади. Обрывки старых разговоров возникали вдруг между полированными столиками в кафе, где они сидели когда-то и глядели друг другу в глаза, точно пьяные, – и краской бросались ему в лицо. Иногда она являлась ему среди темной улицы и шла в нескольких шагах впереди. Она медлила, наклонялась, чтобы поправить ремешок сандалии, он подходил к ней, сердце едва не выпрыгивало у него из груди – конечно же, не она. Некоторые двери выглядели так, будто она вот-вот из них выйдет. Он садился и смотрел на них, как пес. По временам его одолевала непререкаемая уверенность: она приедет таким-то поездом, он мчался на вокзал и брел по горло в людском потоке, против течения, словно переходил реку вброд. Бывало, далеко за полночь он сидел в душном зале ожидания, в аэропорту, заглядывая в лица прибывшим и отъезжающим: вдруг ей придет в голову сделать ему сюрприз. Так властвовала она над его воображением и учила понимать, сколь слаб разум; чувство сопричастности ей не покидало его, тяжкая ноша – как умерший ребенок, с которым не можешь заставить себя расстаться».

На следующую ночь после того, как Жюстин уехала, была жуткая гроза. Я час за часом бродил под дождем, мучимый не только собственными не подлежащими контролю чувствами, но и угрызениями совести, – каково-то сейчас Нессиму, думал я. Честно говоря, я просто

боялся вернуться назад, в пустую квартиру, чтобы не отправиться по той же дорожке, что и Персуорден, – как легко, как естественно у него это получилось! Проходя в седьмой раз по Рю Фуад, без пальто и без шляпы, промокший насквозь, я случайно разглядел свет в окошке у Клеа и, повинувшись внезапному импульсу, позвонил. Дверь парадного со скрипом растворилась, и я ступил в тишину подъезда, оставив позади темную улицу, где безумствовал дождь, грохотали по асфальту потоки воды из водосточных труб и ревели водопады в сточных люках.

Она открыла мне дверь и с полувзгляда поняла мое состояние. Меня втащили в дом, содрали мокрую одежду и завернули в синий купальный халат. Маленький электрообогреватель показался мне благословением божьим, а Клеа уже варила на кухоньке кофе, горячий кофе.

Она была в пижаме и уже успела зачесать свои золотистые волосы назад, на ночь. Возле пепельницы с тлеющей сигаретой лежал обложкой вниз экземпляр *A Rebours*⁸⁴. В окне судорожно металась молния, освещая, как вспышками магния, ее серьезное лицо. Перекатывался и корчился в темном небе гром. В здешнем озерце тишины и тепла я попытался изгнать хотя бы часть терзавших меня духов и заговорил о Жюстин. Оказалось, она все знает: от любопытства александрийцев не укроешься. Я имею в виду, она знала все о Жюстин.

«Тебе следовало бы догадаться, – сказала вдруг Клеа в середине разговора, – что Жюстин и была той женщиной, в которую я была так влюблена, я ведь говорила тебе, да?»

Эта фраза многого ей стоила. Она стояла у двери с кофейной чашечкой в руке, одетая в полосатую синюю с белым пижаму. Произнеся первое слово, она закрыла глаза, будто в испуганном ожидании: вот-вот на голову ей обрушится удар. Из-под плотно сжатых век пробились две слезинки и сбежали вниз вдоль крыльев носа. Она была похожа на молодого оленя со сломанной ногой. «Давай не будем больше о ней говорить, – сказала она шепотом. – Она никогда не вернется».

Потом я сделал слабую попытку уйти, но гроза грохотала по-прежнему, и одежда моя была невозможно мокрой. «Можешь остаться, – сказала Клеа, – со мной, – и добавила, так мягко, что в горле у меня встал ком: – Только прошу тебя – я не знаю, как тебе сказать, – пожалуйста, не трогай меня, ладно?»

Мы лежали вместе на узкой кровати и говорили о Жюстин, а снаружи бесилась гроза и секла по подоконникам косыми струями пришедшего с моря дождя. Она совсем успокоилась – такое доверчивое, трогательное смирение. Она многое порассказала мне о прошлом Жюстин, что знала она одна; и говорила она о ней с удивлением и нежностью, как говорят, должно быть, в народе о любимой, пусть даже и безумной королеве. Рассказывая о психоаналитических изысканиях Арноти, она удивленно заметила: «Знаешь, она ведь в действительности вовсе не была умна, в ней говорил инстинкт загнанного в угол зверя. Я даже не уверена, понимала ли она в самом деле, чего они от нее хотели. Но – хитрила она с докторами, с друзьями же была совершенно искренней. К примеру, вся их переписка о словах “Washington D. C.”, сколько сил они на нее потратили, помнишь? Как-то ночью – мы лежали с ней здесь же – я попросила ее выстроить ассоциативный ряд к этой фразе. Она знала, что я не проболтаюсь. И тут же выдала мне (она явно уже делала это, сама, не сказав ни слова Арноти): “Недалеко от Вашингтона есть городок, называется Александрия. Мой отец постоянно собирался туда в гости, навестить каких-то дальних родственников. У них была дочь по имени Жюстин, моих же лет. Она сошла с ума, и ее увезли в психушку. Ее кто-то изнасиловал”. И когда я спросила о “D. C.”, она сказала: “Da Caro. Каподистриа”».

⁸⁴ «Наоборот», откровенно декадентский роман бывшего правоверного натуралиста Жориса Карла Гюисманса. Изыскания главного героя романа (и сама атмосфера рубежа веков) могут составить роскошный иронический комментарий к изысканиям ряда даррелловских персонажей – вроде Бальтазара или Жюстин (или Клеа), так же как название романа – к их извращенности.

Я не помню, сколько длился тот разговор и скоро ли он растворился во сне, но на следующее утро мы проснулись друг у друга в объятиях и обнаружили, что гроза кончилась. Город был вымыт начисто. Мы торопливо позавтракали, и я отправился к Мнемджяну бриться, по улицам, смывшим с себя всю пыль, и небывалой чистоты краски сияли мне навстречу в мягком утреннем воздухе, тепло и радостно. Письмо Жюстин все еще лежало у меня в кармане, но я не решился перечитать его, чтобы не нарушить спокойствия духа, подаренного мне Клеа. И лишь начальная фраза продолжала эхом бродить у меня в голове, упрямо и назойливо: «Если ты вернешься с озера живым, это письмо будет ждать тебя».

В гостиной на каминной полке ждет меня еще одно письмо, мне предлагают двухгодичный контракт – учителем в католическую школу в Верхнем Египте. Я тут же сажусь и, не раздумывая, набрасываю ответ – я согласен. Пускай все переменится еще раз, я хочу освободиться от этих улиц, они преследуют меня последнее время даже во сне; стоит мне закрыть глаза, и я вижу себя бредущим сквозь город – я ищу Мелиссу меж гаснущих огней арабского квартала.

С отправкой ответа начнется новая жизнь, ибо точка сия означает мое расставание с городом, где со мной столько всего случилось, и такого важного: настолько, что я действительно стал старше. Еще некоторое время жизнь по инерции будет катиться вперед, отсчитывая часы и дни. Те же улицы и площади будут гореть в моем воображении, как горит в истории Фарос. Знакомые комнаты, где я любил женщин, знакомые столики в кафе, где ложились мне на запястье пальцы и я лишался дара речи, и чувствовал сквозь раскаленный асфальт под ногами ритмы Александрии, посылаемые ею вверх, в людские тела, а люди лишь иногда способны чувствовать их вкус, как вкус голодных поцелуев или нежных слов, произнесенных голосом, охрипшим от удивления. Для того, кто учится любви, подобные расставания – лучшая школа, горькая, но необходимая, чтобы расти. Они помогают очистить голову от всего лишнего – кроме голода, кроме жажды жить.

А вскоре и все вокруг приходит в движение, не один я собрался уезжать. Нессим едет на отдых в Кению. Помбалья наконец-то окрестили и переводят в другое консульство, в Рим, где, без сомнения, он будет куда более счастлив. Длинная череда ленивых прощальных вечеринок: никого из нас не обошли вниманием, но в общем веселье зияет брешь, нет человека, о коем никто больше и не упоминает, – Жюстин. Ясно также, что по темным кулуарам истории к нам медленно подбирается мировая война, – и нам еще больше хочется жить, хочется друг друга. Сладкий болезненный запах крови висит в темнеющем воздухе и обостряет наше возбуждение, наши привязанности, нашу фривольность. Этой ноты раньше не было слышно.

Уродливые люстры в залах особняка – я их уже почти ненавижу – сияют, освещая толпы гостей; гости пришли сюда, чтобы попрощаться с моим другом. Все они здесь, истории и лица, которые я знаю едва ли не как свою собственную историю, как свое же собственное лицо. Свева в черном, Клеа в золотом, Гастон, Клэр, Габи. Последние несколько недель я стал замечать – в волосах у Нессима проблескивает седина. Птолемео и Фуад ссорятся с воодушевлением старых любовников. Разговоры, легкомысленные и хрупкие, как стеклянные слезки, и в них искрится, поднимаясь и опадая, типично александрийская живость. Женщины Александрии во всем великолепии изысканной стервозности пришли сюда, чтобы сказать последнее «прости» человеку, сумевшему их заинтриговать – дружбой без страсти. А вот и сам Помбаль, он раздобыл и держится как-то увереннее после повышения по службе. Профиль его приобрел недвусмысленные нероновские очертания. Он беспокоится обо мне, о чем и сообщает мне *sotto voce*; мы почти не виделись за последние несколько недель, и о моих планах насчет Верхнего Египта он узнал только сегодня. «Тебе надо уехать, – повторяет он, – назад в Европу. Этот город окончательно лишит тебя воли. Что ты забыл в Верхнем Египте? Духота, пыль, мухи, рабский труд... В конце концов, ведь ты не Рембо».

Лица, словно брызги, взлетают вверх, все пьют стоя и не дают мне ответить; а я и рад, ибо сказать мне нечего. Я смотрю на него как истукан и киваю. Клеа ловит меня за рукав и тащит в сторонку, шепчет: «Открытка от Жюстин. Она работает в еврейском кибуце в Палестине. Нессиму говорить?»

«Да. Нет. Не знаю».

«Она просила не говорить».

«Тогда не говори».

Я слишком горд, чтобы спрашивать, нет ли весточки и для меня. В зале уже поют «Он славный, славный парень» на все лады и мотивы сразу. Помбаль пунцов от удовольствия. Я тихо стряхиваю руку Клеа и пою со всеми вместе. Маленький генеральный консул увивается вокруг Помбаля и размахивает руками: он так рад его отъезду, что вогнал себя в пароксизм дружелюбия и грусти. Представители английского консульства весь вечер сидят с постными минами и похожи на индюков в период линьки. Мадам де Венута отбивает ритм изящной ручкой, затянутой в перчатку. Черные слуги в высоких белых перчатках быстро перекатываются от одной группы гостей к другой – как лунные затмения. Если и уезжать сейчас, ловлю я себя на мысли, то уж в Италию или, может быть, во Францию: начать новую жизнь; на этот раз уже не городскую, может быть, какой-нибудь островок в Неаполитанском заливе... Однако я понимаю: есть нерешенная проблема, и это проблема не Жюстин, а Мелисса. Неким странным образом мое будущее, если у меня еще осталось будущее, всегда зависело от нее. Я же – я чувствую, что не могу повлиять на исход событий ни решением своим, ни даже надеждами. Я знаю, я должен ждать, пока не сложатся в новый узор рассыпавшиеся цветные стеклышки, пока мы снова не попадем в такт, в ногу, в резонанс. На это могут уйти годы – может быть, мы успеем поседеть, прежде чем течение повернет вспять. А может, моей надежде суждено умереть, не родившись, и могучий отлив унесет обломки судна далеко в открытое море. В себя я, считай, не верю вовсе. Деньги, оставленные Персуорденом, лежат себе в банке – я не тронул ни пенни. На такую сумму мы смогли бы жить, и не один год, если только отыскать под солнцем местечко подешевле.

Мелисса шлет письмо за письмом – веселые, беззаботные, – мне же трудно отвечать ей, не ударяясь в унылые ламентации по поводу прискорбных моих обстоятельств и общей несчастлиливости. Уеду – будет проще. Откроется новая дорога. Я стану писать к ней честно, без скидок, обо всем, что чувствую, – даже те вещи, которые, как мне кажется, она не в состоянии понять правильно. «Я вернусь весной, – говорит Нессим барону Тибо, – и поселюсь на лето в Абузире. Я решил на пару лет отойти от дел. Слишком много сил потрачено на бизнес, а он того не стоит». Несмотря на ставшую уже привычной бледность, на лице его нельзя не разглядеть вновь обретенного покоя, он дал себе волю расслабиться; если сердцу его и нелегко, то нервы у него в полном порядке. Он слаб как выздоравливающий; но более не болен. Мы болтаем с ним и перешучиваемся; и оба понимаем – рано или поздно дружба наша обречена воскреснуть, ибо теперь у нас одно несчастье на двоих и мы бредем за ним следом, как ослики за морковкой. «Жюстин, – говорю я, и он втягивает воздух, коротко и тихо, как если бы загнал под ноготь колючку, – пишет из Палестины». Он быстро кивает и аккуратно уводит меня в сторону. «Я знаю. Мы ее выследили. Нет необходимости... Я пишу ей. Она может жить там сколько угодно. Она еще вернется – когда сама захочет». Глупо было бы лишать его надежды и утешения, но я знаю теперь: она никогда не вернется к прежней жизни. Каждая фраза ее письма ко мне дышит этой уверенностью. Она оставила не столько нас, сколько образ жизни, напугавший ее душу, ее разум, – город, любовь, все, что было между нами общего. Что она написала ему тогда, теряюсь я в догадках, вспоминая короткий рыдающий вздох, вырвавшийся у него, когда он прислонился к выбеленной глинобитной стене.

* * * * *

Ранним весенним утром остров медленно выпутывается из ночных объятий моря в свете неяркого, низко стоящего солнца, а я брожу вдоль по пустынным пляжам и пытаюсь вспомнить, как я жил тогда в Верхнем Египте. Вот что странно: все, что касается Александрии, я помню необычайно отчетливо, здесь же – мрак, забвение. А впрочем, ничего странного: по сравнению с городской моя новая жизнь была скучна и лишена событийности. Я помню отупляющий, потный учительский труд; прогулки через плоские, невероятно плодородные поля, где злаки тянут сок из высохших костей умерших; черные илистые воды Нила, могуче текущие через Дельту к морю; оборванных крестьян, и сквозь рванину светят терпение и гордость – как королевские патенты у монархов в изгнании; вещают деревенские патриархи; слепые животные возвращают медленные глобусы водных колес, защищенные собственной слепотой от невыносимой монотонности бытия, – сколь крошечным может стать мир? Все это время я ничего не читал, ни о чем не думал, не был никем. Отцы-учителя были добры ко мне и оставляли меня после уроков в покое, а может, они просто чувствовали мою неприязнь к сутане, ко всему инструментарию Святой Инквизиции. Дети, конечно, были пыткой – но в каком учительском сердце не отзываются время от времени эхом слова Толстого: стоило мне войти в школу и увидеть множество детей, оборванных и грязных, но с ясными глазами и – иногда – с ангельским выражением на лицах, и меня охватывали беспокойство и ужас, как если бы я видел утопающих.

Я поддерживал бессвязный разговор с Мелиссой, лишенный ощущения реальности – как и любая переписка; письма от нее, впрочем, приходили регулярно. Раз или два написала Клеа, а еще – вот уж не ожидал – старина Скоби, весьма, кажется, обиженный одним обстоятельством: ему меня всерьез не хватало. Его письма были полны фантастически нелепых нападок на евреев (он с издевкой величал их «членовредителями») и, как ни странно, на пассивных педерастов (коих он окрестил «гермами», т. е. «гермафродитами»). Я ничуть не удивился, узнав, что Секретная Служба отправила его в бессрочный отпуск и теперь он мог себе позволить проводить большую часть дня в постели на пару с – выражаясь его языком – «бутылочкою зверобоя». И все же ему было одиноко.

Письма были для меня спасением. Чувство ирреальности происходящего сгустилось до полного, непроглядного мрака, и я подчас уже не верил собственной памяти и сомневался, что был вообще когда-то такой город, Александрия. Письма были последней соломинкой, нитью, протянутой к далекой жизни, в которую большая часть моего «я» более не была вовлечена.

Как только заканчивались занятия в школе, я запирался у себя в комнате и забирался в постель; рядом с кроватью стояла зеленая нефритовая шкатулка, а в ней – сигареты с гашишем. Если мой образ жизни и обращал на себя внимание, даже вызывал толки, то, по крайней мере, условия контракта я выполнял от и до. Ставить мне в вину пристрастие к одиночеству было бы нелепо. Отец Расин, правда, предпринял одну-две попытки пробудить во мне интерес к жизни. Он был из них самый умный и самый интеллигентный и, может быть, искал в моей дружбе лекарства для собственного столь же одинокого ума. Мне было жаль его, и я, помнится, даже переживал, что не могу искренне пожать протянутую руку. Но разум мой пребывал в апатии, я становился бесчувственнее день ото дня и старался по возможности избегать любых контактов. Пару раз я составил ему компанию – мы гуляли вдоль реки (он был ботаник), я слушал, а он говорил о своем увлечении легко и остроумно. Однако плоские, невосприимчивые к смене времен года окрестные пейзажи не стали от этого казаться мне менее унылыми. Солнце выжгло во мне всякий интерес к чему бы то ни было – к еде, к обществу, даже к разговорам. Больше всего я хотел просто лежать у себя на кровати, глядеть в потолок и вслушиваться в размеренный хаос звуков в учительском блоке: хихаёт отец Годье, открывая и закрывая ящики комода; отец Расин раз за разом играет на флейте все те же несколько фраз;

в темной часовне жует жвачку орган, роняя аккорды, как куски штукатурки с потолка. Тяжелый дым сигарет приносил покой, опустошая мозг, ставя под вопрос реальность мира.

Однажды, когда я шел к себе через двор, меня окликнул Годье и сказал, что кто-то хочет поговорить со мной по телефону. Я растерялся. Я не поверил своим ушам. После столь долгого молчания кто мог мне позвонить? Может, Нессим?

Телефон был в кабинете директора, мрачной комнате, полной громоздкой мебели и книг в роскошных переплетах. Сам Годье сидел уже за столом, и прямо перед ним, на амбарной книге, лежала, чуть потрескивая, телефонная трубка. Он едва заметно прищурился и произнес с явным неудовольствием: «Звонит женщина, из Александрии». Должно быть, Мелисса, подумал я и очень удивился, когда из хаоса памяти выловил вдруг голос Клеа: «Я говорю из греческого госпиталя. Мелисса здесь, она очень плоха. Может быть, даже умирает».

Удивление и стыд захлестнули меня и обернулись – злостью.

«Но она вообще не велела мне ничего тебе говорить. Ей не хотелось, чтобы ты видел ее больной, – она такая худая. Но теперь я просто обязана. Ты можешь выехать прямо сейчас? Она тебя примет».

Мысленно я уже трясся в дребезжащем ночном поезде: бессчетные остановки и отправления; пыльные станции, провинциальные города, деревни – грязь и жара. На дорогу уйдет целая ночь. Я повернулся к Годье и попросил разрешить мне уехать на весь уик-энд. «В исключительных случаях мы такое разрешение даем, – сказал он раздумчиво. – Если, скажем, вы собрались жениться или если кто-нибудь серьезно заболел». Клянусь, что, пока он об этом не заговорил, мысль жениться на Мелиссе не приходила мне в голову.

Я паковал дешевый свой чемодан, и еще одна мысль осенила меня. Кольца, Коэновы кольца, все еще лежали у меня в шкатулке, завернутые в коричневую бумагу. С минуту я стоял, глядел на них и думал удивленно: а что, если судьба движет неодушевленными предметами, так же как и людьми, – свой рок, своя предначертанность. Чертовы кольца, подумал я, такое впечатление, будто они ждали все это время, затаившись, совсем как люди; ждали, чтобы со смутным чувством удовлетворения занять свое место на пальце бедняги – любого из нас, – попавшего в ловушку *mariage de convenance*⁸⁵. Я сунул их в карман.

Узнав о Мелиссином дезертирстве, я ощутил не боль, но ярость, бесцельный гнев, в основе которого лежало, как мне кажется, искреннее раскаяние. Безбрежная панорама будущего – а я при всей моей осторожности непременно отводил среди тамошнего населения Мелиссе ее собственное, законное место – рухнула, дело рассматривалось в отсутствие ответчика; и только сейчас я понял, сколько она для меня значила. Я словно отдал, уезжая, солидный капитал в надежные руки, надеясь воспользоваться им однажды. Теперь мне сообщили, что я банкрот.

На вокзале меня ждал Бальтазар в маленькой своей машине. Сжав мне руку поспешно и сочувственно, он тускло сказал: «Она умерла вчера ночью, бедная девочка. Она очень страдала, и я дал ей морфий. Вот так». Он вздохнул и бросил на меня быстрый взгляд искоса. «Жаль, что у тебя ведь не в обычае лить слезы. *Ça aurait été un soulagement*».

«*Soulagement grotesque*».

«*Apperefondir les émotions... les purger*».

«*Tais-toi*⁸⁶, Бальтазар, заткнись».

«Мне кажется, она любила тебя».

«*Je le sais*».

«*Elle parlait de vous sans cesse. Cléa a été avec elle tout la semaine*».

⁸⁵ Брак по расчету (*фр.*).

⁸⁶ «... Было бы хоть какое-то утешение». «Гротескное утешение». «Углубить чувства... очистить их». «Замолчи...» (*фр.*).

«Assez»⁸⁷.

Никогда еще нежный воздух раннего утра не был столь полон очарованием Города. Ветер из гавани нежно коснулся моей небритой щеки, как поцелуй старого друга. Мерцал Мареотис между лохматых пальмовых шевелюр, между фабрик и глиняных хижин. Магазины на Рю Фуад – парижский блеск, парижская изысканность. В Верхнем Египте, мелькнула мысль, я успел превратиться в совершенного провинциала. Александрия показалась мне столичным городом. В аккуратном скверике няньки катали коляски, дети – обручи. Гудели трамваи, грохотали и взвизгивали на повороте. «И еще, – сказал Бальтазар, глядя на дорогу перед собой, – ребенок Мелиссы и Нессима. Да ты, наверное, все знаешь. Она живет на Нессимовой даче. Девочка».

Я слушал его и не слышал, я был пьян красотой полузабытого города. У муниципалитета сидели на табуретах профессиональные писцы, разложив на тротуаре роговые чернильницы, ручки и проштампованные листы бумаги, лениво почесывались, улыбочиво болтали. Поднявшись по длинному, хрящеватому спинному хребту Канопского шоссе, мы взобрались на невысокий холм – к греческому госпиталю. Мы вышли из лифта, и длинные белые коридоры третьего этажа приняли нас, а Бальтазар все говорил, говорил, говорил.

«С Нессимом я теперь в натянутых отношениях. Когда Мелисса вернулась, он не пожелал ее видеть из малопонятного мне чувства неприязни, мне показалось – это не по-человечески. Ну, не знаю... А девочку он хочет отдать на удочерение. Мне почему-то кажется, он ее почти ненавидит. Он думает, Жюстин ни за что не вернется к нему, пока у него живет ребенок Мелиссы. Что касается меня, – он чуть помедлил, – я думаю так: ничего случайного здесь нет, любовь вполне способна на подобные фокусы. Просто ребенка, потерянного когда-то Жюстин, Нессим вернул не ей, а Мелиссе. Не правда ли, жутковатая подмена?»

Чувство смутного узнавания обернулось вдруг уверенностью: мы шли к той самой палате, где я навещал умирающего Коэна. И, конечно, Мелисса будет лежать на той же узкой железной койке, в углу, у стены. С жизни станет копировать искусство – как раз в подобных ситуациях.

В комнате суетились сиделки, перешептывались, раздвигая возле койки складную ширму; но Бальтазар мигом разогнал их, и комната опустела. Несколько секунд мы стояли в дверях рука об руку и глядели внутрь. Мелисса была бледная и какая-то иссохшая. Они уже успели закрыть ей глаза и подвязать лентой челюсть – она словно уснула во время косметической операции. Я был рад, что глаза ей закрыли; я боялся поймать ее взгляд.

Ненадолго я остался один, придавленный тишиной чисто выбеленной комнаты, и как-то вдруг совершенно потерялся. Трудно понять, как нужно вести себя наедине с мертвыми; их невероятные глухота и спокойствие столь естественны. Чувствуешь себя неловко, словно в присутствии царственной особы. Я кашлянул в кулак и прошелся взад-вперед по комнате, поглядывая на нее искоса; я вспомнил, как смутился, когда она вошла – в первый раз – ко мне в комнату с руками полными цветов. Мне пришла было в голову мысль надеть Коэновы кольца ей на пальцы, но ее уже спеленали, и руки оказались туго притянуты к бокам. В здешнем климате тело разлагается очень быстро, и покойников хоронят с едва ли не бесцеремонной поспешностью. Наклонившись, я коснулся губами ее уха и дважды неуверенным шепотом сказал: «Мелисса». Потом закурил и, сев на стул в изголовье, принялся изучать ее лицо и сравнивать его с немедленно переполнившими память другими лицами Мелиссы, и каждое было истинным. Оно не было похоже ни на одно из них – но оттеняло их, подводило под ними черту. Замкнутое белое лицо, последняя остановка. Дальше – запертая дверь.

В такие минуты шарить вокруг, пытаешься на ощупь найти подходящий жест, подходящую позу, чтобы встретить на равных жуткое мраморное спокойствие, явственно проступающее на волевых лицах мертвых. И ничего подходящего, сколько ни ройся в хлам человеческих

⁸⁷ «Я это знаю». «Она постоянно говорила о вас. Клеа была с ней всю неделю». «Хватит» (фр.).

чувств. «Ужасны четыре лица любви», – написал Арноти совсем по другому поводу. Я сказал про себя, обращаясь к телу на койке: «Я возьму ребенка, если Нессим отдаст» – и, заключив сей молчаливый договор, поцеловал высокий бледный лоб и вышел, оставив ее на попечение тех, кто упакует ее для доставки к могиле. Я был рад уйти из этой комнаты, рад отделаться от этой тишины, такой натянутой, такой мрачной. Наверно, мы, писатели, жестокий народ. Мертвым все равно. Живые – вот кого придется щадить, если мы все же докопаемся до послания, похороненного в самом сердце человеческого опыта.

(«В прежние времена, когда еще плавали под парусами, собирали на суше черепах и, забив ими большие бочки, ставили бочки в трюм вместо балласта. Оставшихся в живых продавали затем детишкам на забаву. Полуразложившиеся трупы неудачников сваливали в воду в Ост-Индских доках. Всегда можно было набрать еще – сколько угодно».)

Я шел по городу легко и праздно, как сбежавший из тюрьмы. У Мнемджяна фиолетовые слезы блеснули в фиолетовых глазах, он тепло обнял меня. Затем усадил бриться, – брил сам, – и в каждом его жесте сквозило искреннее сочувствие и расположенность. Снаружи по залитым солнцем тротуарам шли жители Александрии, замкнутые каждый в собственную камеру личных чувств и страхов, но все они были, казалось мне, равно далеки от тех чувств и страхов, которыми были заняты мои мысли. Город улыбался обычной своей безразличной улыбкой: *cocotte*⁸⁸, ощутившая свежесть близких сумерек.

Единственное, чего я не сделал, – не повидал пока Нессима. К счастью, он должен был сегодня вечером быть в городе – сие известие меня порадовало. Что ж, время уготовило для меня еще один сюрприз – прежнего Нессима больше не существовало, он сильно изменился.

Он состарился, как старятся женщины: лицо и губы стали шире. Ступал он теперь куда основательней, удобно распределяя тяжесть тела по плоскости ступни, – складывалось такое впечатление, что он перенес дюжину беременностей. Куда девалась головокружительная легкость его походки? Более того – я вообще едва узнал его: фатоватый тип с налетом вялого восточного шарма. На смену прежней очаровательной застенчивости пришла дурацкая самоуверенность. Он буквально на днях вернулся из Кении.

Я еще не успел справиться с потоком новых ощущений, а он уже предложил мне сходить вдвоем в «Этуаль» – ночной клуб, где танцевала Мелисса. Клуб перешел в другие руки, добавил он, как будто это могло оправдать наш туда визит в самый день ее похорон. Я был удивлен и шокирован, но согласился без колебаний, ведомый как любопытством, – мне хотелось присмотреться к нему поближе, – так и желанием обсудить дальнейшую судьбу ребенка, почти мифического ребенка.

Когда мы сошли вниз по узкой душной лестнице и окунулись в белый свет зала, поднялся крик, и изо всех углов к нему побежали барышни – как тараканы. Оказалось, теперь его здесь хорошо знают, теперь он здесь завсегдатай. Громко рассмеявшись, он открыл им навстречу объятия и обернулся ко мне, словно ища одобрения. Одну за другой он брал их за руки и томно прижимал узкие ладошки к нагрудному карману пальто – сквозь ткань вырисовывались очертания туго набитого бумажника: теперь он носил с собой деньги. Жест его сразу напомнил мне, как однажды ночью на темной улице ко мне привязалась беременная женщина, – а когда я попытался сбежать от нее, она поймала мою ладонь и, то ли пытаясь объяснить, какого рода удовольствие она мне предлагает, то ли взывая к моему состраданию, прижала ее к вздувшемуся животу. И теперь, глядя на Нессима, я вспомнил вдруг робкое биение сердца зародыша на восьмом месяце.

Трудно описать, сколь несказанно странным казалось мне в тот вечер сидеть бок о бок с вульгарным двойником Нессима – когда-то с этим человеком я был знаком. Я пристально его изучал, он же избегал моего взгляда, и разговор свелся к унылому обмену банальностями;

⁸⁸ Кокотка (*фр.*).

едва ли не после каждой фразы он прихлопывал унизированной кольцами рукой нарождающийся зевок. Несколько раз, тем не менее, я заметил за новым фасадом проблеск прежней интеллигентности, но тщательно скрытой – как стройная прежде фигурка может быть похоронена под напластованиями жира. В уборной я перекинулся парой доверительных фраз с Золтаном, официантом: «Он наконец-то стал самим собой, с тех пор как уехала его жена. Вся Александрия так считает». Но правда состояла в том, что он стал похож на всю Александрию.

Поздно ночью ему взбрело в голову отвезти меня на Монтазу полюбоваться луной; мы долго молча сидели в машине, курили и глядели, как перекатываются через песчаную косу волны лунного света. Тогдашнее молчание вдвоем помогло мне узнать правду. Он ничуть не изменился. Он просто сменил маску.

* * * * *

В начале лета я получил длинное письмо от Клеа, вполне подходящее, чтобы завершить им это краткое вступление к воспоминаниям об Александрии.

«Может быть, тебя заинтересует описание моей краткой встречи с Жюстин, мы виделись несколько недель назад. Ты ведь знаешь, мы и раньше время от времени посылали друг другу весточку, и, узнав, что я собираюсь ехать в Сирию, – через Палестину, – она сама предложила встретиться. Она будет ждать меня, написала она, на пограничной станции, где поезд на Хайфу стоит полчаса. Ее кибуц находится неподалеку, и ее подбросят на машине. Мы сможем поговорить на перроне. Я согласилась.

Поначалу я едва узнала ее. Широкое лицо – она несколько раздалась, – небрежно остриженные сзади волосы, немые, висят крысиными хвостиками. Наверно, она прячет их под накидкой – там, у себя. Ни следа прежней элегантности и *chic*. Черты ее огрубели, и в ней проступила классическая еврейка, нос и верхняя губа словно тянутся друг другу навстречу. Блеск в глазах, быстрые, лихорадочные дыхание и речь, она как будто была слегка не в себе. Я сперва даже чуть опешила. К тому же, сам понимаешь, мы смертельно стеснялись друг друга.

Мы дошли по дороге до вади, высохшего русла ручья, и сели среди нескольких вусмерть перепуганных весенних цветов. Мне кажется, она заранее выбрала место для «интервью»: должной суровости было в достатке. Хотя кто знает. Сначала она говорила только о своей новой жизни и ни слова о Нессиме или о тебе. Она теперь – ее слова – по-новому и абсолютно счастлива, ибо нашла себя в «служении общему делу», у меня сложилось впечатление, будто я говорю с верующим неопитом. Ну что ты улыбаешься. Я знаю, трудно проявлять терпимость к слабым. В надрывном поту коммунистической утопии она обрела «смирение духа». (Смирение! Последняя ловушка на пути эго к абсолютной истине. Я даже ощутила неприязнь к ней, но смолчала.) О работе в поселке она говорила как-то по-крестьянски примитивно и тускло. Еще я заметила, насколько огрубели ее изящные когда-то руки, теперь они мозолистые и шершавые. Впрочем, люди вольны распоряжаться собственным телом по своему усмотрению, сказала я себе, и мне стало стыдно – от меня почти физически пахло чистотой и досугом, хорошей едой и ваннами. Кстати, она все еще не марксистка – просто мистик от работы, вроде Панайотиса в Абузире. Я глядела на нее, вспоминала прежнюю Жюстин, такую нервную, такую трогательную, и подумала: мне никогда не понять, откуда взялась эта маленькая коротконогая крестьянка с мозолистыми лапками.

Мне кажется, события суть всего лишь комментарий к нашим чувствам – одно можно вывести из другого. Время движет нами (если набраться наглости и предположить, что все мы являем собой самостоятельные существа, обладающие способностью моделировать собственное будущее) – время движет нами, используя момент силы наших же чувств, тех из них по преимуществу, о которых мы меньше всего догадываемся. Слишком абстрактно для тебя? Значит, я не умею выразить свою же мысль. Ну смотри, в случае с Жюстин: вот она излечилась

от помрачения рассудка, от ночных кошмаров, от навязчивых страхов – и сдулась, как воздушный шарик. Слишком долго фантазия без удержу резвилась на авансцене ее души, и вот теперь ей просто нечем заполнить пустоту. Смерть Каподистриа не просто лишила сей театр теней – главного актера, главного надзирателя и соглядатая. Болезнь заставляла ее пребывать в постоянном движении; исчезла болезнь – и стало пусто. Либи́до, подавившее в ней когда-то волю жить, едва не загасило заодно и разум. Люди, которых вот так выносит к самым дальним рубежам свободы воли, вынуждены искать опоры на стороне, чтобы переложить на кого-то или на что-то хотя бы часть ответственности за ДА или НЕТ. Если бы она не была рождена в Александрии (т. е. от природы скептиком), неминуемо обратилась бы в какую-нибудь веру. Ну, как тебе еще объяснить? Не в том дело, живешь ты к счастью или к несчастью. Просто в один прекрасный день падает в море целый утес, целый кусок твоей жизни – у тебя ведь так было с Мелиссой, нет? Но (только так и действует в жизни закон воздаяния: зло за добро и за зло – добро), освободившись сама, она освободила тем самым и Нессима: от целой армии запретов, безраздельно царивших над его чувствами. Мне кажется, он всегда знал: пока жива Жюстин, он не сможет позволить себе даже намека на человеческое чувство к кому-то еще. Мелисса доказала ему, что он ошибался, по крайней мере, так ему показалось; но Жюстин уехала, и старая болезнь дала новые всходы, и ему показалось отвратительным все пережитое с ней – с Мелиссой.

Любовь не терпит равенства – как ты считаешь? Кто-то один всегда застит солнце и мешает – ей или ему – расти; живущего же в тени постоянно мучит жажда: бежать и обрести свободу тянуться к свету – самостоятельно. Не здесь ли единственная трагическая составляющая любви?

Так что если и в самом деле Нессим просто убрал Каподистриа (в городе упорно об этом говорят, и многие верят), более злосчастного хода он сделать не мог. Куда мудрее было бы убить тебя. Может быть, он надеялся (как Арноти в свое время), убрав суккуба, освободить ее для себя. (Он сам однажды в том признался – ты мне говорил.) Случилось же прямо противоположное. Он вроде как отпустил ей грехи, а может, она приняла сей неосознанный дар от бедолаги Каподистриа – но факт есть факт: в Нессиме она видит теперь не любовника, а нечто вроде протоиерея. Она говорит о нем с *благоговением* – он, пожалуй, испугался бы, если бы услышал. Нет, не вернется она, никогда. А если и вернется, он сразу поймет, что навсегда ее потерял, – ибо верующие в нас – нас любить не могут, по-настоящему любить.

(О тебе Жюстин сказала, едва заметно передернув плечами: «Мне пришлось о нем забыть».)

Вот такие мысли бродили в моей голове, пока поезд вез меня сквозь апельсиновые рощи побережья; а помогала мне думать книга – я долго выбирала, что бы взять почитать в дорогу, и остановилась на предпоследнем томе «Шутник ты мой, Боже». Как вырос Персуорден после смерти! Раньше он как будто заслонял свои книги от нас. Ну а теперь я уверена – мы неправильно видели его, ибо смотрели неправильно. У художника нет личной жизни, как у нас, простых смертных, он прячет ее, заставляя нас обращаться к его книгам, если нам взбредет вдруг в голову искать истинный источник его чувств. Все его изыскания в области секса, социологии, религии и т. д. (магистральные абстракции, хлеб насущный для рассудочной болтовни) – лишь ширма, за ней же – только и всего – *человек, нестерпимо страдающий оттого, что в мире нет места нежности*.

Но вернемся ко мне, я ведь тоже странным образом меняюсь. Прежняя самодостаточная жизнь трансформировалась в нечто отдающее пустотой и начинающее мне надоедать. По советам говоря, такая жизнь мне больше не нужна. Где-то глубоко внутри прошла волна и перевернула меня, переиначила. Не знаю почему, но последнее время я все больше думаю о тебе, дорогой мой. Можно прямо? Возможна ли дружба по эту сторону любви? Я стараюсь о любви больше не заикаться – само слово и связанные с ним условности с недавних пор мне про-

сто неприятны. Но возможна ли дружба более глубокая, безгранично глубокая и – бессловесная притом, невыговоренная? Мне показалось вдруг необходимым найти человека, которому можно быть верной, не телом, нет (оставим поповские добродетели попам), но грешной душой. Впрочем, тебя, может быть, подобные проблемы сейчас и вовсе не занимают. Пару раз меня посетила бредовая мысль уехать к тебе и предложить свои услуги – ну хотя бы по уходу за ребенком. Но теперь и я, кажется, поняла – тебе больше никто не нужен, и одиночество свое ты ценишь превыше всего...»

Затем – еще две-три строки, подпись и несколько нежных слов в конце.

* * * * *

Пульсирует стрекот цикад в кронах могучих платанов, летнее Средиземное море лежит предо мной и чарует магически синим. Где-то далеко, там, где подрагивает розово-лиловая линия горизонта, лежит Африка, лежит Александрия и держит слабеющую цепкую лапку на пульсе памяти; памяти о друзьях, о днях давно минувших. Медленная ирреальность времени затягивает воспоминания илом, размывает очертания – и я уже начинаю сомневаться, а в самом ли деле исписанные мной листы рассказывают о поступках и мыслях реальных людей; не есть ли это просто история нескольких неодушевленных предметов, катализаторов и дирижеров человеческих драм – черная повязка на глазу, ключик от часов и пара бесхозных обручальных колец...

Скоро спустится вечер и ясное ночное небо сплошь запорошит летними звездами. Я, как всегда, приду сюда покурить у воды. Я решил оставить письмо без ответа. Не хочу больше никого обязывать, не хочу ничего обещать, не хочу думать о жизни в терминологии визитов, договоров, резолюций. Пусть Клеа сама поймет мое молчание в согласии с собственными желаниями и нуждами – пусть приедет или пусть останется дома. Разве не зависит все на свете⁸⁹ от нашей интерпретации царящего вокруг нас молчания? Так что...

⁸⁹ См. страницу 236.

Рабочие заметки

Тональность пейзажа: высокая линия горизонта, низкие облака, земля жемчужного цвета, тени – фиалка и устрица. Апатия. Озеро – лимон и пушечная бронза. Осень: набухшие кровоподтеки туч. Зима: студень белый песок, ясное небо, восхитительные россыпи звезд.

* * *

КВИНТЭССЕНЦИИ ПЕРСОНАЖЕЙ

Свева Маньяни: дерзость, фрондерство.

Гастон Помбаль: медведь-сладкоежка, чувственная лень.

Тереза ди Петромонти: набеленная Береника.

Птоlemeo Дандоло: астроном, астролог, дзен.

Фуад Эль Саид: черная жемчужина с лунным блеском.

Джош Скоби: пиратство.

Жюстин Хознани: стрела во тьме.

Клеа Монтис: тихие воды боли.

Гастон Фиппс: вместо носа носок, черная шляпа.

Ахмед Зананири: путеводная звезда и тюремная камера.

Нессим Хознани: гладкие перчатки, лицо – заиндевевшее стекло.

Мелисса Артемис: повелительница скорбей.

З. Бальтазар: сказки, работа, незнание.

* * *

Помбаль спит, не сняв костюма, при полном параде. Рядом, на кровати, – ночной горшок, набитый выигранными в казино банкнотами.

* * *

Да Капо: «Печешься в чувственности, как яблоко в кожуре».

* * *

Экспромт Помбаля:

Любовник – как стащивший рыбу кот: мечтает убежать, но рыбку не дает.

* * *

Несчастный случай или попытка убийства? Жюстин мчится в ролсе по шоссе через пустыню – в Каир, – и вдруг выключаются фары. Слепленная машина слетает с дороги и, свистя, как стрела, зарывается в бархан. Такое впечатление, что кто-то напильником подпил проводки – они стали тоньше ниток. Через полчаса подъезжает Нессим. Они обнимаются в слезах.

* * *

Бальтазар о Жюстин: «Рано или поздно ты поймешь, что весь этот маскарад корнями уходит в разветвленную систему детских страхов».

* * *

Клеа никогда не принимает решения, не составив предварительно гороскопа.

* * *

Рассказ Клеа о кошмарной вечеринке: они ехали на машине вдвоем с Жюстин и увидели на дороге коричневую картонную коробку. Очень спешили, а потому бросили ее на заднее сиденье и открыли, только когда въехали в гараж. Там лежал мертвый ребенок, завернутый в газету. Что им было делать с этим сморщенным гомункулусом? Хорошо сложенный, без дефектов. Гости должны были нагрянуть с минуты на минуту, приходилось спешить. Жюстин сунула его в ящик тумбочки в прихожей. Вечеринка получилась – просто блеск.

* * *

Персуорден о трилогии «n-мерных романов»: «Поступательное движение повествования уравнивается отсылками в прошлое, книга не путешествует из пункта А в пункт Б, но зависла над временем и медленно вращается вокруг своей оси, постепенно охватывая всю панораму. Не каждая причина рождает следствие; некоторые вещи, наоборот, отсылают к событиям давно минувшим. Бракосочетание прошлого и настоящего и летучая множественность будущего спешит принять участие в торжествах. В общем, такова была идея...»

* * *

«Ну и сколько она будет длиться, эта любовь?» (в шутку).

«Не знаю».

«Три недели, три года, тридцать лет?..»

«Ты как все... пытаешься свести вечность к числам», – сказано тихо, но с глубоким чувством.

* * *

Головоломка: павлиний глаз. Поцелуи, столь неумелые, что невольно вспоминаешь первопечатные книги.

* * *

О поэзии: «Я люблю приглушенную дробь александрийского стиха». Нессим.

* * *

Клеа и ее старик-отец, она его обожает. Седовласый, прямой, в глазах – привычное сострадание к порожденной им юной незамужней богине. Раз в год, на новогоднем балу в «Сесиль», они танцуют, стройная, блестящая пара. Он вальсирует как заводной жиголо.

* * *

Любовь Помбаля и Севы: возникла из-за пустяка, она оставила ему, так сказать, «записку», приведшую его в полный восторг. Когда он проснулся, ее уже не было, но она затащила ему вокруг головки члена его же собственный галстук, изысканным узлом. Послание сие столь поразило его, что он тут же оделся и побежал разыскивать ее – чтобы предложить ей выйти за него замуж. Из чистого восхищения ее чувством юмора.

* * *

Самая трогательная ипостась Помбаля – Владелец Авто. У него старенькая малолитражка, и он ее обожает. Помню, как он терпеливо тер ее тряпочкой, ночью, при луне.

* * *

Жюстин: «Всегда поражалась силе собственных чувств – выдираю из книги суть, как мякиш пальцами из буханки».

* * *

Закоулки: улица с пассажем; тенты, безделушки из серебра и голуби на продажу. Персуорден споткнулся о корзину, и по улице покатались яблоки.

* * *

Записка на уголке газеты. Потом закрытый кеб, теплые тела, ночь, сильный запах жасмина.

* * *

На базаре перевернулась корзина с перепелками. Птицы не пытаются спастись, но разбредаются медленно, как пролитый мед. Легко переловили.

* * *

Открытка от Бальтазара: «От души повеселились у Скоби на похоронах. Он сам получил бы массу удовольствия. Карманы его были полны любовных писем к Хасану, его адъютанту. Вся банда ударилась в слезы над отверстой могилой – черные гориллы с разбойничьими рожами рыдали, как малые дети. Вполне александрийское проявление привязанности. Понятное дело, могила оказалась слишком мала для гроба. У могильщиков как раз случился

обеденный перерыв, и в дело вступила сборная команда Полицейских Сил. Обычный бардак. Гроб завалился набок, и наш старый друг едва не выкатился из него. Общий крик. Падре был вне себя. Британский консул со стыда едва не умер. Но там была вся Александрия, и никто не ушел разочарованным».

* * *

Помбаль, с достоинством вышагивающий по Рю Фуад, пьяный в дым в десять часов утра, облаченный в вечерний костюм, плащ и шапокляк, – но через всю манишку у него надпись губной помадой: «*Torche-cul des Républicains*»⁹⁰.

* * *

(Музей.)

Александр с рогами Аммона на голове (Нессимово безумие). Идентифицировал себя с А. из-за рогов?

* * *

Жюстин грустно размышляет у статуи Береники⁹¹, скорбящей по маленькой дочери, которую жрецы уже успели обожествить: «Интересно, это утолило ее боль? Или сделало ее постоянной?»

* * *

На могильном камне – Аполлотор, протягивающий ребенку игрушку. «Может, вышибить слезу» (Персуорден). «Все они умерли. И ничего взамен».

* * *

Аурелия, молящая Пестезухос, крокодилью богиню... Наруз.

* * *

Львица держит Золотой цветок...

* * *

Ушебти... маленькие рабы, они должны работать на умерших в загробном мире.

⁹⁰ Республиканская подгирка (*фр.*).

⁹¹ Вторая официальная (и любимая) супруга Птолемея I Лага (Сотера), основателя македонской династии египетских царей (прав. 323–283 гг. до н. э.). Была предметом постоянного прославления в ранний, классический период александрийской поэзии (у Каллимаха, Феокрита и т. д.) – в ущерб первой жене Птолемея Сотера, Евридике. Согласно более поздней легенде, сфабрикованной с целью оправдания вошедших после Птолемея II Филадельфа в традицию у александрийских царей кровнородственных браков, была единокровной сестрой Птолемея Сотера.

* * *

Как-то так вышло, что даже смерть оказалась не властна над нашей памятью о Скоби. Еще задолго до его кончины я уже представлял его себе в раю – мягкие, телесного цвета клубни ямса, как ляжки свежесваренных младенцев; над Тобаго спускается ночь, темно-синим, плавно дышащим пятном, мягче перьев попугая. Подбитые золотой фольгой бумажные фламинго взлетают ввысь и снова падают, навстречу острому, багровому, как кровоподтек, частоколу водного бамбука. У него – собственная тростниковая хижина с камышовым ложем, у которого неизменно стоит достопочтенный поставец из прежней жизни. Однажды Клеа спросила его: «А ты не тоскуешь по морю, а, Скоби?» – и старик ответил ей просто, ни на секунду не задумавшись: «В море я выхожу каждую ночь, каждую ночь».

* * *

Я переписал и дал ей два перевода из Кавафиса, и они ей понравились, хотя точными их никак не назовешь. Теперь есть Кавафис канонический, в тонких умных переводах Маврокордато, и в каком-то смысле с этих пор он свободен – прочие поэты могут экспериментировать с ним; я пытался скорее переложить его, чем перевести, – насколько успешно, не мне судить.

ГОРОД

Сказал ты: «Еду в край чужой, найду другое море
и город новый отыщу, прекраснее, чем мой,
где в замыслах конец сквозит, как приговор немой,
а сердце остывает, как в могиле.
Доколе разум мой дремать останется в бессилье?
Куда ни брошу взгляд – руины без числа:
то жизнь моя лежит, разрушена дотла,
ее сгубил, потратил я с судьбой в напрасном споре».
Нет, не ищи других земель, неведомого моря,
твой Город за тобой пойдет. И будешь ты смотреть
на те же самые дома, и медленно стареть
на тех же самых улицах, что прежде,
и тот же Город находить. В другой – оставь надежду —
нет ни дорог тебе, ни корабля.
Не уголок один потерян – вся земля,
коль жизнь свою потратил ты, с судьбой напрасно споря⁹².

ПОКИДАЕТ ДИОНИС АНТОНИЯ

Когда внезапно в час глубокий ночи
услышишь за окном оркестр незримый
(божественную музыку и голоса), —
судьбу, которая к тебе переменилась,
дела, которые не удались, мечты,
которые обманом обернулись,
оплакивать не вздумай понапрасну.

⁹² Перевод с новогреческого Е. Смагиной.

Давно готовый ко всему, отважный,
прощайся с Александрией, она уходит.
И главное – не обманись, не убеди
себя, что это сон, ошибка слуха,
к пустым надеждам зря не снисходи.
Давно готовый ко всему, отважный,
ты, удостоившийся города такого,
к окну уверенно и твердо подойди
и вслушайся с волнением, однако
без жалоб и без мелочных обид
в волшебную мелодию оркестра
внемли и наслаждайся каждым звуком,
прощаясь с Александрией, которую теряешь⁹³.

⁹³ Перевод с новогреческого С. Ильинской.

Бальтазар

Своей МАМЕ посвящает автор эту летопись незабытого города

Зеркало видит человека прекрасным, зеркало любит человека; другое зеркало видит человека безобразным и ненавидит его; но оба впечатления вызваны одним и тем же лицом.

Д. А. Ф. де Сад. Жюстин

Да, мы настаиваем на этих подробностях, вместо того чтобы прятать их, подобно вам, под флером благопристойности, убивая их эротическую пряность; они будут в помощь каждому, кто хочет познакомиться с человеком накоротке; вы представить себе не можете, насколько полезны подобные яркие сцены для развития человеческого духа; быть может, мы и пребываем в сей области знания во мраке невежества только лишь из-за глупой сдержанности тех, кто берется об этом писать. Одержимые нелепыми страхами, они способны лишь обсасывать банальности, известные каждому дураку, им просто не хватает смелости, протянув дерзновенную руку к человеческому сердцу, обнажить перед нами его гигантские идиосинкразии.

Д. А. Ф. де Сад. Жюстин

Уведомление

Персонажи и ситуации этой книги, второй из четырех – не продолжения, но единоутробной сестры «Жюстин», – являются полностью вымышленными, как и личность рассказчика. И, опять же, не в ущерб реальности города.

Современная литература не предлагает нам какого-либо Единства, так что я обратился к науке и попытаюсь завершить мой четырехпалубный роман, основав его форму на принципе относительности.

Три пространственные оси и одна временная – вот кухарский рецепт континуума. Четыре романа следуют этой схеме.

Итак, первые три части должны быть развернуты пространственно (отсюда и выражение – «единоутробная сестра» вместо «продолжения») и не связаны формой сериала. Они соединены друг с другом внахлест, переплетены в чисто пространственном отношении. Время остановлено. Только четвертая часть, знаменующая собой время, и станет истинным продолжением.

Субъектно-объектные отношения столь важны в теории относительности, что я попытался провести роман как через субъективный, так и через объективный модусы. Третья часть, «Маунтолив», – это откровенно натуралистический роман, в котором рассказчик «Жюстин» и «Бальтазара» становится объектом, т. е. персонажем.

Это непохоже на метод Пруста или Джойса – они, на мой взгляд, иллюстрируют бергсонову «длительность», а не «пространство-время».

Центральная тема всей книги – исследование современной любви.

Эти соображения звучат, быть может, нескромно или даже помпезно. Но, пожалуй, стоит поэкспериментировать, чтобы посмотреть – не сможем ли мы открыть какую-нибудь морфологическую форму, которую можно бы было приблизительно назвать «классической» – для нашего времени. Даже если в результате получится нечто «научно-фантастическое» – в истинном смысле слова.

*Л. Д.
Аскона, 1957*

Часть 1

I

Тональность пейзажа: от коричневого к бронзе; круто уходящий ввысь купол неба, низкие облака, устричный и фиолетовый тона по перламутровому подмалевку. Мелкая, цвета львиной шкуры, пустынная пыль: надгробия пророков отблескивают цинком и медью на закате над озером. Тяжелые морщины песка – как водяные знаки на земле; зелень и лимон уступают место тусклой пушечной бронзе, одинокому темно-сливовому парусу, он влажный и подрагивает на ветру: нимфа с клейкими крыльями. Мертвый Тапосирус, развалины маяка и опрокинутые колонны храма, исчезли Люди с Гарпунами... Мареотис под раскаленным сиреневым небом.

лето: темно-желтый песок, горячее мраморное небо.

осень: набухшие кровоподтеки туч.

зима: студень снег, ледяной песок, раздвижные панели неба с проблесками слюды, чисто вымытая зелень Дельты, великоленные россыпи звезд.

А весна? Да будет вам, не бывает весен в Дельте, не бывает ощущения свежести, мир не рождается заново. Прямо из зимы окунаешься в восковой слепок лета, и тяжкий жар заливает легкие. Но по крайней мере здесь, в Александрии, прерывистые выдохи моря спасают от мертвенного веса летнего небытия – сквознячки скользят меж стальных бортов линкоров, карабкаются через парапет и перебирают полосатые тенты кафе на Гранд Корниш. Я никогда бы не...

* * * * *

Город, выдуманный наполовину (и все же реальный), берет начало в наших душах и в них же находит конец, оставив только корни – в памяти, глубоко под землей. Почему из ночи в ночь я обречен возвращаться к нему, склоняясь у камина над исписанными листами бумаги? – я топлю рожковым деревом, а снаружи стискивает стены дома эгейский ветер, стискивает и отпускает снова и гнет кипарисы, как луки. Не довольно ли сказано об Александрии? Должен ли я опять переболеть снами о городе и памятью о его обитателях? А я-то думал, что все мои сны уже оправлены в бумагу, прочно прикованы к ней, что сейфы моей памяти наглухо заперты. Вам кажется, я себе потакаю, не так ли? Это вам только кажется. Случайность из случайностей, дуновение ветра – и снова все приходит в движение, я выхожу на прежнюю дорогу. И память – ловит собственное отражение в зеркале.

* * * * *

Жюстин, Мелисса, Клеа... Нас и правда было немного – неужели неостанет книги, чтобы разделаться со всеми разом? Вот и мне казалось – останет. Обстоятельства и время разметали нас, круг разорван...

Я поставил себе задачу: попытаться снова обрести их в слове, хотя бы только властью памяти расставить вновь по брошенным в спешке постам на бастионах Александрии, в глубоких траншеях времени. Я думал только о себе. И, поставив финальную точку, вдруг почувствовал, что ключ повернулся и кукольный дом наших страстей и поступков пришел в движение.

Мои друзья, мои любимые женщины перестали быть людьми из плоти и крови, обернувшись раскрашенными переводными картинками, над которыми старался – я же. Подобно вытканым на гобеленах фигурам, они были двухмерны и населяли – не Город, нет – мои бумаги. Я писал их словами, и, подобно словам, они оставались бесплотны. Что же заставило меня обернуться?

Но если хочешь идти вперед, сперва научись возвращаться: я ведь не соврал о них ни единым словом, отнюдь. Просто я многого не знал, когда писал. Я смог лишь набросать эскиз – так восстанавливают картину ушедшей цивилизации, имея перед глазами только несколько разбитых ваз, табличку с письменами, амулет, десяток человеческих скелетов, улыбку золотой погребальной маски.

* * * * *

«У наших жизней вместо фундамента, – прочитал я у Персуордена, – две-три фундаментальные условности. Наша точка зрения на мир зависит от положения в пространстве и во времени – вовсе не от личной нашей уникальности, как бы нам того ни хотелось. Так что любая интерпретация реальности предопределена исходной точкой. Пару шагов к востоку или к западу, и вся картина меняется». Что-то в этом духе...

Что до человеческих характеров, идет ли речь о реальных людях или о персонажах, – таких зверей в природе нет. Всякая душа по сути есть муравейник противоречивых побуждений. Личность как нечто единое и стабильное – иллюзия, но иллюзия необходимая, *если уж нам суждено любить!*

Что же остается неизменным... к примеру, предсказуем робкий поцелуй Мелиссы (неумелый, как первопечатная книга) или нахмуренные брови Жюстин и тень от них на сверкающих темных глазах – глазницы сфинкса в полдень. «В конце концов, – пишет Персуорден, – все окажется истинным, о каждом из нас. Святой и Злодей – товарищи по несчастью». Он прав.

Я изо всех сил стараюсь не утратить веру в себя как в реальность...

* * * * *

Выдержка из последнего письма, полученного мной от Бальтазара: «Часто думаю о тебе, и не без толики мрачного юмора. Ты удрал на свой остров, прихватив с собою – как тебе кажется – все, что касается нас и наших жизней. Не сомневаюсь, теперь ты вершишь над нами свой бумажный суд, все писатели одинаковы. Я бы хотел взглянуть на результат. Должно получиться похоже на *истину*: я имею в виду ту расхожую монету, которой я могу насыпать тебе по горстке на каждого – включая и тебя, не сомневайся. Или истину в духе Клеа (она в Париже и уже не пишет). Я так и вижу тебя, мудрую голову, склонившуюся над *Moeurs*, над дневниками Жюстин, Нессима и пр., ты уверен, что истину следует искать именно там. Чушь! Чушь! Дневник – последний источник, к которому следует прибегать, если хочешь узнать о человеке правду. Ни у кого не хватает смелости выложить все до конца – на бумаге: по крайней мере там, где речь заходит о любви. Знаешь, кого Жюстин любила в действительности? Тебе-то казалось – тебя, не так ли? Покайся!»

Я ответил ему – просто отправив на его адрес увесистую стопку бумаги, выросшую малопомалу под медленным моим пером. Ничтоже сумняшеся я озаглавил ее – «Жюстин», хотя «*Cahiers*»⁹⁴ подошло бы не хуже. С тех пор минуло шесть месяцев – благословенное молчание. Я радуюсь: раз мой критик молчит, значит, я удовлетворил его.

⁹⁴ Тетради (*фр.*).

Я не то чтобы забыл о городе, я просто дал своей памяти о нем как следует выспаться. Хотя, конечно, никуда она не делась и навсегда останется со мной – как мираж, знакомый многим путешественникам. Однажды Персуорден описал это явление природы:

«Мы все еще находились в двух-трех часах пути от той точки, из которой можно разглядеть сушу, как вдруг мой попутчик вскрикнул и показал на горизонт. Над нами, в зеркальном небесном отражении, сверкала и переливалась панорама города, словно только что написанная на влажном шелке; однако же невероятно подробная. Я до сих пор помню ее до мельчайших деталей. Дворец Рас Эль Тин, мечеть Неби Даниэль и так далее. Картина была потрясающая, она захватывала дух, как шедевр, написанный свежей росой. В течение достаточно долгого промежутка времени она висела в небе, минут, может быть, двадцать пять, а затем медленно растворилась в дымке у горизонта. Часом позже появился *настоящий* город, поначалу далекий и туманный, но постепенно и он дорос до размеров миража».

* * * * *

Две-три зимы, проведенные на острове, были отмечены печатью одиночества – мрачные ветреные зимы и летняя жара в промежутках. К счастью, девочка еще слишком мала, чтобы тосковать, подобно мне, по книгам и людям. Она подвижна и счастлива.

Вместе с весной приходят долгие периоды затишья, недвижные, лишённые запахов дни, полные беспокойного ожидания. Море стихает и – тоже ждет, высматривает. Скоро появятся цикады и принесут с собой свою трескучую музыку, привычный фон для сухой мелодии пастушьей флейты между скалами. Сомнамбулическая черепаха да ящерка – вот и вся моя компания.

Да, забыл сказать: единственный наш регулярный гость, посланник, так сказать, из внешнего мира – смиренный пакетбот. Раз в неделю он огибает мыс и следует дальше к югу, всегда в один и тот же час, на той же скорости, сразу после захода солнца. Зимой высокая волна и ветер делают его невидимым, ну а теперь – я сижу и жду его. Сперва приходит еле слышный шум двигателей. А потом из-за мыса выскальзывает маленькое суетливое существо, ярко светящееся в мягкой, как моль, темноте эгейской ночи, и оставляет за собой полоску шелковистой пены – плотное, хоть и лишённое определенных очертаний, как летящая стайка светляков. Он движется быстро, слишком быстро, и через несколько минут исчезает за соседним мысом, оставив после себя обрывок популярной песенки или корку мандарина – я найду ее на следующий день, вымытую морем, на длинном каменистом пляже, где мы купаемся, я и ребенок.

Маленькая заплетенная олеандрами беседка под платанами – мой рабочий кабинет. Уложив ребенка, я сижу здесь за моренным морем деревянным столом, сижу и жду гостя. Лампу я не зажигаю, пока он не пройдет. Это единственный день недели, знакомый мне здесь по имени, – четверг. Звучит глупо, но здесь, на острове, лишённый какого бы то ни было разнообразия, я жду его еженедельного визита, как школьник пикника. Я знаю, что пароходик развозит почту и ждать ее мне предстоит еще двадцать четыре часа. Но я никогда не расстаюсь с ним без сожаления. А когда он исчезает из виду, я зажигаю со вздохом парафиновую лампу и возвращаюсь к своим бумагам. Я пишу так медленно, так трудно. Персуорден как-то сказал мне, рассуждая о писательском ремесле, что ощущение тяжести, которое неизбежно сопутствует процессу сочинительства, обязано своим существованием исключительно страху сойти с ума; «нажми еще немного и скажи себе: а мне *плевать*, сойду я с ума или нет, и увидишь, дело пойдет куда быстрее и проще, ты перепрыгнешь барьер». (Я не знаю, насколько это соответствует действительности. Но деньги, оставленные им по завещанию, сослужили мне хорошую службу, и до сих пор между мной и демонами долгов и работы все еще несут свою вахту несколько фунтов.)

Я вдаюсь в подробности моего еженедельного развлечения по одной простой причине; ибо в такой же июньский вечер произошло явление Бальтазара: он вынырнул вдруг из небытия, чем до крайности меня поразил – хотел написать «оглушил» – здесь ведь не с кем говорить, – но все же «поразил меня». В тот вечер случилось нечто вроде чуда. Маленький пароходик, вместо того чтобы исчезнуть, как обычно, из виду, резко развернулся под углом 150 градусов, вошел в бухту, остановился и повис во тьме, закутавшись в мохнатый кокон электрического света; обронив в середину золотой, им же сделанной лужи длинную медленную змейку якорной цепи, в самой своей символической значимости подобную поиску истины. Впечатляющее зрелище для островитянина вроде меня, запертого в одиночной камере духа, как, впрочем, и любой другой писатель – я и в самом деле стал похож на парусник в бутылке, плывущий на всех парусах в никуда, – и я смотрел во все глаза, как смотрел, наверное, индеец на первое судно белых людей, бросившее якорь у берегов Нового Света.

Темнота, молчание были нарушены неровным плеском весел; а затем, целую вечность спустя, цокнули по деревянным сходням подошвы городских туфель. Хриплый голос отдал команду. Я зажег лампу и принялся регулировать фитиль, чтобы заглушить властный голос вторгшегося в неизменность хаоса, и тут вдруг среди толстых миртовых ветвей проявилось из тьмы резкое смуглое лицо, лицо друга, – словно явился некий козлообразный посланец загробного мира. Мы оба затаили дыхание и некоторое время молча глядели друг на друга в желтоватом тусклом свете: черные ассирийские завитки волос, Панова борода. «Нет – я настоящий!» – сказал Бальтазар, хохотнув, и мы обнялись – жаростно. Бальтазар!

Средиземное море – море до смешного маленькое; величие и продолжительность его истории заставляют нас представить его себе куда большим, чем оно есть в действительности. И в самом деле, Александрия – настоящая, так же как и вымышленная, – лежит всего лишь в нескольких сотнях миль к югу.

«Я еду в Смирну, – сказал Бальтазар, – оттуда собирался отправить тебе вот это». Он положил на изрезанную столешницу толстую рукопись – мою, исписанную, изрисованную вдоль и поперек отдельными фразами, целыми абзацами и вопросительными знаками. Сев напротив, как никогда похожий на Мефистофеля, он сказал чуть тише и чуть менее уверенно:

«Я долго колебался, говорить тебе некоторые вещи или нет. Иногда это казалось мне глупым и неуместным. В конце концов, мы интересовали тебя как *реальные* люди или как “персонажи”? Я не был уверен. Я и сейчас еще не уверен. Эти странички могут лишить меня твоей дружбы, ничего не прибавив к сумме твоих знаний. Ты писал себе город, мазок за мазком, по искривленной поверхности – ты искал поэзии или фактов? Если фактов, тогда ты имеешь право обо всем этом знать».

Как его занесло на мой остров, по-прежнему оставалось загадкой. Спohватившись, он улыбнулся и указал рукой на стайку светляков посреди пустынной обычной бухты:

«Корабль задержится на пару часов, поломка в двигателе. Один из Нессимовых. Капитаном на нем Хасим Коли, старый мой приятель; может, помнишь его? Нет? Ну и ладно. Я примерно представлял себе из твоих посланий, где ты живешь; но высадиться вот так, прямо у тебя на пороге, скажу я тебе!» Сколь сладостно было вновь услышать его смех.

Однако я уже почти не слушал, ибо его слова всколыхнули во мне непреодолимое желание поскорее окунуться в комментарий, заново пересмотреть – не книгу, нет (какое мне до нее дело, если ей не суждено быть даже опубликованной), – но саму структуру виденья, точку зрения на город и его обитателей. Ибо личная моя Александрия стала для меня в одиночестве моем едва ли не единственной дорогой к себе, едва ли не *alter ego*. Чувства переполняли меня, я не знал, что сказать. «Оставайся с нами, Бальтазар, – выговорил я, – хоть ненадолго...»

«Мы отплываем через два часа, – сказал он и, положив ладонь на лежащую перед ним пачку бумаги, нерешительно добавил: – Это может оказаться неплохим галлюциногеном».

«Прекрасно, – сказал я. – Большого мне и не нужно».

«Мы до сих пор живые люди, – повторил он, – что бы *ты* ни пытался из нас сотворить, я говорю о тех, кто еще жив. Мелисса, Персуорден – они уже ничего не скажут, они мертвы. По крайней мере, так принято считать».

«Так принято считать. Самые остроумные реплики всегда приходят из-за гробовой доски».

Мы сели и стали говорить о прошлом, весьма натянуто, к слову сказать. Он уже успел поужинать на корабле, а мне нечего было ему предложить, кроме стакана хорошего местного вина, – он сидел и медленно потягивал вино из стакана. Потом он спросил о Мелиссиной дочери, и я провел его к дому под сплетенными ветвями олеандров, туда, откуда мы оба смогли заглянуть в большую комнату, где горел в камине огонь и девочка спала, красивая и очень серьезная, и сосала во сне палец. Бальтазар смотрел на нее, чуть дыша, и его темный безжалостный взгляд смягчился. «Когда-нибудь, – сказал он тихо, – Нессим захочет ее видеть. Очень скоро, заметь. Он уже начал о ней говорить, интересоваться. С приближением старости он почувствует необходимость на кого-нибудь опереться – на нее. Запомни мои слова». И он процитировал по-гречески: «Сперва молодые, как виноградные лозы, карабкаются вверх по иссохшим подпоркам, по тем, кто старше, и прикосновения их осторожны и мягки; затем старики карабкаются вниз по прекрасным молодым телам, что не дают им упасть до времени, – каждый к своей смерти». Я молчал. Дышала комната – не мы.

«Тебе здесь одиноко», – сказал Бальтазар.

«Я искал одиночества, я им наслаждаюсь».

«Да, я тебе завидую. Нет, правда».

Затем он заметил неоконченный портрет Жюстин, подаренный мне Клеа в прошлой жизни.

«Тот самый портрет, – сказал он. – Прерванный поцелуем. Как хорошо увидеть его снова – как хорошо! – Он улыбнулся. – Похоже на любимую музыкальную фразу, издавна знакомую, – она дает одно и то же наслаждение, всегда одно и то же, безошибочно». Я ничего не сказал. Не решился.

Он обернулся ко мне. «А Клеа?» – спросил он наконец голосом человека, решившего допросить эхо. Я сказал: «Я ничего не слышал о ней уже года два. Может, больше. Время здесь не идет в счет. Надеюсь, она вышла замуж, уехала в другую страну, у нее дети, репутация живописца и все, чего ей только можно было бы пожелать».

Он удивленно посмотрел на меня и покачал головой. «Нет», – сказал он; и ни слова больше.

Было уже далеко за полночь, когда из темной оливковой рощи его окликнул матрос. Я спустился с ним вместе на пляж, мне было грустно, что он уезжает так скоро. У кромки воды его ждала шлюпка, на веслах сидел матрос. Он что-то сказал по-арабски.

Весеннее море, за день нагретое солнцем, было соблазнительно теплым, и, когда Бальтазар шагнул в лодку, мне вдруг захотелось сплывать, проводить его до корабля, стоявшего на якоре менее чем в двухстах ярдах от берега. Я подплыл к самому борту и, чуть шевеля руками и ногами, смотрел, как он карабкается по лееру вверх и как поднимают шлюпку. «Тебя затянет под винт, – сказал он сверху. – Плыви, пока не запустили двигатели». – «Сейчас». – «Постой – пока ты не уплыл», – он нырнул в каюту, вернулся и бросил что-то в воду неподалеку от меня – с мягким всплеском. «Роза из Александрии, – сказал он, – из города, готового подарить своим любовникам все, кроме счастья. – Он хохотнул. – Отдай девочке».

«Бальтазар, до свидания!»

«Пиши – если хватит смелости!»

Пойманный, подобно пауку, в путаницу бортовых огней, я повернул туда, где переливались между темным берегом и мной желтые озера света. Я помахал ему рукой. Он махнул в ответ.

Я зажал драгоценную розу в зубах и по-собачьи выплыл к берегу, туда, где лежала одежда. Пока я плыл, я говорил сам с собой.

Дома на столе в лужице желтого света лампы лежал объемистый подстрочный комментарий к «Жюстин» – я решил не менять названия. Текст был исписан весь – на полях, между строчками, поперек – вопросами и ответами, разноцветными чернилами и даже на машинке. На мгновение книга эта показалась мне символом реальности, общей для нас для всех: палимпсест, где каждый оставил свой след и свой почерк, слой за слоем.

Должен ли я теперь учиться видеть заново, чтобы приучить себя к истинам, открытым мне Бальтазаром? Невозможно описать чувство, с которым я читал его ремарки – порой весьма подробные, порой предельно лаконичные, – те, например, что он поместил отдельно, озаглавив: «Заблуждения и недоразумения», там он написал хладнокровно: «Номер 4. Что Жюстин “любила” тебя. Если она кого и “любила”, то Персуордена. Что это значит? Ей пришлось использовать тебя для отвода глаз, в качестве мишени для ревности Нессима, за которым она как-никак была замужем. Персуорден же ни в грош ее не ставил – высшая логика любви!»

И вновь я увидел город, зеркальную поверхность зеленого озера и изломанные линии известняковых чресел у границы пустыни. Политика любви, интриги страсти, добро и зло, каприз и добродетель, любовь и убийство двигались тихо и скрытно в темных лабиринтах александрийских улиц и площадей, борделей и гостиных – кишели, подобно вселенскому съезду угрей в слизистом иле заговоров и контрзаговоров.

Уже занималось утро, когда я отодвинул в сторону заворожившую меня кипу бумаги, комментарий к моей настоящей (внутренней) жизни, и, как запойный пьяница, повалился на кровать с больной головой, а внутри близким эхом звучал, не умолкая, город, единственный в мире город, где встретились и дали плод самые далекие обычаи и расы, перекресток тайных линий судьбы. На границе яви и сна я все еще слышал суховатый голос моего старого друга, и голос повторял: «Что ты хочешь узнать... что еще ты *хочешь* узнать?» – «Я должен знать *все*, чтобы освободиться наконец от власти города», – ответил я уже во сне.

* * * * *

«Когда сорвешь цветок, ветка вернется на прежнее место. Не так с цветами сердца», – сказала однажды Бальтазару Клеа.

* * * * *

Вот так, медленно, неохотно, я вынужден был вернуться к исходной точке, как человек, которому в самом конце захватывающего дух путешествия сообщают, что он просто ходил во сне. «Истина, – сказал мне однажды Бальтазар, сморкаясь в старый теннисный носок. – Ничто не начинает со временем так сильно само себе противоречить, как истина».

И Персуорден, совершенно по другому поводу – и тоже запомнилось надолго: «Если бы вещи всегда были тем, чем они кажутся, как обеднело бы человеческое воображение».

Когда и как, да и отделаюсь ли я вообще когда-нибудь от этой суки среди городов – море, пустыня, минарет, песок, море?

Нет, я должен холодно и трезво записывать все это черным по белому, пока не наступит время и не заглохнет в отдалении ее голос и память о ней. Я знаю: тот ключ, что я пытаюсь повернуть, – во мне.

II

*Le cénacle*⁹⁵ – называл нас Каподистриа в те дни, когда мы собирались ранним утром, чтобы побриться, в обставленном с птолемеевской поистине пышностью малом зале у Мнемджяна: зеркала и пальмы, бисерные занавески и восхитительная гармония чистой теплой воды с белоснежными простынями: обряд омовения и умачения тел. Карлик с фиолетовым взором отправлял обедню сам, ибо все мы числились почетными завсегдатаями (мертвые фараоны в ваннах с натром, нужно извлечь наружу мозг и внутренности, набальзамировать и вновь вернуть на место). Сам он, цирюльник, бывал зачастую небрит – не успел, вернувшись второпях из госпиталя, где брил труп. Краткая встреча в мягких креслах, в зеркалах, прежде чем разбежаться по делам, самым разным – Да Капо на свидание со своими брокерами, Помбалю плестись в свое Французское консульство (рот набит обгоревшими бабочками, похмелье, такое ощущение, словно всю ночь проходил на глазных яблоках), я – учить, Скоби – в полицейское управление, и так далее...

Недавно среди бумаг случайно наткнулся на выцветшее фото этого утреннего ритуала – снимал нас бедолага Джон Китс, корреспондент агентства Глобал. Странное ощущение, когда смотрел на этот снимок. Пахнет саваном. Живой портрет александрийского раннего утра: тихий шепот зерен кофе в ступках под пестиками, створоженное воркование жирных голубей. Я узнаю друзей по звукам, у каждого свое соответствие: характерное «*Quatsch*»⁹⁶ или «*Pouagh*»⁹⁷ – Каподистриа услышал чье-то замечание о политике, и следом громкий сухой смех – металлический желудок в судорогах рвоты; прокуренный кашель Скоби: «*Toox, мойх*»; мягкое «*Tiens*»⁹⁸ Помбалю, словно тронули палочкой треугольник: «*Tiens*».

В одном из углов – я сам, собственной персоной, в вечно мятом моем плаще – квинт-эссенция школьного учителя. В другом сидит бедный маленький Тото де Брюнель, на фотографии Китса он схвачен в тот момент, когда дотрагивается пальцем с перстнем до виска – роковой жест.

Тото! Он – original, numero⁹⁹. Лицо иссохшей старой ведьмы, и на нем – мальчишеские карие глаза, на висках залысины, странноватая улыбка в духе *art nouveau*. Он был любимцем стареющих светских женщин, слишком гордых, чтобы платить жиголо. «*Toto, mon chou, c'est toi*»¹⁰⁰ (мадам Умбада), «*Comme il est charmant ce Toto*»¹⁰¹ (Атэна Траша). Он питается сухими крошками старушечьих комплиментов, кавалер увядших дам, и с каждым днем глубже оспины на его морщинистом, лишенном возраста лице – по-моему, он совершенно счастлив. Так-то.

«*Toto – comment vas-tu?*» – «*Si heurux de vous voir, Madame Martinengo!*»¹⁰²

Ярлык Помбалю для Тото и ему подобных: «Джентльмен Второго Склонения»¹⁰³. Нескромная улыбка, доброта как обезболивающий препарат. Он был небогат и даже в излишествах тривиален, но в обществе чувствовал себя как рыба в воде. Ничего не попишешь, таким уж он уродился – женщиной; впрочем, родись он и в самом деле женщиной, он уже давно сгинул бы в тоске и безвестности. Его педерастия лишена была всякого шарма, но она же бросала

⁹⁵ Сообщество (фр.).

⁹⁶ Чушь (нем., идиш).

⁹⁷ Тьфу, фу (фр.).

⁹⁸ Ага! а вот тебе и на! да ну! – и т. д. и т. п. (фр.)

⁹⁹ Оригинал, странный тип (фр.).

¹⁰⁰ «Тото, радость моя, это ты!» (фр.)

¹⁰¹ «Как он мил, этот Тото!» (фр.)

¹⁰² «Тото, как твои дела? – «О, я так рада вас видеть, мадам Мартиненго!» (фр.)

¹⁰³ Английское слово declension помимо грамматического значения «склонение» имеет смыслы: «отклонение», «падение», «упадок».

на него отсвет некой, с оттенком самозванства, сугубой значимости. «*Homme serviable, homme gracieux*»¹⁰⁴ (граф Банубула, генерал Червони – чего еще желать?).

Чувством юмора природа его обделила, но это не помешало ему в один прекрасный день обнаружить, что он может заставлять людей буквально покатываться со смеху. И французский его, и английский были равно бесцветны, однако стоило ему забыть нужное слово, и он безо всяких колебаний вставлял вместо него любое другое мало-мальски похожее, ничуть не задумываясь о смысле подмены, – и получалось порой изумительно. «Я писал на машинке письмо и несколько раз описался». Или: «Пустой разговор, сплошная трепанация». Или: «Пришла ей перхоть поехать в Европу». И так на трех языках, которых он не знал, но говорил на них – и ему внимали благосклонно, ибо в действительности говорил он лишь на собственном языке, языке Тото.

Невидимый, скрытый линзой объектива, стоял в то утро Китс – наш Славный Парень без страха и упрека. Легкий запах пота сопутствовал ему. *C'est le métier qui exige*¹⁰⁵. Когда-то он собирался стать писателем, но ошибся поворотом, и новая профессия настолько выдрессировала в нем умение не замечать ничего, кроме поверхности явлений (акты и факты относительно актов), что у него развился типичный репортерский невроз (они и пьют, чтобы загнать его вглубь), а именно: Нечто случилось или вот-вот случится на соседней улице, а он не узнает до тех пор, пока не будет уже слишком поздно «сообщить». Навязчивый страх упустить какой-нибудь факт, фрагмент реальности, который со временем утратит всякое своеобразие и даже смысл, наградил его тем нервным тиком, какой замечаешь обычно в детях, которым хочется в туалет: они тоже ерзают на стуле и то сплетают, то снова расплетают ноги. Проговорив с вами пару минут, он дергался, вставал и говорил: «Да, кстати, я тут кое о чем вспомнил – я на одну минуту, ладно?» На улице он с облегчением выдыхал воздух и оглядывался. Далеко он никогда не уходил, просто шел быстрым шагом вокруг квартала, чтобы унять беспокойство. Ничего особенного на соседней улице не происходило, впрочем, как обычно. Он прикидывал, стоит ли прямо сейчас позвонить Махмуд Паше насчет оборонных ассигнований или лучше подождать до утра... В кармане у него всегда лежала горсточка арахиса, он щелкал зубами орешки и выплевывал кожуру, ощущая смутную тревогу, совершенно непонятную взвинченность. Пройдясь, он возвращался в кафе или в парикмахерскую, смущенно улыбаясь, с извиняющимся выражением на лице: «Репортер» – самый, наверно, цельный тип современного человека. Джон действительно был славным парнем, и все в нем было бы просто замечательно, если бы не та скорость, которую он задал себе на старте, – впрочем, а не относится ли сие в равной мере и к его знаменитому тезке?

Итак, этой выцветшей фотографией я обязан Китсу. (Много позже ему суждено быть убитым в пустыне, в полном расцвете дурости.) Ах, мания увековечивать, записывать, фотографировать что ни попадя! Мне кажется, она происходит от осознания собственной неспособности – неспособности наслаждаться каждым мигмом сполна, когда, вдыхая запах цветка, ты убиваешь цветок, каждый раз, каждым вдохом. У него было чудовищное досье: папки, до отказа набитые надписанными меню, бандерольками от памятных сигар, почтовыми марками, открытками с видами... Позже, однако, во всем этом оказался даже некий смысл, ибо таким странным образом ему удалось собрать целую коллекцию Персуорденовых *obiter dicta*¹⁰⁶.

Далее к востоку восседает старый добрый пузатый Помбаль, под каждым глазом – солидный дипломатический мешок. Вот уж на кого не жаль лишней толики тепла и участия. Есть две почти неразделимые проблемы, и это едва ли не единственное, о чем он постоянно думает, –

¹⁰⁴ «Человек милый, услужливый человек» (фр.).

¹⁰⁵ «Ремесло обязывает» (фр.).

¹⁰⁶ Случайных замечаний (лат.).

как бы не потерять работу и не оказаться вдруг *impuissant*¹⁰⁷: национальный пунктик всех французов со времен Жан-Жака. Мы часто ссоримся, впрочем по-дружески, ибо делим на двоих маленькую его квартиру, что всегда сопряжено с определенными сложностями, особенно если сложности эти совершенно определенного рода: *les femmes*. Но он хороший товарищ, у него доброе сердце, и он по-настоящему любит женщин. Когда у меня бессонница или когда я болен: «*Dis donc, tu vas bien?*»¹⁰⁸ Грубовато, в духе *bon copain*¹⁰⁹. «*Ecoute – tu veux une aspirine?*» или же: «*Ou bien – j’ai une jaune amie dans ma chambre si tu veux...*» (Это не опечатка: Помбаль называл всех *poules* «*jaunes femmes*»¹¹⁰.) «*Hien? Elle n’est pas mal – et c’est tout payé, mon cher. Mais ce matin, moi je me sens un tout petit peu antiféministe – j’en ai marre, hien!*»¹¹¹ В такие моменты он буквально излучает пресыщенность. «*Je deviens de plus en plus anthropophage*»¹¹², – произносит он, комично вращая глазами. Еще ему не давала покоя его работа; репутация у него была не приведи господи, и слухи уже гуляли вовсю, особенно после «*l’affaire Sveva*»¹¹³, как он это называл; а не далее как вчера генеральный консул застукал его в тот самый момент, когда он чистил туфли консульской портьерой... «*Monsieur Pomبال! Je suis obligé de vous faire quelques observations sur votre comportement officiel!*» *Ouf*¹¹⁴! Выволочка по первому разряду...

Вот потому-то он и сидит на фотографии как в воду опущенный, размышляя о чем-то, явно не доставляющем ему удовольствия. Позже мы друг к другу изрядно охладели, из-за Мелиссы. Он сделался зол на меня за то, что я в нее влюбился, ведь она всего лишь танцовщица в ночном клубе и как таковая не заслуживает серьезного внимания. Есть здесь, конечно, и толика снобизма, ибо она тогда фактически поселилась в нашей квартире, а он считает для себя унижительным и с дипломатической точки зрения, может быть, даже неблагоприятным жить с ней под одной крышей.

«Любовь, – говорит Тото, – есть понятие амбивалютное», – не распространяется ли сия счастливо найденная формула на все разновидности человеческой деятельности? Вот влюбиться, к примеру, в жену банкира – тоже, конечно, чудачество, но уже вполне простительное... А простительное ли? В Александрии способна встретить понимание и одобрение лишь интрига *per se*¹¹⁵; влюбляться же в приличном обществе просто не принято. (Помбаль в душе провинциал.) Я думаю о жутком, исполненном величия покое Мелиссы мертвой, стройная фигурка, спеленатая и стянутая бинтами, подобно жертве некоей разрушительной и непоправимой катастрофы. Н-да.

А Жюстин? В тот самый день, когда возникла эта фотография, работа Клеа над портретом была прервана поцелуем – если верить Бальтазару. Как я могу надеяться постичь все это, если и представить-то себе подобную сцену могу лишь с огромным трудом? Мне, судя по всему, придется научиться видеть новую Жюстин, нового Персуордена, новую Клеа... Я имею в виду, что придется бороться с силами и сорвать непроницаемый занавес – занавес, мною же и сотканный из слепоты моей, из моей ограниченности. Моя зависть к Персуордену, моя страсть к Жюстин, моя жалость к Мелиссе. Все – кривые зеркала... А путь лежит через факты.

¹⁰⁷ Импотентом (*фр.*).

¹⁰⁸ «Слушай, с тобой все в порядке?» (*фр.*)

¹⁰⁹ Свои мужики (*фр.*).

¹¹⁰ «Послушай, может, тебе аспирина дать?»; «Да, кстати, у меня тут в комнате одна знакомая барышня, и если ты хочешь...»; курочек, шлюх – «барышнями» (непереводимая игра слов: *фр.* *jeune femme* – девушка, молодая женщина, у Помбала вместо *jeune* – «молодой», *jaune* – «желтый»).

¹¹¹ «Ну, так как же? Она в полном порядке – и все уже оплачено, дорогой мой. А я сегодня чувствую себя в некотором роде женоненавистником – так, знаешь ли, все надоело!» (*фр.*)

¹¹² «Я делаюсь антропофагом, и чем дальше, тем больше» (*фр.*).

¹¹³ «Дела Свевы» (*фр.*).

¹¹⁴ «Мосье Помбаль! Я вынужден сделать вам несколько замечаний касательно вашего отношения к служебным обязанностям!» Уфф! (*фр.*)

¹¹⁵ Сама по себе (*лат.*).

Я должен записать все новое, что узнал, и попытаться разобраться, попытаться заново найти утерянную нить логики, хотя бы и властью воображения. Или – могут ли факты говорить за себя сами? Можно ли сказать «он полюбил» или «она полюбила» и не пытаться понять смысл слов, встроить их в логический контекст? «Эта сука, – сказал однажды Помбаль о Жюстин. – *Elle a l'air d'être bien chambrée!*»¹¹⁶ И о Мелиссе: «*Une pauvre petite poule quelconque...*»¹¹⁷ Может, он был и прав. Но смысл ускользает, истинная суть этих женщин обретается в каких-то иных местах. Здесь – есть у меня надежда, – на этих исчерканных вдоль и поперек листах бумаги, в этих строчках, что ссучил я по-паучьи из блеклых соков моей души.

А Скоби? Что ж, в нем, по крайней мере, есть недвусмысленная ясность диаграммы – он прост и незатейлив, как национальный гимн. Сегодня он особенно доволен жизнью, с самого утра, ибо сегодня – день его апофеоза. После четырнадцати лет, проведенных в качестве бимбаши египетской полиции, которой он отдал, выражаясь его языком, «вечер жизни своей», его только что перевели в... осмелюсь ли я доверить бумаге страшное слово? – ибо вижу явственно, как настороженно вздрагивает его сухое тело, как зловеще поблескивает, вращаясь в глазнице, стеклянный глаз – ...в отдел контрразведки. Слава богу, уже нет среди живых, и душа его не содрогнется при звуке этих слов. Да уж, Старый Мореход, тайный пират с Татвиг-стрит, всечеловек. Как много город потерял с его уходом. (Какие смыслы слышались ему в слове «сверхъестественный»!)

Я уже рассказывал во всех подробностях о том, как, поднятый едва ли не с постели таинственным посланцем, я в конце концов очутился в изысканных пропорций комнате, где восседал за массивным столом мой покойный ныне друг и смотрел на меня, посвистывая сквозь плохо подогнанную вставную челюсть. Мне кажется, назначение это было для него такой же неожиданностью, как и для меня, его единственного конфидента. Понятно, что в Египте он жил уже давно и хорошо говорил по-арабски; но назвать его карьеру блистательной до сей поры было никак нельзя. Зачем он понадобился разведке? Более того, зачем ей понадобился я? Я ведь уже объяснил им, и весьма доходчиво, что маленький кружок, собиравшийся раз в месяц послушать, как Бальтазар толкует основные положения Каббалы, со шпионажем ничего общего не имеет; объединял этих совершенно разных людей единственно интерес к тематике лекций. Александрия – город сект: сделай они хотя бы слабую попытку навести справки, их взгляду предстало бы редкое разнообразие групп, подобных кружку приверженцев герметической философии, во главе которого стоял Бальтазар: штайнерианцы, последователи «христианской науки», Успенского, адвентисты... Что заставило их заикнуться исключительно на Нессимае, Жюстин, Бальтазаре, Каподистриа и т. д.? Этого не знал ни я, ни, как оказалось, Скоби.

«В чем-то они таком замешаны, – довольно вяло повторял он. – По крайней мере, так считает Каир». Он, по всей видимости, даже не совсем ясно представлял себе, на кого работает. Насколько я понял, он получал распоряжения из Каира в виде зашифрованных телефонограмм. Однако, кем бы ни был сей таинственный «Каир», денег у него было в достатке: и если он был настолько богат, что мог себе позволить швырять их, не считая, на добывание совершенно бессмысленной информации, – то, в самом деле, кто я был такой, чтобы мешать ему тратить их на меня? Мне казалось: первое же мое донесение о Бальтазаровом кружке с успехом похоронит всю их заинтересованность в предмете наблюдения – но я ошибся. Они требовали еще и еще.

В то памятное утро, навсегда остановленное Китсом, старый моряк праздновал свое новое назначение и связанное с оным повышение жалованья – позволив себе постричься в центре, в самой дорогой парикмахерской – у Мнемджяна.

Не следует забывать и еще об одном обстоятельстве – эта фотография запечатлела «встречу на явке»; и нет ничего удивительного в том, что Скоби явно чувствует себя перед

¹¹⁶ «У нее такой вид, словно ее уже довели до нужной температуры» (фр.).

¹¹⁷ «Этакая бедная маленькая шлюшка...» (фр.)

объективом не в своей тарелке. Ибо со всех сторон его окружают те самые вражеские агенты, чью подрывную деятельность он обязан держать под контролем – не говоря уже о французском дипломате, о котором постоянно говорят как о главе французской *Deuxieme*¹¹⁸...

Прежний Скоби, существовавший на крохотную флотскую пенсию и скудное полицейское жалованье, счел бы визит в подобное заведение непозволительной роскошью. Но теперь он большой человек.

У него не хватало смелости даже подмигнуть мне в зеркале, пока маленький горбун с поистине дипломатической тактичностью изображал стрижку по полной программе, мастерски работая с чисто воображаемым предметом – ибо сверкающий кумпол Скоби был лишь условно тронут по краям невесомым белым пухом, живо напоминающим о задницах новорожденных утят, и даже остроконечную бородку ему пришлось принести в жертву неумолимому процессу дряхления.

«Нужно отдать им должное, – вот-вот сорвется с его уст хрипловатое замечание (в окружении столь многочисленной столь подозрительной компании мы, «разведчики», обязаны разговаривать «натурально»). – Нужно отдать им должное, старина, обслуживают здесь что надо, Мнемджян знает толк». И далее, прочистив горло: «Цельное искусство». В предчувствии мало знакомого технического термина в голосе его появляются угрожающие нотки. «Тут все дело в Калификации – был у меня один дружок, парикмахер с Бонд-стрит, он мне говорил. Хочешь не хочешь, а должен пройти Калификацию». Мнемджян благодарит его – сдавленным полупешепотом чревоушателя. «Да будет вам, – отвечает ему старина Скоби благосклонно. – Я в таких вещах знаю толк». Теперь он может мне подмигнуть. Я подмигиваю в ответ. Мы отворачиваемся друг от друга.

Освобожденный из накрахмаленного плена, он встает, с хрустом распрямляя конечности, и выдвигает нижнюю челюсть вперед, симулируя этакого полнокровного бодрячка. Никуда не торопясь, самодовольно окидывает взглядом свое отражение в зеркале. «Ага, – произносит он и позволяет себе короткий начальственный кивок: – В самый раз».

«Электромассаж скальпа, сэр?»

Скоби величественно качает головой и водружает на лысый свой череп красный цветочный горшок – обязательную феску. «У меня от него мурашки, – говорит он, а затем, помолчав, добавляет с глуповатой ухмылкой: – Слишком сильное переживание для тех немногих стойких ребят, что еще держатся у меня на макушке. Пойду успокою их стопочкой арака». Мнемджян приветствует сей перл остроумия вежливым жестом. Мы свободны.

Однако настроение у Скоби явно не из лучших. Мы медленно идем вдоль по Шериф Паше в сторону Гранд Корниш – он уныло смотрит в землю, ударяя себя время от времени по ноге мухобойкой из конского волоса, и мрачно попыхивает драгоценной своей вересковой трубкой. Думает. Потом, вдруг всплыв, говорит раздраженно: «Терпеть не могу этого парня – я о Тото. Откровенная цыпочка. В мое бы время его давно уже...» Еще некоторое время он нечленораздельно ворчит себе под нос, затем снова погружается в тягостное молчание.

«Что-то случилось, Скоби?»

«Случилось, – отзывается он ворчливо. – И впрямь случилось».

Когда он появлялся в центре города, в его походке, да и вообще в манере держаться, сквозило такое наигранное чванство – он, по большому счету, был Белый Человек, и хочешь не хочешь ему приходилось нести обязательный для Белых Людей груз ответственности – Бремя, как у них это принято называть. Если судить по Скоби, ноша явно была не из легких. Малейший его жест был вопиюще неестественным – похлопывал ли он себя по коленке, закусывал губу или впадал вдруг в задумчивость, взирая на свое отражение в витрине магазина. На прохожих он поглядывал так, словно шел на ходулях. Его жесты и позы смутно напоминали мне

¹¹⁸ «Второй отдел», французская разведка.

героев родной английской словесности – из тех, что стоят у камина эпохи Тюдоров, озаренные отблесками пламени, и хлещут себя по голенищам сапог для верховой езды бычьим хреном.

Но – стоило нам достичь аванпостов арабского квартала, и вся эта вздорная манерность исчезла без следа. Он расслабился, сдвинул феску на затылок, чтобы отереть со лба пот, и окинул округу взглядом моряка, вернувшегося наконец домой. Город усыновил его, здесь он и вправду был дома. Он демонстративно пил у торчащего из стены неподалеку от мечети Гохарри свинцового желоба (общественный питьевой фонтанчик), явно в пику спрятавшемуся до поры Белому Человеку, который не мог не заметить, что вода в желобе куда как далека от санитарных норм и явно небезопасна для здоровья. Он мимоходом подхватывал с прилавка палочку сахарного тростника и жевал ее прямо на улице; или же сладкий плод рожкового дерева. Здесь отовсюду, из каждого закоулка, неслись ему навстречу приветствия и пожелания счастья – и он отвечал на них, сияя от радости.

«Й’алла, эфенди Скоби».

«Нахарак Сауд, йа Скоби».

«Аллах салима».

Он глубоко вздыхал и говорил задумчиво: «Милейшие люди». И еще: «Как я люблю эти места – ты и представить себе не можешь», – уворачиваясь от едва не сбившего нас с ног влажноокого верблюда, выплывшего вдруг из переулка нам навстречу с чудовищным горбом *берсима*, дикого клевера, которым здесь кормят скот.

«Да не иссякнет процветание твое».

«Твоими молитвами, мать».

«Да будут дни твои благословенны».

«Благослови меня, о шейх».

Походка Скоби обрела уверенность – он шел по своим владениям, – медленная, знающая цену каждому движению походка араба.

В тот день мы долго сидели в тени древней мечети и слушали, как потрескивают на ветру стволы пальм, как гудят внизу, в невидимой за спиной города гавани, уходящие в море лайнеры.

«Я только что получил директиву, – сказал наконец Скоби грустно, тихо и сухо, – насчет того, что они называют Пидорастией. Мне аж не по себе стало, старина. Не стану скрывать, я даже слова такого не знал. Мне пришлось лезть в словарь. Любыми путями – так там написано – от них необходимо избавляться. Они ставят под удар нашу сеть». Я рассмеялся, и Скоби некоторое время явно пытался поддержать меня слабой усмешкой, но подавленное настроение одержало все-таки верх, и усмешка потонула, толком не родившись, – микроскопическая складка промеж вишнево-красных щечек. Он сердито пыхнул трубкой. «Пидорастия», – повторил он язвительно, нашаривая спичечный коробок.

«Мне кажется, они там, на родине, не слишком-то понимают... – произнес он печально. – Что касается египтян, то им плевать с высокого дерева, если у человека случаем окажутся Тенденции – если, конечно, человек этот честен Душой, ну, как я, скажем». Он говорил совершенно серьезно. «Но знаешь, старина, если уж я собираюсь работать на... Сам Знаешь Кого... я ведь обязан им сказать – как ты думаешь?»

«Не валяй дурака, Скоби».

«Ну, я не знаю, – все так же печально сказал он. – Я хочу играть с ними в открытую. Вреда, конечно, от меня никакого. Хотя, понятное дело, как-то не принято иметь Тенденции – ну, вроде как бородавки или длинный нос. Но я-то что могу с этим сделать?»

«Не слишком, наверно, много, в твоём-то возрасте?»

«Ниже пояса, – сказал старый пират, и на минуту в нем проглянул прежний Скоби. – Подло с твоей стороны. Жестоко. Грязно». Он хитро глянул на меня поверх трубки и как-то вдруг развеселился. И разразился одним из великолепных своих беспорядочных монологов –

очередной главой бесконечной саги, что складывалась мало-помалу его стараниями вокруг имени его старого друга Тоби Маннеринга, фигуры уже почти мифологической. «Тоби один раз до того допился, что Загремел в Госпиталь – мне кажется, я тебе уже рассказывал. Нет? Ну, значит, нет. Загремел в Госпиталь, – он явно цитировал кого-то, и не без удовольствия. – Бог ты мой, что он вытворял, особенно по молодости лет. Расширял пределы возможного. В конце концов доктора все-таки до него добрались, и пришлось ему носить Приспособление. – Голос его взлетел едва ли не на октаву. – Начальства он в упор не видел,пил в свое удовольствие, как король в изгнании, пока весь Торговый Флот не встал на дыбы. Его списали на шесть месяцев. Отправили на берег. Ему сказали: “Тебе придется пройти Тракцию”, – не знаю, что это такое, но ничего хорошего, это уж точно. Тоби говорит, весь Тьюксбери слышал, как он орал. Они только вид делают, что лечат людей, а сами совсем не лечат. По крайней мере, Тоби они ничуть не вылечили. Поманежили-поманежили и отправили обратно. Просто ничего не могли с ним поделать. Кадавр Желудка. И Делириум Тренер из него уже не выйдет – это они так написали. Бедный Тоби!»

На этом месте он вдруг погрузился в сон, легко и непосредственно, прислонившись к прохладному боку мечети. («Кошачья дрема, – сказал он как-то раз. – Вахтенная привычка. И на девятой волне всегда просыпаюсь». Сколько раз ему еще удастся проснуться, помнится, подумал я.) Через несколько секунд девятый вал и впрямь вынес его из сумеречных глубин обратно на песчаный берег. Он вздрогнул и выпрямился: «О чем бишь я? Да, о Тоби. Отец у него был настоящий Ч. П. ¹¹⁹ Очень Высоко Поставленный. Сын большого человека. Тоби поначалу хотел пойти по церковной линии. Чувствую, говорит, Зов. Я так думаю, это у него маска такая была, костюм, – он ведь завсегдатый театрал был, Тоби-то. Ну а потом он веру утратил и оступился, и у него была трагедия. Замели его, в общем. Он сказал, его Дьявол попутал. “Вот мы и постараемся упрятать вас от него подальше, – это судья на суде сказал. – Для пользы вашей и Общественной Морали”. Они совсем уж было собрались впасть ему срок – и еще отыскивали у него редкую какую-то болезнь – фармакопея, кажется, называется, что-то вроде того. Но папаша вовремя сходил к премьер-министру, и они это дело замяли. На счастье Тоби, старина, в тот год у всего Кабинета тоже оказались Тенденции. Жуть какая-то. Премьер-министр, да что там – сам Архиепископ Кентерберийский. Им стало жаль беднягу Тоби. Повезло, в общем. Получил свой магистральный диплом в университете и ушел в море».

Скоби снова уснул, чтобы через пару секунд пробудиться, театрально вздрогнув всем телом. «Кстати, это ведь именно Тоби, – продолжил он с места в карьер, сглотнув слюну и благочестиво перекрестившись, – наставил меня в истинной Вере. Как-то ночью мы вдвоем стояли вахту на “Мередите” (старая добрая посудина) ¹²⁰, и вот он говорит мне: “Скоби, мать твою, я хочу сказать тебе одну вещь, чтоб ты знал. Слышал когда-нибудь о Деве Марии?” Я, конечно, слышал, но смутно. Не совсем представлял себе, какие у нее, так сказать, полномочия...»

Он опять провалился в сон, и на сей раз я даже расслышал тихий рокошующий храп. Я осторожно вынул из его ослабевших пальцев трубку и прикурил сигарету. Полшага вперед, полшага назад, и на минуту возникает зыбкое подобие смерти – было в этом что-то трогательное. Короткие визиты вежливости в ту самую вечность, куда он скоро переселится окончательно, сопровождаемый уютными и уже неотделимыми от него образами Тоби, и Баджи, и Девой Марией со вполне определенными полномочиями... И задумываться о подобных вещах, делать из них проблему в его-то возрасте, когда, насколько я мог судить, он вряд ли был способен на что-то большее, чем просто хвастаться своими давно уже чисто воображаемыми достоинствами! (Я ошибался – Скоби был неукротим.)

¹¹⁹ Член Парламента.

¹²⁰ Действительно старая, если учесть, что единственный британский корабль с таким названием был списан в 1784 году.

Некоторое время спустя он снова воскрес от более глубокого и продолжительного на сей раз сна, встряхнулся и поднялся на ноги, протирая кулачками глаза. Я тоже встал, и мы пошли в сторону убогого трущобного райончика, где он снимал квартиру – пару обшарпанных комнат на Татвиг-стрит. «Ну конечно, – опять заговорил он, обнаруживая редкостную последовательность мысли, – тебе легко советовать, чтобы я им не говорил. Но вот ведь какое дело». (Здесь он остановился, чтобы втянуть в себя льющийся из двери магазинчика запах горячего арабского хлеба и воскликнуть: «Пахнет как материнское лоно».) Мысль его имела свойство приравниваться к шагу. Он снова тронул с места привычной иноходью. «Знаешь, старина, египтяне – народ что надо. Превосходный народ, добрый. И они меня хорошо знают. Конечно, со стороны они могут показаться просто шайкой бандитов – и я не стал бы с этим определением спорить, старина, но это бандиты очень доверчивые и готовые пойти тебе навстречу, я всегда это говорил. Они просто не мешают друг другу, и все. Ну, вот, к примеру, буквально на днях сам Нимрод Паша говорит мне: “Пидорастия – это одно, *гашиш* – это совсем другое”. И, знаешь, он не шутил. И я теперь никогда не курю гашиш в рабочее время – было бы нехорошо с моей стороны. Конечно, если с другой стороны, разве англичане станут ставить палки в колеса КБИ ¹²¹ вроде меня. Да и не смогли бы, если бы даже им того захотелось. Но вот если египтяшкам однажды взбредет в голову, что наши – ну, скажем, косо на меня поглядывают, – старина, я могу потерять оба места. И оба жалованья тоже. Вот что меня беспокоит».

Мы поднялись по облепленной мухами лестнице, буквально изрешеченной неровной формы крысиными дырами. «Да, пахнет немного, – согласился он, – но к этому быстро привыкаешь. Мыши, знаешь ли. Нет, я отсюда переезжать не стану. Я в этом районе уже десять лет живу – десять лет. Тут все меня знают, любят меня. И, кстати, старина, Абдул живет прямо за углом».

Он хихикнул и остановился, чтобы перевести дух на первой лестничной площадке, снял свой цветочный горшок и вытер лысину. Затем побрел дальше, опустив голову и даже сбившись слегка с курса, как обычно, когда на него нападали особо тяжкие раздумья – казалось, их вес был ощутим физически. Он вздохнул. «В общем, – медленно проговорил он с видом человека, изо всех сил старающегося быть понятым так, а не иначе, сформулировать мысль со всей возможной ясностью. – В общем, все дело в Тенденциях – и это приходит в голову только тогда, когда ты уже совсем не похож на того горячего паренька... – Он вздохнул еще раз. – Просто в мире слишком мало *нежности*, старина. В конечном счете все зависит от того, насколько ловко ты поворачиваешься, и так от этого становится одиноко. Ну а вот Абдул, он настоящий друг». Он хихикнул и снова приободрился: «Я зову его Бюль Бюль Эмир. Я и собственное дело ему купил, из чистого дружеского расположения. Все ему купил: и магазин, и его малышку-жену. Я его и пальцем никогда не тронул, да и не смог бы, потому что я его люблю, и все тут. И теперь рад, что все так вышло, потому что хоть я и забираюсь все выше и выше, но у меня всегда есть преданный друг. Я их как увижу, так у меня на душе легче. Жуть, до чего я за них рад. Просто наслаждаюсь их счастьем, старина. Они мне как сын и дочь, этакие черномазенькие каналы. У меня сердце разрывается, когда они ссорятся. Я так жду, когда у них пойдут детишки. Мне кажется, Абдул ее ревнует, и, заметь, не без основания. Вертихвостка она, если честно. Но, знаешь, в здешней жаре как не думать о сексе – глоточек-то долго катится, как у нас в Торговом флоте говорили про ром. Лежишь себе, млеешь и мечтаешь о нем и таешь, как мороженое, – я про секс, не про ром, конечно. А эти магометанские девчонки – знаешь, старина, они им делают обрезание. Это жестоко. Правда, жестоко. А они только пуще бесятся, все равно им больше делать нечего. Я ведь пытался отдать ее в обучение – ну, чтоб она вязать научилась или там вышивать, но она такая глупая, просто диву даешься. Ни бельмеса не понимает. А они надо мной смеются. Пусть их, я не против. Я только помочь хотел, как лучше.

¹²¹ Кавалеру Ордена Британской Империи.

Двести фунтов отдал, чтобы вывести Абдула в люди, – все мои сбережения. Но зато теперь у него все в порядке – да-да, в полном порядке».

Монолог сей явно добавил ему сил, и он решился на финальный рывок. Последние ступенек десять мы попирали уже неторопливо и величественно, а потом Скоби отворил дверь в свои апартаменты. Когда-то денег у него хватало на одну-единственную комнату – теперь же, при новом жалованье, он мог себе позволить снимать весь этаж.

Большая из двух была старых арабских пропорций комната, служившая ему одновременно гостиной и спальней. Из мебели там обрелись неудобная кровать на колесиках, вроде тех, на которых спят в хозяйских домах подмастерья и слуги, и старомодный поставец. Несколько китайских пахучих палочек, полицейский календарь и, возле осыпающегося камина, все еще не оконченный Клеа портрет старого пирата, в полный рост. Скоби вкрутил в патрон одинокую электрическую лампочку – недавнее нововведение, коим он горд необычайно («Парафин, он в еду лезет»), – и умиротворенно огляделся вокруг. Затем приподнялся на цыпочки и прокрался в дальний угол. В полумраке я поначалу проглядел еще одного обитателя комнаты – великолепного зеленого амазонского попугая в медной клетке. Клетка была закутана куском темной материи; Скоби снял покрывало и отступил так, словно в любую минуту ждал нападения.

«Я тебе рассказывал о Тоби, – сказал он. – Я вспомнил о нем потому, что на прошлой неделе он был в Александрии проездом, шел рейсом на Йокогаму. Это я у него купил – он просто вынужден был продать, чертова птица чуть нам тут революцию не устроила. Он болтун невероятный, ты ведь болтун, а, Рон? И как скажем, так в воду перднем, да, птичка?» Попугай тихо свистнул и поклонился. «Вот умница, – сказал Скоби одобрительно и, повернувшись ко мне, добавил: – Рона я купил по дешевке, совсем по дешевке. И знаешь почему?»

Вдруг, не сказав ни слова, он буквально сломался пополам от смеха, едва не уткнувшись носом в колени, – его смех был совершенно беззвучен и похож на монотонный посвист гигантского – в рост человека – волчка. Разогнувшись, он так же беззвучно шлепнул себя по ляжке. «Ты представить себе не можешь, сколько шуму наделал мой Рон, – сказал он. – Тоби принес эту птичку с собой на берег. Он знал, что Рон умеет говорить, но не по-арабски же. Господи боже мой. Мы сидим себе в кафе, травим байки (я Тоби не видел полных пять лет), и вдруг ни с того ни с сего Рон как пойдет чесать. По-арабски. И представь себе, он читал Калиму, самый что ни на есть священный, да еще и тайный вдобавок, текст из Корана. Калиму, значит. И после каждого слова пердел, ведь правда, Рон?» Попугай изъявил согласие, свистнув еще раз. «А она такая священная, Калима-то, – объяснил Скоби мрачно, – что и минуты не прошло, а мы уже были в самой середине огромной толпы, и они все прямо из штанов выпрыгивали. Слава Богу, я знал, в чем дело. Ведь если не-мусульманина застукают на чтении Калимы, то лучшее, что его ожидает, – это обрезание на месте. – Глаза его вспыхнули. – Так себе, прямо скажем, перспектива для бедняги Тоби – сойти на берег и вернуться обрезанным, я даже всерьез волноваться начал. (Я-то сам давно обрезался.) Но, знаешь, присутствие духа мне не изменило. Он совсем уже было собрался поотшибать тыквы тем, кто стоял поближе, но я его удержал. Понимаешь, я был в полицейском мундире, и это было нам на руку. Я обратился к толпе с краткой речью и сказал им, что я прямо сейчас доставлю неверного вместе с его ужасной птицей куда надо и там их обоих обрежут по самое нехочу. Это их утешило. Вот только Рона заткнуть было совершенно невозможно – не желал молчать, и все тут, даже под тряпкой, так ведь, Рон? И всю дорогу, до самого дома, этот ублюдок орал Калиму что есть мочи. Нам бежать пришлось. С ума сойти, никогда со мной такого не было».

Он говорил и понемногу снимал с себя полицейскую сбрую. Феска заняла свое место на ржавом железном гвозде над кроватью, прямо поверх распятия, освящавшего сей крохотный альков. Там же, за ширмой, обитал и мраморный кувшин с питьевой водой. Скоби облачался в потертую спортивную куртку душераздирающей расцветки, с жестяными пуговицами и, тша-

тельно промокнув лысину, продолжил: «Должен тебе сказать, я был просто счастлив повидаться со стариной Тоби, мы столько лет не виделись. Конечно, птичку ему пришлось продать, после такого-то. Он просто не решился бы идти с ней обратно на корабль через доки. Но и у меня с Роном проблемы – я тоже не выношу его из комнаты – черт его разберет, что он там еще умеет. – Он вздохнул. – И что еще хорошо – Тоби оставил мне рецепт вискизаменителя, слышал о таком? Вот и я тоже. Лучше шотландского и дешевле дерьма, старина. С этих пор я сам себе буду варить все, что пью, – благодаря Тоби. Вот, смотри-ка». Он продемонстрировал мне грязную бутылку, наполненную под самое горлышко какой-то явно горючей жидкостью. «Это так, пивко домашнее, – сказал он, – но очень недурственно на вкус. Я вообще-то три сделал, но две взорвались. Я назову сей напиток “Плаза”».

«Ты что, – спросил я, – торговать им собираешься?»

«Боже упаси! – сказал Скоби. – Исключительно для внутреннего пользования». Он задумчиво потер живот и облизал губы. «Попробуешь стаканчик?»

«Да нет, спасибо».

Скоби посмотрел на часы и поджал губы. «Мне тут скоро Аве Марию читать. Придется тебя выставить, старина. Давай только сходим посмотрим, как вискизаменитель подходит, ладно?»

Его эксперименты всегда вызывали во мне самый неподдельный интерес, и я охотно последовал за ним обратно на лестничную клетку, а оттуда – в неряшливый чуланчик, где теперь стояла длинная оцинкованная ванна, совсем новая и приобретенная им в откровенно преступных целях. Над ванной тускло светило чумазое сортирное окошко, по стенам висели полки со всевозможным снаряжением для новой сей мануфактуры – дюжина пустых пивных бутылок, две разбитые и огромный ночной горшок, который Скоби всегда и непременно называл «фамильной ценностью»; а кроме того – обтрепанный пляжный зонт и пара галош. «А это зачем? – не удержался я. – Ты в них что, виноград давишь – или картошку?»

На лице Скоби появилось чопорное, как у старой девы, выражение, имевшее обыкновенно означать, что легкомысленные шуточки относительно предмета разговора неуместны. Несколько секунд он внимательно вслушивался в тишину, явно ожидая от ванны звуков брожения. Потом опустил на шаткое колено и уставился на нее с видом озадаченным и чрезвычайно заинтересованным. Он разглядывал застывшую в летаргической спячке смесь, заполнившую ванну по самые края, и стеклянный его глаз поблескивал, как лампочка на несложном приборе. Он деловито наклонился, понюхал, чертыхнулся и встал, скрипя суставами. «Выглядит хуже, чем я думал, – признался он. – Но дай время, ему время нужно, чтобы дойти». Он окунул в ванну палец, понюхал и принялся вращать стеклянным своим глазом. «Что-то скипидаром пахнет, – поморщился он. – Такое впечатление, что кто-то сюда отлил». Ключи от подпольной шарашки были только у него и у Абдула, так что я с полным правом изобразил на лице совершенную мою к этому преступлению непричастность.

«Может, попробуешь?» – спросил он безо всякой надежды.

«Нет уж, Скоби, спасибо».

«Ну, Бог с ним, – сказал он философски. – Наверно, медный купорос был несвежий. А ремень – мне пришлось заказать его из Блайти¹²². Сорок фунтов. Вот он был совсем вялый, когда я его получил, не стану от тебя скрывать. Но пропорции все соблюдены, я точно знаю, потому что, пока Тоби не уехал, я его заставил все мне объяснить раз сто подряд. Ему время нужно и больше ничего».

И, вновь обретая надежду, он жизнерадостно отправился обратно в спальню, еле слышно насвистывая одни и те же несколько строчек из знаменитой своей песни, которую он исполнял

¹²² На военном жаргоне – название Англии, родины (так сказать – «совок»). Слово blight имеет следующие смыслы: 1) болезнь растений, при которой они перестают расти и сбрасывают листья; 2) «западло»; 3) упадок, гибель.

в полный голос только в сильном подпитии и только если пил бренди. Звучала она приблизительно следующим образом:

*Я хочу,
Чтоб она была в моем вкусе,
Я хочу,
Чтоб она была в моем стиле,
Вы увидите, я еще в силе,
Я ее обниму, я ее подниму,
Тум ти Тум ти ТУМ ТУМ никому.*

На этом примерно месте мелодия обрывалась в пропасть и исчезала из виду, хотя Скоби продолжал по инерции что-то мурлыкать и даже отбивал пальцем ритм.

Он сидел на кровати и разглядывал свои потертые туфли. «Ты пойдешь сегодня на Несимов прием в честь Маунтолива?» – «Да, наверно», – ответил я. Он засопел. «Меня не пригласили. В Яхт-клубе, кажется, да?»

«Да».

«Он теперь сэр Дэвид, так? Я в газете прочитал, на той неделе. Такой молодой, а уже лорд, а? Я был в составе Почетного караула полицейских сил, когда он приехал. Музыканты фальшивили как один, но он, слава Богу, не обратил внимания».

«Не так уж он и молод».

«А для министра?»

«Ему, кажется, уже далеко за сорок».

Внезапно, без всякого перехода (впрочем, он закрыл глаза, словно желая навсегда изгнать предмет разговора из поля видимости) Скоби лег на кровать, закинув руки за голову, и сказал:

«Пока ты не ушел, я хотел бы тебе кое в чем покаяться, старина. Ты не против?»

Я опустился на неудобный скрипучий стул и кивнул. «Вот и ладно, – проговорил он едва ли не с надрывом и набрал полную грудь воздуха. – Значит, так: иногда в полнолуние *На Меня Находит*. Я попадаю под *Влияние*».

Что-то здесь не так, подумал я. Скоби явно было не по себе от собственной откровенности. Он пробормотал нечто невнятное и заговорил снова, и голос его был тих и нерешителен, без всяких следов обычного пижонства: «Я не знаю, что со мной творится». Я не вполне понимал, о чем идет речь. «Ты что, во сне ходишь, что ли?» Он помотал головой и задохнулся. «Ты оборотень, ты превращаешься в волка?» Он снова мотнул головой, как ребенок на грани слез. «Я надеваю бабьи тряпки и Долли Варден», – сказал он, открыл глаза и глянул на меня совершенно отчаянно.

«*Что* ты делаешь?»

К глубочайшему моему удивлению, он встал, подошел деревянной походкой к шкафу и открыл его. Внутри висело тронутое молью и явно давно не чищенное старомодное дамское платье, а рядом, на гвоздике, засаленная старая шляпа в форме колпака, это и была, как я понял, так называемая «Долли Варден». Довершала сей сногшибательный комплект пара допотопных бальных туфель на очень высоком каблуке и с длинными острыми носами. Он стоял и не знал, как отреагировать на взрыв хохота, с которым я просто не смог совладать. С его губ слетел слабый смешок. «Глупо, да? – сказал он, все еще балансируя на грани слез (хотя к лицу его примерзла улыбка) и самым своим тоном взывая к состраданию в беде. – Я не знаю, что со мной творится. И при этом, понимаешь, на меня такой азарт находит...»

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.